

А. К. ВИНЮГОВ



# ЧЕРНЫЙ КОНОУЛ



Анатолий Виноградов

Черный консул

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БЕЛАЯ ФРАНЦИЯ

### 1. ТЕНИ ПАРИЖСКОЙ НОЧИ

Да, впрочем, можно ли в том сделать ей упрек,

Что меж приезжих Адонисов,

К несчастью, такой нашелся человек,

Что в сумерки гулять под тенью кипарисов

Они уводят дам, что с ними за стеной

Уж восемь дней живут под кровлею одной. Виланд, «Востола». Изд. Александра Пушкина, Спб., 1836.

В отличие от зимы 1788 года революционный декабрь Парижа сопровождался большим снегопадом. Снег начался с внезапного налета бури; облака закрыли солнце, яркое небо потускнело, и наступили серые сумерки. Монах из конгрегации святого Мавра записывал в «Анналах страшных событий», что снег падал, не останавливаясь ни минуты, пятьдесят два часа, то есть всю мессу, повечерие, литанию, полуношницу, отпевание маркиза д'Абевиля и часы Блаженной Девы Марии

дважды ». А парижские ремесленники отметили в своей памяти, что в этот день прекратилась доставка муки в город и обыкновенный ливр грязного хлеба обошелся им в булочной в семь с половиной су.

Снегопад кончился в полнолуние. Париж почти опустел. На глубоком нетающем снегу копыта верховых лошадей ступали без стука, а кареты почти бесшумно оставляли длинный след. Кучера не кричали «гарр», пешеходов почти не было.

В поздний час по улице Генего пробирался с фонарем человек в треуголке, в черной маске, усталый, судя по тому, как он опирался на высокую трость, а впереди, освещая и без того светлую дорогу, кидая по белому снегу двойную тень — синюю от луны и коричневую от восьмигранного дымящего и мигающего фонаря, — шел не то слуга, не то провожатый. Он шел, покачивая маленькой островерхой шапкой, злой и ворчащий, как зверь, а его «господин» следовал молча, погруженный в свои мысли.

Слуга обернулся на перекрестке и спросил:

— Ну, куда же теперь? Ведь уже скоро рассвет, а вы еще не надумали, где будете ночевать. Я вам говорю, вернемся в восемнадцатый номер на улице Кордельеров, я вас уложу под лестницей и положу вам под голову вот этот тюк, а сам, как собака, буду спать у двери. Я не могу больше идти... Мне надоело рисковать собою из-за каких-то корректур.

Человек в маске закашлял, потом махнул рукою, хотел что-то сказать, но в это время из переулка, задыхаясь, вышли двое, и женщина, закутанная с головой, дрожа от стужи, бросилась к человеку в маске, ведя с собою не менее закутанного спутника, ставшего в тень углового дома.

— Гражданин! — крикнула она. Потом вдруг остановилась, увидев маску. — Сударь! Милостивый государь! Маркиз, быть может! — все больше и больше волнуясь, умоляюще произнесла она. — Скажите, где живет знаменитый доктор Кабанис? Человек умирает, его надо спасти...

— Парижская ночь полна тенями, — ответил человек в черной маске, — гражданка, я не маркиз, а такой же гражданин, как вы... Если, впрочем, ты не аристократка! Тебе известно, что доктор Кабанис нынешней осенью не возвращался из Версаля и что немало других докторов в Париже...

— Но где же они все, гражданин, где все они?.. Я с вечера на ногах, и вот приезжий родственник больного... мы не можем найти ни одного врача... Доктор Кабанис... Разве мы можем рассчитывать на его внимание? Но его имя у всех на устах, мы пошли к нему... Мы ищем в четвертом квартале, и везде говорят, что он уже уехал на другую квартиру.

— Уже уехал, — повторил человек в маске, покачивая головой, — уже уехал, когда-то про меня это скажут?

— Боже, какое счастье! Неужели вы врач? — воскликнула женщина.

— Да, я врач, но не уверен, что это счастье. Кто ваш больной и почему говорит женщина, когда мужчина молчит и прячется в тени? Может быть, этот стройный господин — агент муниципалитета и хочет сделать мне неприятное?

— О нет, господин, я совсем не агент, — внезапно заговорил закутанный человек. — Я даже не парижанин. Я не меньше, чем вы, страдаю от парижской зимы, а мой бедный родственник, вероятно, от нее умрет.

— Поговору вы — испанец, — сказал врач. — Мне все равно... Лишь бы не аристократ.

— О нет, во всяком случае нет, — горячо заговорил закутанный иностранец.

— Вот что, дорогой Лоран Басе, — обратился доктор к человеку с фонарем,

— ты прав, иди сам туда, куда ты меня звал, и отнеси этот тюк с лекарствами, который ты таскаешь на себе. Завтра я буду сам лечить этими лекарствами весь Париж, а сегодня буду лечить заболевшего иностранца.

— Оставьте себе хоть фонарь, — произнес провожатый.

— Зачем мне будет нужен утром фонарь, когда над Парижем взойдет солнце? Иди себе, старый черт, с твоим фонарем и тащи медикаменты, которыми будет со временем вылечен наш больной Париж... Прощай, дружище Лоран... Не проедайся... Ну, не трать дорогого времени, мы должны заставить молодых девушек и ремесленников предместья плясать на земле, а богачей и аристократов плясать между небом и землей.

Женщина и ее спутник переглянулись быстро. Закутанный человек сказал:

— Вы, конечно, переночуете у нас, доктор, а потом экипаж доставит вас под утро всюду, куда вы пожелаете.

Тот, кто был назван именем Лорана Басса, повернул назад и, мерно покачивая фонарем, пошел по снегу, а доктор, продолжая разговор, двинулся туда, где ждали его помощи.

Шли долго... И как-то странно все замолчали... Доктор, внезапно повернувшись, хотел что-то сказать, но гулкие выстрелы из мушкетеров на другом берегу Сены изменили его намерения. Прошло еще несколько минут беззвучных шагов по снегу, безмолвных мыслей и молчаливых догадок.

— Тридцать девять выстрелов с промежутками, — сказал доктор. — Как далеко нам идти?

Закутанный человек пожал плечами. Женщина быстро выступила вместо него:

— Мы пройдем Новый мост и Самаритэну, потом около моста Ошанж свернем направо... Вот и все.

— Хорошо, — сказал доктор и вдруг, быстро вбежав на ступеньки ближайшего здания, спрятался за колонной.

Спутники, слегка замедляя шаг, продвинулись вперед. Роскошная, ярко освещенная карета, запряженная четверкой, двое слуг и фореитор. Человек, откинувшийся на атласных подушках, без парика, обмахивающийся шляпой с плюмажем, — все это быстро промелькнуло перед ними.

— Вот он, — задыхаясь, говорил доктор после проезда экипажа. — Вот он, господин Мирабо, проматывающий королевские взятки, спасающий шкуру Капетингов, этих кровососов Франции... недавно сидевший за долги, а теперь катающийся на пуховых подушках в золоченой карете. Этот болтливый вор и негодяй с продажной душонкой, не стоящий плевка проститутки Пале-Рояля или даже пьяной либертинки, стонущей под матросом в трактире Гавра.

Кулаки доктора сжимались. Маска соскочила, треуголка сбилась. Легкий тюрбан из голубого шелка повязывал голову хрипящего в негодовании человека. Он стоял на лестнице, освещенный полной луной, протягивая вперед прекрасную, словно выточенную, руку, а лицо с треугольным подбородком, маленьким носом, складками горечи около губ морщилось безумным гневом, хотя глаза сохраняли звездный блеск. Они были огромны, печальны и в то же время необычайно жизненны. Он смотрел на своих незнакомых спутников, но, казалось, их не видел. В нем было и бешенство и детская беспомощность, как у человека, давно потерявшего представление о личной жизни. Мгновение спустя он успокоился. Он поднял маску и, вплотную подойдя к своему спутнику, вскинул на него строгие и проницательные глаза.

— Я не спросил вашего имени, кто вы такой, — почти сердито обратился он к мужчине.

— Не все ли вам равно? — ответил тот. — Если вы врач, не все ли вам равно.

— Дорогой друг, — сказал доктор, — есть парижане, которым я могу оказать только одну хирургическую помощь — перерезать им горло.

— Тот, для кого мы просим вашей помощи, не парижанин и даже не француз. Что касается меня, то извольте, сударь, я назову себя. Мое имя Адонис Бреда.

— Это очень жаль, это очень жаль, — зашипел доктор. — Бреда, это тот самый, который укрыл заговорщика графа де Майльбуа, покушавшегося на свободу французского народа?..

Тот, кто назвал себя Адонисом, с горечью коснулся ладонью лба и сказал:

— Вы ошибаетесь, доктор, вы ошибаетесь. Владения Бреда, которому, увы, я должен в этом признаться, мой покойный дед принадлежал как раб, находятся не в Париже, не во Франции. Они за океаном, как вы сейчас все узнаете. Пойдемте поскорее.

— Хорошо, — сказал доктор, — я верю. Я все проверю. Вы вспомните каждое ваше слово.

— И вы тоже, доктор.

— Вы мне угрожаете?

— Нет, я далек от угрозы, но я боюсь за участь человека, который нам всем бесконечно дорог, хотя он и называется нашим общим слугою.

— Не останавливайтесь, доктор, пойдемте. Дорога каждая минута, умоляю вас, — простонала женщина.

— Бреда... Бреда... Вы хотите заманить меня в ловушку, гражданин, но я вооружен, я буду защищаться.

И доктор вдруг отступил, откинув тяжелый плащ. На белом атласном жилете, почти достигая выреза кружевного жабо, лежал широкий темно-красный пояс, из-под которого виднелись рукоятка большого кинжала и два корабельных пистолета.

— Я безоружен, — тихим голосом ответил мужчина.

Этот волнующий тремолированный голос успокоил доктора. Женщина схватила его за руку. Мир казался восстановленным. Но внезапно патруль Фландрского полка, звеня шпорами, вышел из переулка. А в отдалении улицы показались огни кареты.

Доктор и женщина быстро вбежали по ступенькам и спрятались в тень.

Караульный разводящий издали крикнул: «Стой!» Адонис перешел улицу и быстро пошел вперед навстречу патрулю.

Когда офицер просматривал синюю «гражданскую» карточку Адониса, сворачивая с ним вместе в переулок, встречная карета, зацепив за выступ дома, уронила правые колеса и грохнулась на оснеженную улицу.

Женщина, схватив доктора под руку, быстро побежала с ним в противоположную сторону и, почти катясь по выступам каменной набережной, еле переводя дух, остановилась вместе с доктором в кустарниках, на песчаном берегу Сены, под Новым мостом и скрылась в черной тени огромной каменной арки. Вдали виднелась Самаритэна с крестами и выступами. В кустарнике храпел нищий, а его собака, видя сны, выла тихим воем, словно напевала какие-то старые собачьи песни. Вдалеке луна освещала огромные пролеты моста Ошанж и бросала колоссальные тени трех его арок на поверхность черной, ночной, испещренной серебряными стрелами Сены.

— Гражданка, — сказал доктор, — я не хочу ночевать под мостом в декабрьскую стужу в кустарнике и собачьем помете. Господин Вольтер писал господину Руссо: «Никогда еще не тратили столько ума на попытку снова сделать нас скотами. Когда читаешь ваши книги, так и хочется пойти на четвереньках...» Так вот, гражданка, мне надоело не спать на постели, мне надоело превращаться в животное, мне вовсе не хочется ходить на четвереньках. Гражданка, твой спутник сказал, что у вас в доме заболел какой-то слуга, а мне надоело возиться с челядью, так как лакеи графа д'Артуа оказались порядочными сволочами, они все стоят за дворян, они все против революции, но они все доносчики и пакостники от имени

Учредительного собрания...

— Подожди, дай мне кончить, — продолжал он, расхаживая под мостом и беспокойно теребя перламутровые пуговицы на грязном атласном жилете. — Что за беспокойная жизнь! Две недели подряд я ночевал в конюшнях Бонафуса. Проклятые голодные почтовые клячи заразили меня чесоткой! Что это за жизнь! Это какой-то ад, и все по доносу тех, кому через неделю палач перережет горло, кому народный гнев приготовил виселицу. Послушай, гражданин, вряд ли тебе есть охота выслушивать мою ругань. Но ведь если б я был способен ходить на задних лапках, я бы уже давно сидел во Французской академии вместе с первыми лизоблюдами Франции. Однако я не сделал этого. Я ответил отказом. Зато теперь я умею не только лечить болезни, я знаю состав света и звезд, я умею разложить и сложить солнечный луч, я знаю, как возникают в природе цвета и краски.

Женщина с ужасом смотрела на говорящего и думала, что доктор бредит. Но тот ходил большими шагами, вскидывая огромные сверкающие черные глаза навстречу потокам лунного света, струившимся сквозь большие хлопья медленно падающего снега. Потом, резко повернувшись, словно забыв о своей спутнице, доктор полез на набережную, цепляясь за кусты. Женщина последовала за ним.

Никто не мешал дальнейшему пути. Женщина шла вперед. Доктор следовал за ней почти машинально. В темном переулке, под фонарем, мигающим от ветра, огромный человек с дубиной сделал несколько шагов навстречу женщине.

— Послушай, Жоржетта, неужели ни одного врача в этом проклятом городе! Ведь он совсем умирает и кашляет кровью. Он бредит... Никто из тринадцати до сих пор не вернулся.

— Я привела врача, — сказала та, которую называли Жоржеттой.

Доктор, женщина и человек с дубиной вошли по скрипучим ступенькам в первый этаж.

Ночники, подвешенные на стене в виде кенкетов, тростниковые циновки на полу, легкий, едва слышный запах горьковатого гвоздичного масла и мускуса встретили вошедших.

Женщина скользнула в дверь, вернее — сквозь занавес из бамбуковых коленьев, зазвеневших, когда она их открывала.

— Присядьте, сударь, — сказал высокий человек, и тут вдруг впервые доктор увидел его лицо.

Перед ним был огромный негр с глазами на выкате и черными короткими, завитыми в крутые кольца волосами. Он не был похож на раба. Он посмотрел на доктора концентрированным, пронзительным взглядом и мгновенно погасил эту горячую пытливость взора. В последующие секунды доктор услышал, как двери пропели, закрываясь и открываясь перед ушедшим гигантом.

«Вот еще новое приключение», — подумал доктор. Но двери опять запели, и уже другой черный человек, почтительно ему поклонившись, повел его к больному.

На большой кровати под белым тонким матрасом с огромными стегаными оранжевыми цветами лежал, закинув руки на белую подушку, маленький, черный остролицый человек, и тонкая струйка крови окрашивала белую подушку, пачкая левую щеку больного. Доктор подошел к нему и взял его за руку. Она была горяча. Больной сипло дышал и в ответ на прикосновение застывшей руки доктора открыл глаза. Поводя лихорадочными черными зрачками невидящих глаз, скорее зашипел, чем заговорил, слова:

Haec mera libertas! hoc nobis pillea donant.

An quisquam est alius liber, nisi ducere vitam, Cui licet, ut voluit? licet ut volo vivere: non sum Liberior Bruto? — Mendose colligis, inquit Stoicus hic aurem mordaci lotus aceto, Haec reliqua accipio licet illud et ut volo tolle.

Vindicta postquam — meus a praetore recessi Cur mihi non liceat, iussit quodcumque voluntas, Excepto si quid Masuri rubrica vetavit?note 1

Доктор выслушивал стук горячей крови в жилах разметавшегося больного негра, прислушивался к звукам странной латинской речи, силясь вспомнить, кому из латинских поэтов бронзового века принадлежат эти варварские строчки о свободе. Тем временем комната постепенно наполнялась людьми. Бесшумно входили разнообразные, низкорослые и высокие, курчавые и в седых париках, степенные, спокойные люди в цветных и черных, расшитых золотом камзолах, осанистые, тихие, озабоченные. Потом появился странно бледный высокий и курчавый человек с желтоватыми белками и, проведя рукой по белому парикю, сверкая перстнями на правой руке, обнаружил белые руки с синевато-желтыми ногтями.

За стеной выла и стонала декабрьская вьюга. Четыре занавешенных окна отделяли от нее. Две жаровни, стоявшие на полу, разливали тепло. Больной, роняя подушку, вырвал руку из пальцев доктора. Доктор встал. Озираясь, он обратился к белому человеку с синими ногтями:

— И выговорите, что это ваш слуга, и выговорите, что это ваш раб! Этот человек, ночью в бреду читающий сатиры знаменитого Персия так, что ему позавидовал бы любой академик?! Что это за бред? Неужели я схожу с ума? Кто вы такие?

— Доктор, дорогой доктор, пусть снизойдет покой на ваше сердце, пусть в карманах вашего камзола находится золото, — об этом мы позаботимся, — но спасите нашего раба. Что же делать, маленький остров на далеком океане полон и не таких страшных тайн и чудес. Ваши вопросы заслуживают ответа на условиях полной взаимности. Ведь мы не спросили у вас, при входе диплома парижского университета на право врачевания. Мы доверились вам, хотя знали, что наши люди встретили вас случайно. Мы имели право спросить вас. Если вы не французский врач, то вы можете погубить нашего больного, если наш больной говорит по латыни, с вами ничего не случится.

— Ошибаетесь, гражданин! — закричал доктор, скидывая плащ и треуголку.

— За эти несчастные два месяца я затравлен, как мышь, попавшая в клетку с сотней кошек. Я перестал удивляться. Со мной может случиться все что угодно. Доверюсь вам: я доктор Марат, я Друг народа. Я — человек, затравленный и доведенный до безумия врагами народа.

Шепот пробежал по группе негров. Два-три человека с суровыми лицами и морщинами между бровями сняли шляпы. Сидевшие привстали.

Марат словно проверял впечатление. С головой, въехавшей в плечи, сгорбившись и нахохлившись, как больная птица, он ладонью шлепал по рукоятке корабельного пистолета и бешено обводил глазами черных людей, почтительно опустивших головы.

— Наше сердце у ног Друга народа. Перед вами Оже. Меня черные и цветные братья послали к вам, в Великую Конституанту, в поисках наших прав, — сказал человек с бледным лицом и синими ногтями. — Судьба привела вас к нам. Вы будете лечить не только нашего господина, простуженного страшным парижским снегом, но всех нас, тоскующих по свободе и человеческим правам. Вы — Друг народа, вы друг всех, кого воззвала Декларация прав. Вы друг цветных племен, населяющих Гаити — Страну гор.

— Тише, тише, — сказал Марат, — не так громко! У него опять пошла кровь, — он указал на больного. И, словно позабыв об окружающих, сбросил зимнюю одежду, камзол, вынул пистолеты с кинжалом, распутал узел красного пояса, снял жилет и, оставшись в белой полуистлевшей рубашке и голубой повязке на усталой, со смятыми волосами голове, он наклонился над больным. Потом, пальцем подозвав Оже, немногосложными, короткими словами скомандовал принести таз холодной воды, простыню, номера «Национальной газеты» и, сделав огромный обложной компресс, закутал всю грудную клетку больного — стонущего и пускающего в ход кулаки негра. Тот кричал по латыни:

— Ступай, моя книжка, и от меня приветствуй милые места; конечно, коснулся бы я их ногою, насколько возможно. Если кто-нибудь там из народа, не забыв меня, спросит случайно, что я там делаю, — скажи, что живу, но на вопрос, благополучно ли, отвечай отрицательно!

— Что же, он изгнан, ваш Раб-Господин? Он читает Овидия. Его родной язык — язык изгнанников и римских врагов. Кто это? Говорите прямо. Уверяю вас, он вне опасности. Мне опаснее ходить по улицам Парижа, чем ему лежать здесь в постели.

Негры сокрушенно закачали головами. Словно при виде чего-то недозволенного, они по порядку вставали один за другим через какие-то строго размеренные промежутки времени и с видом смущенного достоинства выходили из комнаты один за другим. Марат, окунув кусок полотна в холодную воду, выжал материю и, осторожно расправив, сделал повязку на лбу больного, который, откинув голову за пределы подушки, дышал, как птица, жадно ловил воздух и метался. Огромная черная ладонь негра упала на голову Марата, сбила голубую повязку; волосы спустились на лицо доктора. Он встал, тихо отошел от постели, поправил свои волосы и стал готовиться к уходу. Когда он надевал плащ, больной вдруг вытянулся, губы его сомкнулись, и лицо, до того искаженное гримасой боли, вдруг стало спокойным, красивым и грустным. Марат протянул руку к пистолетам, засунул их за пояс, как вдруг раздались совершенно ясно через три двери идущие восклицания и стук булавой:

— Именем короля!

Марат повернулся на каблуках, потом заметался по комнате, но в эту минуту вошел Оже, спокойный и улыбающийся. В руках у него было блюдечко и белый кусок хлопчатой ваты. Осторожно подойдя к Марату, он сказал:

— Сядьте, доктор, они войдут еще не скоро.

Марат беспомощно опустился на плетеный стул. Оже окунул комок хлопка в блюдечко и, прежде чем успел опомниться Марат, выкрасил ему лицо и руки в коричневый цвет. Молодой негр, войдя в комнату, быстро раскинул по полу циновки и тростниковый подголовок вместо подушки. Оже быстро и решительно снимал, почти срывал с Марата его одежды, завязал плащ, быстро кинул узел на руки негру и знаком приказал Марату лечь.

— Не раскрывайте глаз, не раскрывайте глаз, — шепнул он ему. — Ваши глаза останавливают звезды и закрывают солнце.

Марат повиновался. Вдыхая запах погашенного кокосового ночника, он лег под тюфяк, пропахший гвоздичным маслом и ванилью. Марат слушал, как сонный, словно качание корабля на мертвой зыби, далекий голос. Кто-то ворчливо, медлительно и недовольно переспрашивал через дверь. Вошли, гремя прикладами, гвардейцы. Потом наступила тишина. В двери комиссар на всю комнату возгласил:

— Именем короля и по приказу господина начальника парижской Национальной гвардии маркиза де Лафайета.

— Тише, тише, здесь лежит больной, — сказал вошедший в другую дверь Оже. — Здесь



только двое наших слуг. Осмотрите, гражданин комиссар.

— Я не комиссар, а слуга короля, — сказал начальник. — Мы не можем поймать этого неуловимого Марата, но мы сейчас поймали его слугу Лорана Басса с корректурами преступной газеты «Друг народа», и хоть он удрал от нас, но мы знаем, что яблоко недалеко падает от дерева. Наши отряды ищут Марата по всему округу.

— Гражданин...

— Я не гражданин, а офицер его величества короля.

— Господин, — продолжал Оже, — мы не знаем того, кого вы ищете. Нам неизвестен господин Басе и господин Марат. Здесь только...

— Что здесь только? Здесь только притон негров. Слуга покойного деда нынешнего короля, мой дед Эснамбук, имел десять тысяч таких черномазых, как вы. Когда он въезжал в Париж, десять золоченых карет везли его свиту и имущество. Его встречали министры, король у него обедал, кардинал Ришелье брал у него деньги займы... Проклятое время! — сказал офицер, садясь за стол и шпагой цепляя ночник.

Горящее масло побежало по скатерти, комната осветилась, и стены покрылись бегающими тенями. Негры, стоящие в комнате, молчали. Офицер осмотрелся, не обращая внимания на горящий стол, и сказал:

— Ну, кажется, здесь только одни черные. Этот негодяй Марат не отвечает на предписания властей, не является вовсе, пишет дерзкие письма в полицию о том, что если триста тысяч его ловят, а триста одна тысяча его прячут, то он никогда не попадет в руки властям. Неужели весь округ Кордельеров состоит из маратистов? Какие времена! Какая полиция! Словно младенцы, не могут разыскать типографию, где напечатан восемьдесят третий номер «Друга народа». Повесить бы всех типографщиков! Запретить бы печатать книги! Все зло и несчастье королевства от науки и печати!

Офицер заходил большими шагами по комнате. Негры, молча и бесшумно ступая по циновкам, убрали горящую скатерть. Другие поставили на стол шандалы. В комнате стало почти темно. Офицер продолжал, обращаясь к здоровенным сопровождавшим его солдатам:

— Ну что же, кончили?

— Еще осталась мансарда, — ответил рослый гвардеец в ботфортах и с седыми усами, оглушительно звеня шпорами при каждом движении.

— Скорее, скорее, — сказал офицер. — Разве год тому назад я думал, что мне так придется проводить ночи! Тогда девушки Пале-Рояля дюжинами сидели за столом в задних комнатах кофейни Робер-Манури. Тогда по двадцать свор лучших борзых мы выпускали в Бретани на графской охоте, тогда никаких Генеральных штатов не собирали в Париже и банда безродных буржуа не осмеливалась против воли короля назвать себя Национальным собранием. А сейчас... Впрочем, что сейчас! Если б я был королем, я перестрелял бы всех перепелов, чирикающих в зале Манежа. Они бы у меня двух шагов не пролетели по улице. Национальное собрание! Куча незаконного сброда — вот что такое Национальное собрание! Его выдумали мятежные умы, господа философы, безродная сволочь, не имеющая пятидесяти арпанов земли, но смеющая рассуждать о том о сем.

— Господин лейтенант тоже рассуждает, — тихо произнес Оже. — И рассуждает настолько громко, что может разбудить больного. Довожу до сведения господина лейтенанта, что мы являемся делегацией законно существующих Общин, что мы приехали с острова, лежащего на далеком океане, заявить о своей преданности французскому государству независимо от

цвета нашей кожи. Мы — граждане острова Гаити, мы делегаты Национальной ассамблеи. Мы приехали с королевским пропуском, и речи господина лейтенанта нас удивляют.

Офицер смутился. Но ему помог вошедший гвардеец.

— Господин лейтенант, обыск окончен. Пойдемте дальше, если только здешние собаки не налаяли на соседний дом. Боюсь, что не найдем ничего и там.

Едва офицер ушел, уводя с собой отряд, как Марат вскочил, разъяренный, забыв о своем гриме. Оже взял его за руку и спокойно произнес:

— Друг народа, ложитесь, отдохните.

— Как? Вы думаете, я могу спать? Граждане, вы думаете, я цепляюсь за жизнь? Вы думаете, мне сладко дышать в этом смрадном Париже? Вы думаете, что можно сломать мою волю?..

Слова его прервал шум в коридоре. Марат остановился, прислушался и произнес:

— Имейте в виду, они возвращаются раза по три!

Но вошли двое негров. Один нес шандалы, по четыре свечи в каждом, другой подошел к окну и осмотрел плотность занавесок и створок. Марат бросил взгляд на окно. Там лежала кипа синей бумаги, той самой, что продавалась в палатке публичного писца под вывеской «Отец Кулон», около книжной лавки г-жи Авриль. Марат подошел к окну, схватил, не читая, кипу бумаги, роняя отдельные листы, понес ее вместе с банкой железных чернил и гусиными перьями к столу. Оже придвинул ему песочное сито. При полном безмолвии Марата негры расположились на циновках, подушках и маленьких табуретках неподалеку от ложа больного. Марат писал, почти не переводя духа, быстрым и нервным почерком, лишь изредка резким жестом хватал себя за руки и за ноги; лицо его искажалось от боли; чесотка, полученная от ночевки в денниках и конюшнях, временами переходила в нервный тик. После приступа Марат опять продолжал писать.

«ГОСПОДАМ ЧЛЕНАМ ПОЛИЦЕЙСКОГО ТРИБУНАЛА ПРИ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ПАРИЖА

Милостивые государи! Мне предписано сегодня предстать пред вами по поводу предполагаемого нарушения предписания и правил, допущенного в

№3 моей газеты «Друг народа». Так как номер этот снабжен именем редактора и типографа и так как он вполне отвечает правилам, как и все остальные, то я, после недавнего гнусного покушения со стороны суда, усматриваю и в этом вызове грубую ловушку, имеющую целью выманить меня из пределов округа Кордельеров, обеспечивающего мне свободу.

Подтвердите мне, действительно ли это предписание исходит от вашего трибунала. Я жду вашего ответа, чтобы сдать в печать свою газету.

Марат. Друг народа». ПИСЬМО К ОКРУГУ СВЯТОЙ МАРГАРИТЫ

«Прежде всего, сограждане, обращаюсь к вам с искренней благодарностью за сообщение мне постановлений, принятых относительно меня в общем собрании вашего округа; они продиктованы опасением разлада среди граждан, преданностью миру и общественному благу; побуждения эти делают честь вашим патриотическим чувствам и были всегда дороги моему сердцу. Но воздавая должное вашему патриотизму, я позволю себе осветить ваш поступок и предостеречь вас против происков тех коварных людей, которые очернили меня пред вами и стараются привести вас к тому, чтобы вы сами отвергли старания вашего же защитника.

Наговор на мою газету со стороны одного из городских депутатов мог преследовать единственную цель — поднять ваш округ против меня. Вы могли бы догадаться о его намерениях по тому ожесточению, с каким он стремился настроить вас против меня. Позвольте, однако, спросить вас, не он ли склонял вас сообщить ваше решение округам Сент-Антуанского и Сент-Марсельского предместий в надежде поднять напротив меня?

Что касается обвинений, которые он себе позволил, то они столь же смешны, сколь мало обоснованы. Он заявил вам про мою газету, будто она провозглашает ложные принципы. Вместо того чтобы ограничиться простым указанием, ему следовало бы обрушиться на самые принципы; этим он дал бы мне возможность выступить на их защиту, изложить вам те основания, которые убедили бы меня в их истинности, и мы в конце концов, разумеется, пришли бы к полному согласию. Он уверяет, что принципы мои могут лишь уничтожить дух единения и согласия, который должен царить между гражданами и теми, кого они избрали, поручив им блюсти общественное управление. Все это было бы чудесно, если бы администраторы были честны и неподкупны, но когда они только о том и мечтают, как бы сделаться независимыми от своих сограждан, чтобы притеснять их и обогащаться за их счет, тогда подобное слепое доверие, такое доверие было бы самым крайним несчастьем. Да и кто такие эти люди, которые себе одним присваивают право смотреть за общественным управлением? Баловни судьбы, пособники деспотизма и крючкотворства, академики, королевские пенсионеры, сластолюбцы, трусы, которые в дни опасности сидели, запершись, по домам и с трепетом дожидались конца всей тревоги. А в это время вы, в пыли, поту и крови, страдая от голода и смело глядя в лицо смерти, защищали свои очаги, низвергали деспотизм и мстили за отечество.

А потом, достигнув почестей ценою низостей и интриг, ревниво оберегая свое господствующее положение, они поднимаются против мужественных граждан, следящих за ними, под тем предлогом, что им одним, в силу избрания, поручено блюсти благо государства.

Но что случилось бы с нами 14 июля<sup>note 2</sup>, если бы мы слепо поверили им, если бы мы предоставили им судьбу Делонэ, Флесселя, Фулона, Бертье, если бы мы не вырвали у них приказа идти против Бастилии и разрушить ее? Что случилось бы с нами 5 октября, если бы мы не принудили их дать приказ двинуться на Версаль?<sup>note 3</sup> И что случилось бы с нами ныне, если бы мы продолжали полагаться на них? У них есть основания призывать вас к слепому доверию. Но, чтобы почувствовать, как мало они его заслуживают, вспомните, что до сего времени оказалось невозможным заставить продовольственную комиссию отринуть негодных своих сочленов; вспомните, что не легче было заставить и самый муниципалитет дать ясный и полный отчет; вспомните, что многие из его членов обвинялись в ужаснейших должностных злоупотреблениях.

Обратите затем внимание на скандальную роскошь этих муниципальных администраторов, содержимых на счет народа, на пышность мэра и его помощников, на великолепие занимаемого им дворца, на богатство его обстановки, на роскошь его стола, когда он в один присест потребляет стоимость прокормления четырехсот бедняков. Подумайте, наконец, что эти же самые недостойные уполномоченные ваши, растрачивающие государственные богатства на свои удовольствия, насильственно вынуждают вас расплачиваться с жестокими кредиторами и безжалостно предают вас ужасам тюремного заключения.

Вы ставите мне в упрек резкость и несдержанность, с которой я обрушиваюсь на врагов отечества, и вы предлагаете мне снять заголовок с моей газете-« ты под тем предлогом, что такой заголовок предполагает сочувствие части народа, который может признать истинным своим другом лишь того, кто утверждает только такие факты, на которые у него есть доказательства, кто лишь осторожно решается затронуть репутацию любимого министра Франции и кто в писаниях своих сохраняет уважение и приличие по отношению к публике...

Это все равно, как если бы я привлекал вас к ответственности за то, что вы разражались проклятиями при осаде Бастилии или во время похода против королевской гвардии, или все равно, как если бы я ставил вам на вид то, что вы без достаточной вежливости упрекали Делонэ в его вероломстве и не попросили его разрешения раскромсать его на части. Не поддавайтесь обману: война наша с врагами еще не окончена; ежедневно они ставят нам ловушки, и ежедневно приходится сражаться с ними; вы вменяете в преступление то, что я отчаянно бьюсь за ваше благо и выступаю против них с единственным оружием, которого они боятся. Что касается излюбленного министра Франции, то он до своего возвращения, пожалуй, еще мог порочить кого-нибудь, но здесь завеса сорвана: спросите-ка его, кто платил войскам, пришедшим, чтобы перерезать всех вас и превратить ваш город в пепел; спросите его, кто заставлял голодать и отравлял вас столько времени; спросите его, какие надежные справки давал он вам относительно приготовлений к бегству королевской семьи в Мец; спросите его, кто скупает у вас всю звонкую монету, после того как уже скуплено все зерно, — а потом взгляните на его молчание и судите о его доблести.

Вы предлагаете мне расстаться с званием Друга народа: ничего большего не могли бы потребовать от меня самые жестокие наши враги. Как могли вы допустить столь безрассудное требование? Принимая это прекрасное звание, я подчинился единственно движению моего сердца; но я старался заслужить его своим усердием, преданностью родине, и мне кажется, что я оказался на высоте. Прислушайтесь к общественному мнению, посмотрите на толпу несчастных, угнетенных, преследуемых, которые каждый день обращаются ко мне за поддержкой против своих угнетателей, и спросите их, друг ли я народа. Впрочем, благодетеля мы узнаем по содеянным благодеяниям, а не по оценке облагодетельствованного — и неужели же вы, содействовавшие победам 14 июля и 6 октября, утрачиваете звание освободителей Франции только потому, что ваше отечество уже забыло о ваших заслугах? И неужели бестрепетный благородный человек, кидающийся в воду, чтобы вытащить оттуда своего ближнего, умаляется в своей роли спасителя только потому, что неблагодарный спасенный отказывается признать за ним это звание? Нет, нет, сограждане, правила, которые хотят внушить вам, вовсе не идут из глубины вашего сердца: честное и чувствительное, оно с негодованием отвергнет попытку злодеев, которым хотелось бы поднять вас против вашего защитника. Читайте «Друг народа» от 13-го числа сего месяца, вы там увидите, что он, не дожидаясь сегодняшнего дня, воздал вам должное. Читайте «Друг народа» каждый день, и вы увидите, что он мечтает лишь об одном — задушить ваших тиранов и сделать вас счастливыми.

Доктор Марат, Друг народа».

Облатки не нашлось. Доктор свернул письма длинной лентой и вогнал один конец письма в другую, тщательно разгладил сгибы, заботясь об уменьшении объема писем. Оже смотрел на его руки, на быстрые пальцы, тонкие, длинные, необычайно изящные, пальцы конспиратора, привыкшего к работе над письмами, над книгами секретной типографии, над тонкими столбиками латинской наборной кассы. Марат не написал никакого адреса, он положил письма в правый карман атласного жилета, туда, где обычно мюскадены, парикмахеры и франты-приказчики Парижа навешивали длинные цепочки несуществующих часов. Оже хотел предложить доставку этих писем, но, увидя жест Марата, остановился. Марат подошел к постели больного, взял его за руки и, убедившись, что жар спадает, удовлетворенно вздохнув, произнес:

— Ну, надобность в медицине проходит. Однако я хотел бы посидеть у вас до рассвета. Вы видите, какой беспокойный наш Париж по ночам.

Марат обращался к Оже. Тот переглянулся со старым негром, толстогубым морщинистым человеком в седом парике, с холодными светло-голубыми глазами. Старик, не глядя на Оже,

едва заметным умным и важным кивком выразил свое согласие мулату. «Кто же у них старший, — думал Марат, — и кто они, эти странные люди?»

— Оставайтесь, Друг народа, — сказал Оже. — Мы должны вознаградить вас как врача, если только в наших силах будет вознаградить по заслугам Друга народа.

Марат желчно улыбнулся.

— Медицина — наука, а я не торговал истиной. Я прошу вас только о двух сухарях и чашке молока, если можно сейчас достать этот редкий напиток в Париже.

Просьба Марата была исполнена. С необычайным радушием и заботливостью черные депутаты Ассамблеи устроили Марату ночной ужин. Огромная плетеная фляга с вином, этой крепчайшей настойкой из благоуханных антильских растений, была принесена, но Марат покачал головой. Друг народа не пил ни капли вина, но ел с такой звериной жадностью и так скрипел зубами, отгрызая сухари, что этим ясно обнаруживал страшный голод, огромное истощение, до которого довели Марата-Невидимку парижские магистраты, умевшие организовать за недорогую плату тонкую и адскую полицейскую травлю.

Быстрыми шагами в комнату вошел человек в сером плаще, сдернул маску, скинул треуголку и сказал, нисколько не обращая внимания на Марата, еще не снявшего своего коричневого грима:

Рафаэль сделал ужасную вещь. Он шел по площади со мною вместе через мостовую дворца, четверо слуг проносили некую даму в желтой маске, а рядом с дамой в носилках качался в подвесном кольце синий квецаль, любимый попугай Рафаэля... Неосторожный юноша, он окликнул попугая, и тот ему ответил, дважды закричав: «Страна гор, страна гор». Дама остановила носилки, и один из слуг ударил Рафаэля, с которого соскочила маска. Дама бешено кричала: «Негры в Париже оскорбляют женщин!» Из-за решетки вышел офицер с часовыми, выхватил шпагу, Рафаэль открыл грудь и сказал: «Я безоружен и никого не оскорблял, дама говорит неправду». Хуже всего, что на шум поспешил с другой стороны площади господин Ламет, который узнал Рафаэля и возмущенно закричал:

— Так вот ты где, негодяй! Кто тебе разрешал отлучаться с плантации?

— Тише, тише, — прервал Оже, — остановись, Биассу, тут что-нибудь не так, тут что-нибудь не так.

— Что не так? — с бешенством повторил тот, кого называли Биассу. — Рафаэля поймали, его схватили, и два десятка черных рабов господина Ламета окружили его на конюшне. Я видел сам, как они сорвали с него камзол, обнажив плечо, заклеямили его каленым железом. Они поставили ему «Runaway» note 4. Молодой Ламет не испугался жареного мяса в Париже, он ударил Рафаэля сапогом и кричал: «Теперь мы всюду узнаем тебя, беглый раб». Они тащили его по улице города ночью; толпа, лакеев, приказчиков и конторских счетоводов господина Ламета свистела и ликовала.

Говоривший встретился глазами с Маратом. Выражение глаз Друга народа, стиснутые зубы и поднятые кулаки вдруг обнаружили в нем пришельца в цветной среде. Говоривший не понимал, чем вызван гнев незнакомого человека, было ли это возмущение насилием над негром Рафаэлем, получившим гражданскую карточку без ведома своего владельца, или, наоборот, этот выкрашенный в коричневую краску француз; у которого белая кожа явно просвечивала под расстегнувшимися обшлагами на поднятых сжатых в кулаки руках, негодовал на негров. Молчание было общим. Потупя головы, все оставались в неподвижности, подавленные чувством гнетущей горечи.

Наконец, заговорил Оже:

— Да покарает их бог! Мы не знали, что Черный кодекс висит над нашей головой даже здесь, в городе благородной свободы. Четырнадцать лет тому назад в далеких саваннах, ночью, в палатке моего друга француза, аббата Рейналя, изгнанника здешней страны, я впервые прочел слова, возродившие мое сердце. Он привез бумагу тринадцати Соединенных штатов. Ее назвали «Декларацией независимости», в ней было написано: «Мы считаем самоочевидными истины, что все люди созданы равными, что им даны их создателем некоторые неотъемлемые права, в числе которых находятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Вот прошло четырнадцать лет, и мне в мое усталое сердце еще раз постучала птица свободы и счастья. Наша Франция в тысячу раз лучше повторила священные слова тринадцати штатов. Как не гордиться нам, что наше государство громко, на весь мир сказало о правах человека и гражданина! Франция кликнула на весь мир: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах». Наши друзья, наши французские друзья советовали нам обратиться в Великую ассамблею свободного народа. Мы покинули наши Красные и Белые горы, мы собрали золото с островов, деревень и поселков, нам обещали свободу. Мы впервые ехали по морю на корабле, везшем цветных и черных людей, не будучи при этом плавучим кладбищем черных рабов, как в Манеже назвал их господин Мирабо. Мы забыли, что этот бриг «Санпарейль» только потому и назывался бесподобным, что был первым по количеству перевезенных рабов, что сам французский король был владельцем этой негрской плавучей гробницы. Мы впервые за всю нашу несчастную жизнь смотрели с палубы, как белая пена взлетает до самых парусов, как птицы не успевают садиться на реи, и под нашей африканской кожей сердце впервые пело, как птица. Из Сен-Мало мы спешно ехали в Париж по вашим пустынным дорогам. Мы видели, как по ночам пылают дворцы и деревни, дважды мы слышали, как пушки били в стороне от дороги, дважды отряды вооруженных крестьян с волнением смотрели в наши желтые дамбланши, в наши синие кареты. Мы привезли в Париж два клада, и оба клада положили на трибуну вашей великой Национальной ассамблеи. Вы помните, это была ночь, вокруг нас стояли друзья: господин Бриссо, господин Траси, господин Грегуар, господин Ларошфуко, господин Корнейль, господин Петион, господин Сийэс, господин Лавуазье...

Марат вздрогнул, брови его сдвинулись. Он гневно закричал:

— Господин Лавуазье?.. Директор пороховых заводов! Королевский откупщик, химик-недоучка! Первый богач Парижа, окруживший столицу Франции стеною таможенных бойниц, налоговых бастионов!.. Ни пройти, ни проехать, ни взад, ни вперед без того, чтобы не заплатить генеральному фермеру господину Лавуазье... Стены в тридцать три миллиона ливров, собранных у беднейших французов... Граждане, цветные друзья моего народа, зачем вы произносите имя Лавуазье, этого продавца подмоченного табака и отравленного сидра?

Биассу, обращаясь к Оже, сказал:

— Оже, мы все это помним. Если ты обращаешься к этому перекрашенному гражданину, то...

— Ты разгорячен, Биассу, остановись! — возразил Оже. — Это не перекрашенный гражданин, это доктор Марат, Друг народа. Первый белый, первый француз, которого черный цвет кожи нынче спас от мести белых людей.

Биассу низко поклонился, разводя руками. Оже продолжал:

— Гражданин Марат, мы видели вас в ту ночь, вы ходили, прихрамывая, вместе с господином Робеспьером за тесовой оградой трибун, там, где за головами депутатов стояла публика. Мы дважды слышали ваш голос, когда в перерывах вносили новые факелы. Дважды ваша тень покрыла меня, когда, указывая на трибуну английского гостя, господина Юнга, сидевшего с швейцарским гостем, господином Дюмоном, вы крикнули: «Они ошибутся, эти стреляные парламентские волки, они ошибутся, считая голос французского народа младенческим

лепетом парижской свободы. Они еще услышат гром!».

— Не помню, — сказал Марат, — кажется, это было собрание, на котором Камюс предложил учредить национальный архив из пергаментной дворянской рвани. Дворяне беспокоились, что погибнут их титры, их бумажные права на труд крестьян. Лучше бы они подумали о том, что скоро погибнут их деревянные головы. Я помню еще, что этот дурак Бальи предложил отменить рукоплескания, так как они зачастую поощряют глупых ораторов, и вся зала Манежа огласилась бешеными аплодисментами парижского народа. Французы ликовали, видя, как Бальи превращается в красного индюка.

— Нет, это было не то собрание, — сказал Оже, сурово нахмурившись. — Я хочу напомнить доктору Марату только то собрание, когда нам дали слово, когда мы говорили о своих обидах и о своих ожиданиях, когда мы на алтарь Франции принесли наши два клада, когда с трибуны я говорил, что первый клад — это наша горячая вера в свободу французского народа, наша жажда отдать ей все наши братские силы, а второй клад — это вырытые из земли и скопленные трудом и горем шесть миллионов золотых ливров, тайно привезенные нами в подарок Франции. Вы помните, доктор Марат, как президент Бальи ответил на то и на другое: «Ни одна часть нации, пришедшей сюда взывать о своих правах, не будет взывать о них тщетно». Господин Бальи при этом прочел грамоту, подписанную господином королевским банкиром, о том, что «золото, привезенное черными и цветными людьми с острова Гаити из колонии святого Доминика, хотя и старой испанской чеканки, но золото доброго качества, и полного веса на шесть миллионов ливров». Тут тоже были аплодисменты, гражданин Марат! Наши старики, знавшие тайны подземных сокровищ, вырыли их как выкуп за тех, кого свободная Франция должна освободить из рабства. Верните нам проданных братьев, жен, разлученных с мужьями, детей, оторванных от матерей. Вот о чем мы просили, вот о чем мы просим. Разве можно отвечать на это клеймом беглого раба здесь, в Париже! Неужели мало господину Ламету рабов и денег! У него за океаном девяносто три сахарных завода и шестнадцать кофейных плантаций. Зачем его брату клеймить нашего Рафаэля? Разве недостаточен привезенный нами выкуп? Разве брат его не член Национальной ассамблеи? Разве на улицах Парижа мы также должны опасаться собак, вскормленных негрским мясом, как наши черные братья в саваннах? И не странно ли, гражданин Марат, — если только не ошибся Биассу, — не странно ли, гражданин Марат, что в Париже клеймят английским клеймом, а не знаком французской лилии, как делали до сих пор вы, благородные французы? Или господин Ламет, почитая английские законы, пренебрегает уже старым гербом королевской Франции? Что нам делать теперь, гражданин Марат? Кого просить, гражданин Марат? Куда нам деваться, гражданин Марат?

— Вот что! — качая головой, шептал Марат. — Вот как!

В смятении он встал и заходил по комнате.

— Вот как можно жить в Париже и ничего не знать! Я ничего, ничего об этом не знал. Я скрываюсь от преследований. Я издаю газету во имя революции. Нынче ночью от белого агента магистратов меня спасает черная кожа раба, нынче ночью свободного негра клеймят французские рабовладельцы. Разве можно говорить, что революция кончилась? Я задыхаюсь! Дайте подумать обо всем этом, друзья!..

Марат остановился, затем вдруг поднял голову, жестко усмехнулся с видом полного разочарования:

— Ничего не могу сказать вам, друзья, мне горько все, что я услышал. Мне горько то, что вы приехали с горячих рек на берега нашей Сены, покрытой снегом, что легкие вашего товарища, лежащего здесь, простужены и наполнились кровью. Вы сделали тяжелый путь в поисках свободы. Что ответит вам французский народ? В «Обществе друзей черного народа», где заседают господа депутаты с берегов Жиронды, вы не найдете друзей народа.

Вот вы называли господина Лавуазье. А знаете ли вы, кто этот Лавуазье? Когда разъяренный Париж пошел штурмом на королевскую Бастилию, кто как не Лефоше, помощник господина Лавуазье, вице-директор Арсенала, отпускал пороховые бочки защитникам королевской тюрьмы? А? Что вы скажете на это?

— Как здоровье Туссена? — спросил Биассу, перебивая Марата.

Оже взглянул на доктора, как бы передавая ему вопрос.

— Ваш больной вне опасности, — глухо сказал Марат, — он бредит латынью, как испанский иезуит. Кто научил его латыни?

— Некий старый аббат, — ответил Биассу. — Доктор Марат, у вас на лице столько удивления, что я должен поделиться с вами печальным наблюдением. Мы вместе с моим другом Шельшером, в доме которого живем, смотрели во «Французском театре» зрелище под названием «Черный, каких мало среди белых, или Негр Адонис». Французская публика показывает на сцене крашеного человека, все достоинство которого состоит в том, что он отдает жизнь, спасая своего ничтожного и глупого господина. Неужели думаете вы, что все достоинства наших племен будут всегда состоять в том, что мы добровольно будем кормить собак господина Массиака! Не каждый из нас «Адонис»!

— Где Адонис? — прошептал больной в постели и, приподнявшись на локте, открыл удивленные, большие, сохранявшие еще лихорадочный блеск глаза.

Все встали за исключением Марата. У всех на лицах отразилась живая и самозабвенная радость. Оже и Биассу подошли к больному. Они стояли с выражением такой почтительности, такой огромной радости, что, казалось, совсем забыли о присутствии постороннего человека.

— Бреда, дорогой Бреда, дорогой начальник! Как хорошо, что ты заговорил! Как хорошо, что к тебе вернулась память! Адонис придет, Адонис пошел за врачом.

— Мне хочется пить, — сказал больной.

Выпив глоток воды, он спросил только одно:

— Когда декрет?

— Можно ли завтра, начальник? — отвечал Оже. — Можно ли докладывать тебе завтра, когда ты снова будешь в твоей комнате? Там все книги, там все твои письма, там ты прочтешь и о том, как нам хотят помочь «Друзья» и как собрания в отеле Массиака с двенадцатью капитанами хотят помешать нам в Париже.

Больной сказал:

— Мне нельзя болеть, я должен быть здоровым, и я обойдусь без врачей так же, как, будучи мальчишкой, обходился без колдунов. — Он выпрямился, худой, маленького роста, стройный, необычайно быстрый, и остановил глаза, услышав смех Марата.

— Вы правы, мой черный друг, вы правы. Лошадей лечить лучше, чем людей. Неблагодарность мерина удивляет меньше, чем скотство в человеке.

— Кто это? — спросил больной и закашлялся.

— Я доктор Марат, меня прозвали Другом народа. Я пришел сюда по просьбе вашего брата, который бегал по улицам Парижа, разыскивая врача. Я пришел, я помог вам, вам теперь легче, я могу уходить. Но только дайте мне воды, какую-нибудь тряпку. Как видите, мне плохо и в черной и в белой коже.



Больной слушал внимательно.

— Я заслужил ваш гнев, конечно, в меньшей степени, чем доктор Марат заслуживает мое уважение... Должно быть, уже немало дней, как я впервые потерял память, и очень немного минут прошло с тех пор, как она снова со мною... Получил ли врач положенное ему золото? — спросил больной, быстро поворачиваясь к Оже.

На это ответил сам Марат:

— Таких, как я, не знающих завтрашнего ночлега, честных граждан, преданных революции, в Париже сорок тысяч человек. Нас кормит французский народ, мы ни с кого не берем никакой платы. Жалею, что вы не обратились к доктору Месмеру, магнетическому шарлатану, любимцу королевы. Это животное лечило бы вас животным магнетизмом. Глупость, от которой еще ни разу никто не выздоровел, но очень многие заболели. И тогда вам пришлось бы кинуть золотой подвесок к вашему испанскому золоту. Вот любитель денег! Вот истинный врач!

Раздался стук в комнату. Стук условный. Все переглянулись. Больной посмотрел в сторону входа и громко, отчетливо, как пароль, произнес:

— Квисквейа.

Вошла женщина, поклонилась больному и с удивлением обвела комнату глазами.

— Кого вы ищете, сестра Шельшер? — спросил Оже. Но она уже нашла сама. Она узнала Марата по одежде, улыбнулась и сказала:

— Светает. Я была на овощном рынке, а сейчас на углу нашей улицы столкнулась с вашим слугою. Он переоделся нищим и при виде меня сказал только одну непонятную фразу: «Попросите хозяина вынести мне семь су». Я уверена, что он меня не узнал, мы виделись ночью, зато я его узнала, так как тогда он нес фонарь.

— Семь су, — повторил Марат. — Я могу дать семь су этому нищему, если граждане разрешат пригласить его сюда.

Взоры всех обратились в сторону больного. Тот кивнул головой. Через несколько минут Лоран Басе с большой пестрой котомкой дорожного попрошайки был введен в комнату. Лукаво сощурившись, он поклонился, не будучи уверен, следует ли ему узнать в черном человеке неуловимого Друга народа. Короткими условными фразами Марат успокоил своего телохранителя. Лоран Басе вынул из котомки ворох корректур восемьдесят четвертого номера «Друга народа» и разложил перед Маратом. Тот быстро, привычным взглядом узнавая им же написанные и трижды прочитанные статьи, сообщения и заметки, перелистал номер несколько раз и корявым почерком дрожащей руки написал, издеваясь над термином королевского цензора, *Imprimatur* note 5. Лоран Басе встал, прошептал быстро:

— Вам сегодня лучше не появляться в округе Кордельеров. Через посредство «Монитора» вам собираются предложить добровольную явку на суд Национального собрания.

— Дураки, — сказал Марат, — они думают, что я читаю эту сволочь.

Лоран Басе продолжал:

— Есть известия, что аристократы, успевшие перебежать границы вместе с принцами и родней австриячки, поговаривают о войне, о сожжении Парижа.

— Они еще поговаривают, а мы уже конфисковали их имения три дня тому назад. Пусть бешутся попы, мы уже конфисковали добро монастырских князей второго ноября.

— Сегодня я первый раз видел новые ассигнации вместо звонкой монеты, — сказал Лоран Басе. — Мне это на руку. Легче носить жалованье типографским наборщикам.

— Прошу тебя, Лоран, как друга, — сказал Марат, — доставить эти письма по назначению, но смотри, друг, из почтальона не превратись в висельника. Поживем, хотя многим хотелось бы видеть нас мертвыми. На нас обижаются за то, что мы живы. Что же поделаешь, мы вежливы, но не до такой степени, чтобы перерезать себе шею. Прощай, Друг.

Пожимая руку Лорану, Марат шепнул ему:

— Я сделаю отметку белым камнем на углу левой башни Нотр-Дам, как всегда, поставлю цифру. Вернешься из типографии, пройди мимо и перечеркни. Я буду знать, что ты прочел и в назначенный час будешь под старым деревом в Пале-Рояле.

Лоран Басе ушел. Марат подошел к своему пациенту, державшему в руках книгу, и спросил, как он себя чувствует. Негры, бывшие в комнате, один за другим уходили. Больной отложил книгу и сказал:

— Ваша помощь пошла впрок, доктор Марат. Можете ли ответить на один вопрос, а быть может, даже и на два?

Марат кивнул.

— Знаете ли вы, что Шельшер, брат этой девушки, которая входила в комнату, был вместе с вами принят в масонскую ложу «Великая Англия» в Лондоне? И еще — знаете ли вы аббата Рейналя, написавшего эту книгу?

Марат взял четвертый том сожженной книги аббата, ставшего атеистом, революционером, открытым врагом христианской религии, бежавшего из Франции в те дни, когда палач, сжегший книгу, должен был сжечь ее автора.

Осыпая, как искрами, взглядами мулата и старого негра, бесшумно, вразвалку вошедшего в комнату, доктор прочел: «Нигде христианство так не отравляло людей ядом, как в богатых колониях Нового света. Там богачи религией прикрывают свои пороки, а людей, имеющих одну только разницу в цвете кожи, наставляют в добродетели, которая вся состоит в покорности раба господину. Скоро настанет век великих республик. Белые и черные рабы соединятся, освобождая мир». — Не люблю беглых попов, — сказал Марат, — даже когда они пишут «Философическую и политическую историю об учреждениях и торговле европейцев в обеих Индиях». Знаю вот эти картинки, — Марат постучал ногтем по гравюре, изображающей, как колонист продает молодую женщину на невольничий корабль. — Мне тоже не по душе торговля рабами, но еще больше не по душе мне материалисты и атеисты. На первый ваш вопрос отвечать не желаю, я хочу спать.

Марат шатающейся походкой подошел к циновке и, не глядя на своего пациента, смотревшего внимательно спокойными глазами, заснул на циновке. ПИСЬМО САВИНЬЕНЫ ДЕ ФРОМОН К ФРАНСУА ШОДЕРЛО ДЕ ЛАКЛО

«2 января 1790.

Мой дорогой Просветитель и благочестивый Наставник. Вы можете не упрекать вашу усердную ученицу, во-первых, потому, что ее вынужденное молчание не было длительным, а во-вторых, сразу заболела после простуды, схваченной мною в ту самую ночь, когда в городе выпал небывалый снег и мы с Мадленой и Кавалером должны были идти пешком от самого моста Ошанж до Турнельского моста, так как свалились два колеса от кареты. Какое счастье, что мы еще не разбились! Мадлена локтем проломила толстое окно из витимской слюды. Я выпала через дверцу и запуталась в юбках Мадлены. Наш кучер пошел искать помощи и

пропал; мы остались одни, не зная, что делать, и с ужасом смотрели на уцелевший догорающий фонарь кареты. Я даже подумывала о том, что, пожалуй, решила бы проехать в экипаже этих ужасных фиакров, но их нигде не было. Вот тут и произошел случай, о котором я хочу вам рассказать. Из переулка вышел молодой человек, смелая и благородная походка которого внушила нам полное доверие. Если б вы знали, святой отец, как он оправдал это доверие! Конечно, к нему обратилась не я, а Мадлена. Он ответил ей, что ищет потерянного врача, мне показалось, что он лжет, но, чтобы заручиться провожатым, я ему обещала послать врача, будто бы живущего в нашем отеле. И вот тут слушайте: он оказался красавцем, кавалером какого-то испанского ордена, но, увы, он был чернокожим. Он был африканцем... Какое мне дело! — он был красив! К нему вполне подходило его имя Адонис. Я вспомнила ваши уроки; уверяю вас! Тысячекратно уверяю, что я превзошла своего учителя. Страницы ваших «Опасных связей» скользят по берегу, а я искупалась в самом потоке. В отеле я шепнула Мадлене, чтобы она подготовила моего Адониса, дала ему горячего вина и несколько капель из подаренного вами флакона. Ничего, подумала я, ничего. Будет маленькая ошибка в мифологии: сделаем так, чтобы Адонис вместо Эскулапа нашел Венеру. Мадлена осветила всю комнату, обмахнула пером серебряные зеркала по стенам и поставила около алькова большой фарфоровый таз, ваш любимый, розовый, прозрачный, так хорошо освещающий комнату, когда в нем остаются всего две глиняные лампы. Уверяю вас, что в ту минуту, когда Мадлена меня расшнуровывала, я дрожала не из страха, а только от любопытства к черной коже. Может ли ваша приятельница, эта испаночка Кабарюс (говорят, она «завладела» сердцем г-на Тальена, но разве это сердчишко — неприступная крепость? Правда ли, что ей наскучила связь с вами и она побывала в руках собственного брата?)... Я была хороша

— Адонис неутомим. Но под утро неожиданно вернулся из Версаля граф Анри, и мне пришлось быстро спрятать моего черного любовника в комнате Мадлены и сделать так, чтобы не пахло горьким маслом. Я не впустила Анри, сославшись на головную боль и простуду, однако мне не удалось заснуть. Я была разбужена бешеным лаем борзых на каменном дворике перед моими окнами. На стук Анри я открыла дверь. Он побежал к окну, весело смеясь, он быстро распахнул гардины, открыл жалюзи, и при свете факелов я увидела, как собаки рвали на части тело моего Адониса. Он отбивался бешено до тех пор, пока борзая сука, прозванная Бритвой, не впилась ему в горло. Анри любовался этим зрелищем и говорил: «Вот видишь, как они дрессированы, этому черному вору не удалось похитить невинности даже нашей Мадлены, несмотря на то, что ее целомудрие побывало в двадцати ломбардах». Эти слова заставили меня рассмеяться. Моя «головная боль» прошла; я бросилась на шею Анри, и, как говорят поэты, декабрьская Аврора, пробравшись к нам в альков, застала нас еще не спящими. Можете ли вы меня хоть в чем-нибудь после этого упрекнуть? Я была безупречна, я могу стать наставницей своего наставника. Я, вероятно, ошибаюсь, думая, что заболела от простуды, просто у меня кружилась голова оттого, что вечером приходил г-н Бриссо с г-ном Верньо, с ними кто-то из магистрата и неизвестный ваш соперник Ретиф де ля Бретонн, автор «Развращенного крестьянина». Я слышала их разговор с мужем. Оказывается, старшая дочь Ретифа, восемнадцатилетняя кокетка, влюбилась в некоего Оже, богатого мулата. Этот Оже приехал из Антилий по каким-то политическим делам (какие могут быть политические дела у негров? Объясните мне, пожалуйста, почему их всех не посадят в Бисетр, или Ла Форс, или в Сен-Пелажи? Мало ли тюрем для рабов?). Оже взволновал Ретифа рассказами о том, что негры исчезают в Париже. Ретиф взволновал Верньо, Верньо взволновал Бриссо, а этот черный дрозд с берегов Жиронды не нашел ничего лучшего, как прийти к моему мужу и просить его Помощи, так как Анри имеет в подчинении всех начальников парижских кордегардий. Пока они говорили, я волновалась... Но Анри! Ах, я его почти полюбила, хотя он и мой муж! Он оказался на высоте; он был истым дворянином. Он не сказал ни одного слова невпопад. И когда они ушли, меня беспокоило только одно: почему они говорили о

нескольких пропавших? Неужели создатель мира так щедр, что сотворил многих черных

красавцев, и неужели я так несчастна, что какая-нибудь негодяйка обогнала меня в опыте с неграми? Уж не ваша ли Кабарюс? Нет! Тысячу раз нет! Но все-таки. Когда увидите ее снова у герцога Орлеанского, спросите, не перебила ли у меня мой запретный плод эта новая Ева из старого Ада.

Прощайте, дорогой Франсуа. Поручаю себя вашим молитвам. Правда ли, говорят, что граф Мирабо написал в тюрьме книжку «Эротика»? Если она украшена гравюрами Моро Младшего, то пришлите ее мне с первым выстрелом пушек вашей батареи, если сами не приедете скоро в Париж. Я хочу позабавиться. Говорят, жизнь становится опасной. У моей кузины конфисковано имение! В ее замке крестьяне сожгли все титры! Забудемся! Предадимся забавам! Дорогой Франсуа, милый артиллерист, доказавший меткость своей стрельбы. Видите, как вы меня просветили. Оставляю это на вашей совести (я хочу сказать, если вы остановились на полдороге). Прощайте!

С. де Ф.»

## 2. ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ

Надо опасаться отчаяния людей, которым более нечего терять, ибо все у них отнято.

Они могут захотеть овладеть всем миром. De Pradt.

Отец Кулон полагал, что в этот день поздно открыл свой киоск. Было холодно. Январское солнце скупо светило над Парижем.

Отец Кулон вынул засовы, снял заслонку из досок. Огромный карабасс, запряженный четверкой лошадей, прогремел по дороге, отец Кулон почтительно снял меховую шапку. Молодой генерал Лафайет, комендант Национальной гвардии, с восемью офицерами в карабассе, сделал приятную улыбку старому владельцу киоска, десятки лет подряд выставляющему по утрам деревянную вывеску «Публичный писец» над карнизом своего киоска. В этот день ревматические боли едва не удержали отца Кулона в постели. Однако он вышел, несмотря на боль в суставах. Отец Кулон осмотрелся, расставил чернильницы, пересмотрел запас очиненных перьев и ситки с золотистым песком для просушки чернил.

— Плохие времена, — ворчал отец Кулон, — все меньше становится работы, приходится в ожидании заказчиков заниматься чтением вместо письма.

Отец Кулон с неудовольствием заметил, что ветви кустарника, выросшего на деревянной крыше киоска, свисают на карниз. Капли недавнего дождя падают на прилавок. Он вытер дождевые пятна и, высунувшись по пояс из киоска, с неудовольствием осмотрел улицу.

Господин Феликс Бертэн, занимавший два окна дома номер восемьдесят восемь, не открыл своей булочной; ленточное заведение госпожи Лаваль, этажом выше, казалось спящим, так как окна были занавешены; щеточное заведение господина Грокалью не обнаруживало признаков жизни. Старая Маргота, выходившая по утрам с переносной печью, столами, скамейками, двумя большими псами и располагавшаяся на углу под огромным зонтом, спасавшим ее с горячими пирожками и ласковыми собаками от солнца и от дождей, в этот день тоже отсутствовала.

— Плохие времена, — повторил старик, чувствуя, как боль грызет его суставы. — Погода меняется, и холоднее становится в мире. Двадцать лет Маргота приходит изо дня в день на

этот угол. Тревожно на сердце. С тех пор как короля провезли из Версаля мимо этой палатки, не повторялось отсутствие Марготоны и закрытие заведений моих соседей. Неужели опять что-нибудь случится?

Чтоб отделаться от неприятных мыслей, отец Кулон достал с полки первую попавшуюся книжку. Это был томик басен Флориана. Отец Кулон давал книги из своей палатки соседям, любившим от нечего делать почитать. Сейчас он сам расположился на табурете, открыл книгу. Из маленького томика выпал рисунок; какой-то читатель заложил им басню, подчеркнув верхнюю строку:

Секрет мой состоит в умении выбирать Собак позлее

Рисунок изображал короля и двух министров на своре. Отец Кулон с досадой закрыл книгу, спрашивая себя, кто последний брал у него Флориана. Эти размышления были прерваны словами незаметно подошедшего человека.

— Господин писец, не можете ли написать письмо под мою диктовку?

Отец Кулон вздрогнул. Заказчик, говоривший с сильным иностранным акцентом, улыбался ласково и приятно.

— Извольте сударь, да будет ваш приход началом хорошего дня. Хотя позднее утро, но до вас не было еще ни одного заказчика.

— Вот как, — сказал посетитель, — а мои часы показывают шесть часов утра. Разве вы не видите по солнцу, что это так?

Отец Кулон с облегчением вздохнул:

— Боже мой, ведь в самом деле раннее утро. Мои часы остановились на десяти часах вчера вечером, только и всего, а я-то, чудак, испугался, что остановилась жизнь Парижа...

— Сударь, вы разговорчивы, а мне некогда, — прервал незнакомец.

Отец Кулон не привык к такому обращению. Пожевывая старыми морщинистыми губами, он придвинул поближе стопу синей бумаги, открыл железную банку чернил и прогнусавил:

— К услугам господина.

— Пишите, — скомандовал заказчик: — «Друг народа посылает в Отель де Вилль парижским магистратам и всем честным гражданам предупреждение о том, что директор пороховых заводов, подкупленный врагами народа, ведет переговоры о продаже пороховых бочек прусскому королю, а для того подготавливает отправку сорока тысяч бочек в склады, построенные в районе Вальми и Тионвиля. Академик Лавуазье, директор пороховых заводов...»

Неосторожным поворотом локтя отец Кулон опрокинул чернильницу, и вся страница оказалась испорчена.

— Сейчас, гражданин, сейчас, простите пожалуйста. Вот возьму новый лист, а чтоб вам не беспокоиться диктовать, дайте я перепишу с вашего листка.

Отец Кулон с неожиданной быстротой отогнул край синеватого документа, бывшего в руках заказчика, но тот быстро рванул рукой, прежде чем старый, выдавший виды и знавший немало уличных секретов отец Кулон успел прочесть первую строку. Он увидел только первые два слова, вернее — слово и несколько букв: «Лорд В...»

Хитрый писец виновато опустил глаза и стал тщательно вытирать стол, сплошь залитый чернилами. Занятие это отняло столько времени, что подошли еще двое других заказчиков, а немного погодя старая Маргота появилась с тележкой, которую везли две собаки, и с племянницей, несшей корзинки. Еще прошла минута, и старуха уже громко здоровалась с отцом Кулоном, в то время как племянница раскрывала зонтик и расставляла все приспособления пирожного заведения бабушки Марготы. Из-за угла показался сержант ближайшего дозора со шпагой, змеевидной лентой через плечо, в белом парике, в рваной синей треуголке над седыми бровями и с большим красным носом. Несмотря на утренний час, сержант был навеселе. Он громко поздоровался с пирожницей и подошел к прилавку писца.

— Слушайте, старик, — сказал он, — нет ли холодной воды? Пить хочу, как святой Иоанн в пустыне. Надо попросить, конечно, Марготу, но чертовка обманула меня, не выходит за меня замуж.

— Когда ты замолчишь, старый греховодник! — крикнула пирожница. — Про тебя правду говорят, что ты языком можешь почесать у себя за ухом.

Отец Кулон, не обращая внимания на заказчиков, достал флягу, приносимую им с собой в палатку, и протянул ее сержанту.

— Должно быть; вы так заняты, что нам будет некогда переговорить, — раздраженно заметил заказчик-иностранец, засовывая свой документ за обшлаг и с недовольными жестами отходя от палатки. — Я подойду, когда освободитесь.

— К услугам граждан, — сказал отец Кулон.

Сержант, пошатываясь, отошел от палатки писца и, перейдя улицу, низко поклонился пирожнице.

— Марготона! Ты молодец, ты самая умная женщина округа. Я выпил, теперь надо поесть, дай пирожка!

Отец Кулон не сводил глаз с темно-голубого клочка бумаги, сложенного вчетверо и упавшего в пятнадцати — двадцати шагах от палатки. Не говоря ни слова, он бросил перо и, прихрамывая, выбежал из киоска. Он быстро спрятал документ, оброненный иностранным заказчиком, и, вернувшись к прилавку, стал писать под диктовку письма в деревню с перечнем десятков поклонов и приветствий от сына к деревенским родителям.

День прошел: миновали январские сумерки. Зеленоватое небо темнело над Парижем. Края высоких облаков светились едва заметной, тонкой серебряной каймой.

Отец Кулон запирал свою палатку. Погасив лампу, он задвигал засовом ставни и собирался уходить. День был ему очень длинен, так как писец пришел раньше обычного времени, а набор национальных гвардейцев, объявленный утром, вызвал прилив горделивых чувств у парижской молодежи. Диктовали письма отцам, матерям, любовницам и невестам.

В темной палатке, заканчивая свою работу. Отец Кулон слышал, как затихла улица, как вдалеке девушки, расставаясь друг с другом, перекликались через садовую изгородь:

— Покойной ночи, Анна!

— Добрый путь, Сюзетта!

Пришла еще минута. Уже совсем в отдалении снова послышалась перекличка девушек:

— Будь счастлива, Сюзанна!

— Приятных снов, Аннета!

И вдруг раздался выстрел. Щепки посыпались с крыши, ободранные свинцом. Отец Кулон вздрогнул, выбежал из палатки, и в ту же минуту второй выстрел уложил его на месте.

Два человека, перебегая через опустевшую улицу, быстро обшарили его карманы. Один, вынимая измятый кусок синей бумаги, с бешенством прошипел другому по-английски:

— Вот вам! Чтоб это было в последний раз! Как глупо обращаться к уличному писцу! Хорошо, что эти проклятые французы разбегаются от выстрелов. Крик зарезанного созвал бы всю улицу, а выстрел очищает целый квартал.

Затем оба быстрыми шагами скрылись. Еле дыша, в полном молчании дошли они до «Книжной лавки господина Авриля». Там легкая вискетка с громадными задними колесами приняла их в свою корзинку. И, качаясь на английских рессорах модного экипажа, кучер погнал лошадей с молчаливыми пассажирами. Вискетка летела в Сен-Жерменское предместье.

Английский ученый экономист, путешественник Артур Юнг с некоторым нетерпением ходил по комнатам, присаживался, вычислял стоимость паровых машин, поставленных герцогом Орлеанским на своей шелковой фабрике, и с удовольствием говорил про себя:

Он прогорит, он несомненно прогорит!

Клерк, выполнявший роль письмоводителя и секретаря при особе знаменитого путешественника, расшифровывал красивым английским почерком стенограмму, продиктованную господином Юнгом, и улыбался, открывая рот до ушей при каждом радостном восклицании своего господина.

— Поможет ли нам революция в Париже? Как умно сделали наши лорды, участвуя в промышленной жизни наряду с горожанами. Во Франции хозяйство организуют буржуа, в то время как аристократы уничтожают богатства нации. Нет, Франция нам не опасна! Герцог Орлеанский с паровыми машинами — это не конкурент нашим лордам и нашей доброй старой стране.

Вошедший лакей стал в дверях. Юнг с живостью обернулся.

— Сэр, вернулись Бигби и Джонсон.

— Прекрасно! — закричал Юнг.

Молчаливый клерк, не говоря ни слова, встал со стенограммами и ушел из кабинета, не дожидаясь приглашения удалиться.

— Прекрасно, сэр! Все удачно, сэр! — начали наперебой говорить молодые франты. — Бигби даже не виноват. Он переделал жилет и, позабыв об этом, думал, что потерял письмо.

Протягивая мятую синюю бумагу Юнгу, Джонсон, спрятав левую руку за спину, легким толчком предложил молчать своему товарищу.

Юнг не сказал ни слова. Молодые люди ушли. Срезав фитиль в лампе и вытянув его щипчиками, Юнг разгладил измятый листок и снова перечитал давно известную инструкцию, словно желая удостовериться, что ее не подменили. В ней было написано:

«Лорд Вэллоуби встревожен отсутствием регулярных сообщений, причем ему известны все обстоятельства, могущие затруднять движение по французским дорогам. Ему известно также, что не эти обстоятельства являются причиной отсутствия сообщений. Его светлость

встревожен вашим известием о том, что выработка пороха на французских заводах достигла в этом году трех миллионов восьмисот тысяч фунтов. Проверьте, дорогой сэръ: ведь это удвоение всего в какие-нибудь четыре года. Ваше сообщение об аресте директора пороховых заводов г-на Лавуазье по подозрению в снабжении Бастилии нас вполне удовлетворило. Опыты этого химика судьба может остановить, очевидно, только в случае констатирования его связей ну хотя бы с герцогом Брауншвейгским или с прусским королем. Бросьте взгляд в этом направлении. Старший секретарь его светлости получил сообщение о том, что Франция готовит провиантские склады на севере. Мы имеем также сведения о том, что господин Лавуазье как генеральный фермер не пользуется любовью и доверием парижских горожан, охваченных сейчас безумием подозрительности и разъяренных кровожадностью преступников. Его светлость также интересуют сообщения ваши о том, что Франция намерена выпускать новые бумажные деньги.

Не медлите с присылкой чистых, неизмятых образцов с указанием фамилий гравировщиков монетного двора...»

Юнг не стал читать дальше. На полях были отметки, сделанные рукой его помощника: имена укрепленных пунктов и военных приготовлений на востоке Франции.

Академик Лавуазье жил на пороховом заводе. Его окна выходили на двор Арсенала. В верхнем этаже была жилая половина квартиры великого химика. Холодная большая белая зала с белыми занавесками, креслами, банкетками и диванами, обитыми белым штофом и муаром. Часть мебели покрыта опрятными белыми чехлами. На стенах картины, также завешенные белыми чехлами. С первых дней революции хозяйка госпожа Лавуазье, дочь знаменитого откупщика по фамилии Польз, сочла целесообразным надеть белые чехлы на эти портреты. Господин Лавуазье во всем повиновался супруге, «отличавшейся твердым характером, деловитостью и приданым в восемьдесят тысяч ливров». На белых круглых и овальных столах большой пустынной залы в чинном порядке стояли канделябры с белыми спермацетовыми свечами. Единственная роскошь, допущенная скупой хозяйкой, — это свечи. На них она не скупилась, и после каждого вечера в шандалы и канделябры вставлялись новые свечи, а старые отдавались прислуге. Комната самой госпожи Лавуазье отличалась еще большей суровостью. При входе на женскую половину трудно было догадаться, является ли эта строгая комната, отделенная от спальни громадной занавеской, свисающей с потолка, комнатой женщины, или кабинетом ученого. Множество книг в белых кожаных переплетах, английский словарь, раскрытый на письменном столе, хрустальная чернильница и громадные гусиные перья, песочницы с белоснежным сухим и тончайшим песком, книжка химика Кирвана — перевод самой госпожи Лавуазье, напечатанный в Париже, — круглое зеркало в серебряной раме, потускневшее от времени, и среди всех этих белых вещей единственным черным пятном была сама госпожа Польз-Лавуазье. Высокая, худая, с блестящими острыми черными глазами, в широком черном английском платье из тончайшей фландрской ткани, секрет изготовления которой тщетно старались купить английские фабриканты, не умевшие готовить этого чудного сукна из той самой корнуэльской шерсти, которую скупали фландрские ткачи и прядильщики.

Нижний этаж наполовину принадлежал заводу, а в шестнадцати комнатах располагалась лаборатория господина Лавуазье. Это была странная кухня. Маленькие жаровни, огромные горны с мехами, таганы и сковороды, круто поднимающиеся дымоходы, плавильные печи, большие полутемные залы сменялись светлой комнатой, в которой лучи солнечного света дробились поверхностями фарфора, хрусталя и стекла. На фарфоровых, деревянных, стеклянных и серебряных столах с деревянными штативами причудливо располагались держатели, пробирки, конические колбы, аллонжи, реторты, баллоны, агатовые ступки, фарфоровые тигли с королевского завода в Севре, кристаллизаторы, заказанные по рисункам Лавуазье венецианскому стеклянному заводу на острове Мурано, градуированные



пипетки, мензур, бюретки, кюветы — весь этот фантастический стеклянный мир, по воле ученого наступающий на скупую природу, ломающий ее скрытность, горел и искрился на солнце парижского вечера, переливаясь цветными огнями, радужной игрой солнечного луча, такого простого и белого, с радостью распадающегося на тысячу цветных переливов в лаборатории Антуана Лавуазье словно для того, чтобы наверху, там, где царствует мадам Польз, снова превратиться в строгий, белый и бесцветный, даже как будто ставший скупым, солнечный свет. За пределами этой стеклянной лаборатории шли лаборатории Лапласа, Монье, Сегена, Маккера, добровольных ассистентов и товарищей по работе академика Лавуазье. Там были комнаты с цветными стеклами, а за ними три большие кабинета, из которых последний был совершенно лишен доступа солнечного света. В нем Антуан Лавуазье провел в абсолютной темноте, никуда не выходя, сто один день, для того чтобы сделать Свои, как он говорил, «дневные» человеческие глаза способными воспринимать едва заметные, тончайшие напряжения простого светового луча. Это добровольное заключение в темницу, когда простое питание ученого также происходило в темноте, принесло ожидаемые результаты, — зрение академика стало чрезвычайно чутким, но он сильно подорвал свое здоровье. В первые дни, превратив свои глаза в тончайший инструмент оптического контроля, он при резких поворотах света испытывал мгновенные состояния, близкие к потере сознания. Усилиями воли он заставлял себя вернуться к действительности из того полусонного состояния, в которое бросала его чрезвычайно раздражительность зрительных нервов.

В этот день приступ повторился и, несмотря ни на какие усилия воли, ученому не удалось закончить опыта. Приложив ладони к вискам, он откинулся на спинку жесткого деревянного стула. В этот момент в лабораторию вошел старик в ливрее с дворянскими гербами. Мадам Лавуазье любила знаки покупного дворянства. Сам ученый относился к этому подарку тестя более чем равнодушно. Четыре тысячи дворянских титулов с соответствующими должностями так называемого «дворянства мантии» были королевским товаром и продавались за очень высокую цену разбогатевшим представителям третьего сословия. Отец госпожи Лавуазье сделал свадебный подарок своему зятю.

Лавуазье в ту минуту, когда старик появился в лаборатории, даже не заметил его новой ливреи, поймав себя на чувстве радости по поводу возможности прекратить неудавшийся опыт и уйти. Мадам Польз-Лавуазье приглашала мужа обедать.

— Мадам недовольна, — сказал старик, — прислуга Лефоше опять повесила белье через весь двор Арсенала. Мадам приказала снять. Во дворе был крик.

Лавуазье не слушал. В зале его встретил в дверях маленький человек в светло-синем костюме, черных чулках и черных туфлях. Маленький, белый, чрезвычайно прихотливый парик с какими-то вольными волнистыми прядями на висках обрамлял спокойное и ясное лицо с голубыми глазами, производившими впечатление большой наблюдательности, но это выражение глаз было лишь признаком полной близорукости. Грустное выражение не сбежало с этого лица даже тогда, когда оно улыбнулось в ответ на приветствие Лавуазье.

— Как я рад, господин Сильвестр де Саси, что снова вижу вас. Когда приезжали англичане, мне хотелось показать вам их; я с удивлением узнал, что вы уехали неизвестно куда.

— Я живу extra murosnote 6. Слишком много волнений в стенах Парижа. Мысль работает плохо, когда тебе ежечасно напоминают, что ты ничтожная единица в скопище граждан. Я не лучше и не хуже других людей, но я смотрю на себя как на инструмент науки, а науку нужно беречь. Мне и моей семье хуже живется в деревне, но там тихо.

— По-прежнему шестнадцать часов напряженной работы над арабами, персами, друзьями, над рукописями и книгами Востока?

— Да, по-прежнему, — ответил Саси, — Я поселил у себя еврея, он научил меня своему

старому языку; его огромные знания дали мне возможность разобрать самарийские тексты, я теперь знаю их не хуже Кенникота и Росси. Мы разобрали гениальные рукописи Юлия Цезаря, Скалигера, и должен сказать, что за три века, прошедших со дня его смерти, не так уж много двинулась наука вперед. Этот чудак, этот гений и двоеженец, всю жизнь просидевший в маленькой голландской комнате, закутанный в меховую одежду, окруженный помощью и заботами двух своих странных подруг, умел видеть далеко впереди себя. Я мало что могу прибавить к его выводам относительно языков Леванта.

Госпожа Лавуазье, пользуясь минутной остановкой разговора, спросила, разводит ли господин Сильвестр де Саси по-прежнему тюльпаны и как поживают его птицы. Переходя из зала в столовую по приглашению хозяйки, Саси говорил:

— Благодарю вас, сударыня, вместо тюльпанов я развожу огород, так как жить довольно трудно: крестьяне предпочитают везти овощи на парижские рынки: что касается птиц, то мой самый большой говорун, скворец, не выдержал переезда. Моя младшая сестра схоронила его в саду под деревом, но мне удалось выучить двум-трем фразам моего чижа.

Лавуазье поднял брови с выражением удивления. Саси также улыбнулся. Мадам Лавуазье снисходительно молчала, находя, что заниматься птицами серьезному ученому совершенно невозможно.

— Да, да, — сказал Саси, — язык — такой тонкий механизм и такое сложное превращение мысли в звук, что изучать его нужно всячески, а самое строение речи, воспроизводимое животными, открывает неожиданные тайны в природе звука.

Слуга доложил о приходе господина Бриссо. Лавуазье сделал несколько шагов навстречу. Бриссо поздоровался как-то растерянно и, занимая место за столом, заговорил сразу:

— Дурная встреча, дурная встреча, — сейчас встретил этого юриста Максимилиана Робеспьера.

— Почему это дурная встреча? — спросил Лавуазье.

— Вы не знаете этого человека, — ответил Бриссо. — Не нынче-завтра это будет самый опасный фанатик политики.

— Не думаю, — сказал Лавуазье, — прямо не думаю. Когда он кончал колледж, король был у них на торжествах. Робеспьер читал ему латинские стихи, сочиненные специально для этого случая. Стихи плохие, но короля он любит.

— Робеспьер никого не любит, господин Лавуазье, — ответил Бриссо. — Робеспьер любит кричать о своей бедности. Он нарочно переселился к Морису Дюпле только для того, чтобы друзья говорили о том, как бедный подмастерье приютил революционного депутата третьего сословия. Но ведь этот Дюпле ютился в бедной квартирке, чтобы скрыть свой огромный барыш. У Дюпле два дома в Париже, Дюпле — королевский мебельщик, Дюпле с Робеспьером — выгодный союз!

— Однако вы взволнованы! Что же вам сказал Робеспьер?

Бриссо улыбнулся.

— А ведь действительно, может быть, ничего. Может, действительно я напрасно себя волную. Я вышел от мадам Леклапэр в тот момент, когда полиция пришла произвести обыск в ее книжной лавке. Я только что купил новую английскую карту Антилий, узнав о ламетовских плантациях на Гаити. Я шел по улице, и перед самым Арсеналом был окликнут господином Робеспьером. Он насмешливо посмотрел на меня и сказал: «Бриссо, ты падаешь в яму и

проломишь себе череп, так как, роясь глазами в карте великой вселенной, ты загораживаешь себе дорогу по нашему маленькому революционному Парижу».

У Лавуазье задержались веки, он силился понять эту фразу, в которой был колоссальный, зловещий смысл и жуткая едкость. В это время лакей осторожно обносил с левой стороны блюдо и предложил своему хозяину крыло куропатки.

— Я, кажется, говорю неуместные вещи. Я перебил ваш разговор, господа,

— вспыхнув, заметил Бриссо.

— Маркиз Ларошфуко! — громко произнес лакей.

— Какой разговор? — сказал, входя, тот, кого называли маркизом, и, скользя по воценому полу, новый посетитель плавно подошел к руке госпожи Лавуазье.

Поднося пясть почти около браслета к тонким губам Ларошфуко, мадам Лавуазье ответила:

— Наш славный ориенталист, брат графа де Саси, рассказывал, как он обучал чижа произносить итальянские фразы.

Ларошфуко поклонился в сторону Саси, занял предложенное хозяйкой место и сказал:

— Мадам должна извинить меня. Нынче ночью моим лошадям подрезали сухожилья. Тетка со мной в ссоре. Я не мог ехать в ее карете. Я поэтому опоздал, сударыня. Что касается обучения птиц, то самое лучшее обучить попугая говорить: «Да здравствует король!» Попугая немедленно сделают нотаблем!

— Может, его лучше выучить словам присяги Учредительному собранию? — спросил Лавуазье.

Бриссо нахмурился.

— Я отказался от присяги, — сказал Саси, — и не чувствую себя вправе обучать политике кого бы то ни было, даже птиц.

— Я присягнул Конституции, — сказал Лавуазье, — я считаю революцию великим делом.

— Я тоже, — сказал Саси. — Но у нас с ней разные дороги. Я не интересуюсь делами Манежа и манежными делами, как говорят парижане, называя сплетни.

Бриссо вспыхнул: словечко это стало нарицательным; парижане-аристократы «манежами» называли систему политических интриг и грязных происков, ходивших вокруг Конституанты.

— Ведь вы прошли на выборах от второго сословия? — спросил Бриссо, обращаясь к Лавуазье.

Лавуазье подумал и ответил не сразу:

— Да. Но я люблю свободу и стремлюсь принести пользу революции.

— Я люблю свободу науки, — задумчиво говорил Саси, — но, как сказал Овидий в «Посланиях с Понта»:

*Carmina secessum scribentis et otia quaerunt:*

*Me mare, me venti, me fera jactat hiems.*

Carminibus metus omnibus abest: ego perditus ensem Haesurum jugulo jam puto jamque meo.

Haes quibque, quod facio, judex mirabitur aequus.

Scriptaque cum venia qualiacumque leget.

Da mihi Maeoniden, et tot circumspice casus.

Ingenium tantis excidet omne malis.note 7

Все замолчали.

Хозяйка пристально смотрела в окно. Из экипажа, въехавшего во двор Арсенала, вышел человек в зеленой шубе с желтым мехом и темно-зеленой треуголке. То был Оже. Едва он скрылся в подъезде и тронулась карета, как во двор въехала красивая легкая вискетка, из которой почти на ходу буквально выпрыгнул и пошел юношеской походкой знакомый, почтенный гость Парижа: господин Юнг.

В столовую он вошел вместе с Оже, предупреждая возглас лакея: «Сэр Артур Юнг с господином Винсентом Оже».

Муллат был одет с чрезвычайной тщательностью. Англичанин — в серебристо-сером костюме, изысканно, просто, важно. Бриссо и Оже поздоровались, как старые друзья. Юнг занял место рядом с Лавуазье. Разговор раздробился. Саси, перегнувшись через стол, воспользовался молчанием английского гостя и сказал тихо:

— Мне нужны ваши советы и ваши познания.

Лавуазье кивнул головой и сказал:

— За английским чаем будет легче говорить о делах.

При словах «английский чай» Юнг тонко и высокомерно улыбнулся, словно отвечая своей старой мысли о том, что «английские моды в Париже смешны так же, как всякое провинциальное подражание столице».

Закончив лабораторные работы, постепенно занимали места за столом ученики, ассистенты и друзья Лавуазье.

Скинув протравленные химикалиями камзолы и переодевшись в свои обычные одежды, один за другим входили: Гассенфрад, Гитон де Мерво, Фуркруа, друг и школьный товарищ Робеспьера, Сеген, лучший ученик Лавуазье. Революция сказывалась в том, что, вопреки строгости мадам Лавуазье, стало возможным опаздывать к обеду и нарушать чинный, строгий этикет, заведенный ею в доме.

Слышался голос Бриссо:

— Революция есть свобода для всех. Декларация возглашает всеобщее равенство. Долой «дворянство кожи».

Ларошфуко доказывал правильность своих опытов над серой. Фуркруа доказывал, что аристократ не может быть химиком. Юнг улыбался и, плохо говоря по-французски, ограничивался незначительным участием в разговоре. Сильвестр де Саси объяснял выражение «гемт эль мельхаа», приведенное Винсентом Оже и непонятное французам. Он рассказывал с красивой, увлекательной обстоятельностью ученого об африканском племени «бенилайль», в котором англичане, французы и турки наперебой покупают молодых девушек за плитки каменной соли, привозимой с Атласа. «Гемт эль мельхаа» — название живого

товара, буквально значит — «цена куска соли».

Бриссо обратился к Оже:

— Быть может, вы здесь, на свободе, объясните мне, что значит постоянное слово, которое у вас звучит как лозунг, как условный знак, как то, чем приглашает или дает разрешение ваш Туссен?

Бледное лицо Оже покрылось синеватыми тенями, он ничего не ответил. Но неумолимый француз продолжал:

— Каждый раз, когда я у вас бывал, я слышал это слово «квисквейа».

Саси, держа кусочек рыбы на серебряной вилке, на секунду задумался и сказал:

— Насколько я помню, это слово эфиопиян. Если перевести его буквально, оно значит: «Матерь всех земель и стран»...

Оже грустно и тихо произнес:

— Этим именем мы зовем наш остров. Наши отцы и деды поселились на нем невольно. Эта страна была нам мачехой, мы знаем ее историю. Некий Колумб назвал нашу Гаити, что значит «Страна гор», «Эспаньолой» — Малой Испанией. Она стала Малой Испанией в тысяча четыреста девяносто втором году. Прошло триста лет, сегодня мы зовем родною эту землю, впитавшую нашу кровь, превратившую в прах тела наших предков. Мы жили рабами, становимся свободными, мы хотим стать гражданами Новой земли и назвать ее «Матерью всех земель». С этим мы приехали сюда через океан, но здесь сердца наши наполнились тревогой.

Грубый голос Фуркруа вдруг заставил его замолчать. Друг Робеспьера, он кричал:

— Что из этого, что Симонна Эврар вручила свою жизнь Марату, что она, разделяя его невзгоды, вместе с любовью отдает ему сбережения своего отца для издания «Друга народа»? Неужели из этого можно делать какие-нибудь выводы, порочащие Марата? Смотрите, скоро рассеется клевета, и станет стыдно тем, кто ее сеял. Клеветники пожнут кровавую жатву. Не трогайте «Друга народа»! Не всегда Национальное собрание будет преследовать Марата. Настанет час...

Но тут Артур Юнг, ослабившись волчьим оскалом зубов, вынул из кармана сложенный четверо номер «Друга народа», развернул и, с улыбкой подавая Фуркруа газету, сказал:

— Ваш Марат преступный клеветник.

Фуркруа прочел и побледнел. Тем не менее передал номер Лавуазье. Марат писал:

«Вот вам корифей шарлатанов, г-н Лавуазье, сын сутяги, химик-недоучка, ученик женеvского спекулянта, откупщик налогов, пороховой комиссар, чиновник учетной кассы, королевский секретарь, академик, величайший интриган нашего времени, молодчик, получающий 40.000 ливров дохода и коего права на признательность — это: 1) Париж в тюрьме без свободной циркуляции воздуха, за стенами, стоимыми 33 миллиона французской бедноте, и 2) доставка пороха из Арсенала в Бастилию ночью с 12 на 13 июля. — Интригует, дьявольски пролезая на выборную должность по Парижу. Жаль, что он не на фонаре 6 августа. Избирателям не пришлось бы краснеть».

Лавуазье молча вернул газету и посмотрел мрачно на Юнга.

— Меня удивляет и омрачает, — сказал Юнг, — то обстоятельство, что злостный клеветник

до сих пор не пойман.

— Вот герцог де Лианкур, — продолжал он, кивая в сторону маркиза Ларошфуко и называя его вторым, более значительным титулом, которого Ларошфуко чуждался. — Вот герцог де Лианкур знает положение! Его, даже его зацепил Марат за выступление против черных рабов. Впрочем, ваша светлость, конечно, не читает таких газет. Вы, конечно, читаете только сатирические «Деяния апостолов», газету Антуана Ривароля.

По окончании обеда разговор продолжался в белой зале. Общество разбилось на группы за тремя столиками. Играли в карты. Но фараон проходил вяло, так как хозяин все время хранил печать озабоченности. Фуркруа грубовато и часто повторял слова Марата, хотя всем это становилось неприятно. Бриссо заметал, бросая слова в воздух: «Раньше Марат был моим другом и писал мне часто. Теперь я боюсь его».

Бросая карту на стол, Лавуазье произнес, обращаясь к Фуркруа:

— Марат высокомерен и зол. Было время, его приглашали в академики. Он дерзко ответил герцогу, что желает остаться

свободным исследователем. Он прислал, однако, свой трактат об огне, который я отправил назад, как вздорный, ибо он говорит о нарастании света во вселенной, а я доказал неизменность в мире количества вещества. Я назвал это законом сохранения вещества.

— Однако ты забываешь, — сказал Фуркруа, — что некий немецкий ученый оптик, господин Иоганн фон Гете, считает трактат доктора Марата о свете самым замечательным открытием, завершающим столетие.

— Не верю немцам, — сказал Лавуазье.

— Хорошо делаете, — подтвердил Юнг с другого стола.

— Нельзя всем выстригать тонзуру, — ответил Фуркруа. — Есть разные немцы. Есть герцог Брауншвейгский, есть прусский и австрийский двор, а есть некий немец, господин Жиль, которого мы вчера торжественно провозгласили в Ассамблее почетным гражданином Франции. Он написал пьесу «Робер, вождь разбойников» note 8.

— Поздравляю с большой ошибкой, — сказал Юнг, — «Робер, вождь разбойников» — это пьеса, вышедшая почти десять лет тому назад из-под пера простого немецкого фельдшера Фридриха Шиллера. Вы ошибаетесь, давая ему имя Жилия.

Фуркруа не унимался.

— Потом отметь, Лавуазье, во-первых: Жан Поль Марат никогда не был крупье Генеральной фермы. Он не мог затратить миллиона восьмисот тысяч на оборудование лаборатории. Он не мог пользоваться ничем, кроме флаконов парфюмера и черепков фарфорщика, для производства опытов. В те сладкие месяцы, что ты проводишь в имении Фрешин, за которое заплатил шестьсот тысяч ливров, доктор Марат должен прятаться в конюшнях и голубятнях, скрываясь от полиции. Ты споришь с Тюрго, доказывая, что не в сельском хозяйстве дело бюджета Франции, но ты сам разводишь на полях клевер и эспарсет, сам ты выписываешь из Англии племенных свиней. Ты с помощью господина Леду обводишь Париж стенами для собирания налогов для борьбы с крестьянином, привозившим бесплатно овощи в Париж, для борьбы с ремесленником, продающим кожаную обувь extra muros. Марат требует отмены откупов.

Лавуазье покачал головой:

— Я не подозревал в тебе маратиста, Фуркруа! Но я знаю в тебе ученого. Тебе известно, что

сто одиннадцать дней опыта с перегонкой и взвешиванием воды стоили мне пятьдесят тысяч ливров. Ты знаешь, во что обходится изготовление тончайших инструментов? Кто дал мне их без откупов?

— Тогда не осуждай Марата.

Лавуазье пожал плечами. После часового разговора гостей слуги принесли чай. Лавуазье пригласил Сильвестра де Саси в угол комнаты, отгороженный белыми ширмами. Там, поставив чашки с душистым напитком на белый мраморный стол, Саси и Лавуазье беседовали о том, как лучше переводить химические термины и древние арабские названия драгоценных веществ, упоминаемые в сказках «Тысячи и одной ночи». Саси рассказывал французскому ученому о Северо-Западной Африке, стране, до сих пор имеющей самые странные сказания и поставляющей на весь Восток колдунов, ядомешателей, так называемых «опасных магов» и прочих знахарей, наводняющих тропические страны.

Редкая память Саси помогала ему обходиться без записей. Не имея перед собой манускрипта, он наизусть переводил для Лавуазье целые страницы арабских текстов о путешествиях Синдбада, где говорится об искусстве приготовления серебра и золота, о ядах и противоядиях, о семи планетах и семи сферах, о семи днях и семи климатах, о семи цветах шелка, о семи цветах радуги, о семи цветах луча, отраженного и преломленного алмазом и удвоенного турмалином, о семи возрастах мира, о свинцовых рудах восточно-индийского острова Калаха, о «желтом мышьяке», посредством которого арабские врачи удаляли волосы, о порошке «кохо», который, по мнению Саси, был простой сурьмой, о герое сказки Апи-Зибак, имя которого обозначает тяжелый, жидкий, чрезвычайно подвижный белый блестящий металл... «Очевидно, ртуть», — говорил Саси.

После беседы Лавуазье с востоковедом Саси Ларошфуко присоединился к разговору. Облокотившись на стол и положив подбородок на большой палец, герцог Лианкур изредка вставлял свои замечания, из которых явствовало, что хоть он и занимается в лаборатории Лавуазье, но ему одинаково чужда и старая и новая химия. Он был скептичен. Смеясь, он говорил, что старинный итальянский писатель в сочинении «Божественная комедия» всех алхимиков помещает в самых глубоких подземельях ада.

Когда говорил Ларошфуко, напряженный слух Лавуазье уловил тихий голос Юнга в другом конце залы. Он повторял, ломая слова: «Le mur, murant Paris, fait Paris murmurant» note 9.

Лавуазье задумался. Он очень доверял английскому гостю; он любил в нем спокойствие и размах большого ученого-экономиста, ясность его практического ума, он пользовался его советами в сельском хозяйстве. Но повторение острот врагов Лавуазье в собственном доме Лавуазье нарушало представление хозяина об учтивости английского гостя.

«Да и не слишком ли много знает господин Юнг? — думал Лавуазье. — Не слишком ли он долго живет во Франции?»

Лавуазье привстал. Поверх полуширмы он видел, как Юнг, держа золотую табакерку, стоя разговаривал с Фуркруа.

Ларошфуко говорил тем временем:

— Я убедился, что почти все восточные лекарства ядовиты, за исключением трав, вызывающих испарину. Я верю только в пиявок и в кровопускание.

Лавуазье вздрогнул и быстро занял прежнее место.

Саси говорил:

— Я никогда ничем не болел. Я не знаю усталости, я люблю ходить пешком, и сейчас, чтобы вовремя попасть к себе в деревню за парижскими стенами, я отправлюсь пешком, не дожидаясь наступления ночи. Прощайте, дорогой господин Лавуазье. Благодарю вас за совет и указание.

По-английски, не прощаясь, Саси ушел.

За ширмой, превращавшей залу в маленькую гостиную, появился Юнг.

«Трудно сказать, кто из нас себя чувствует больше хозяином в доме», — подумал Лавуазье, глядя на улыбающееся лицо английского гостя.

— Я восхищен вашим гением, — говорил Юнг. — Такой упрощенный способ добывания селитры сразу учетверил силу и военные качества Франции.

Лавуазье молчал, выражая благодарность за комплимент только кивком головы.

Фуркруа говорил с мулатом:

— Школа французских химиков признает тридцать три элементарных вещества, сочетание и распад которых образуют все сложные тела великого мира, но само вещество не уничтожается и не возникает вновь.

— Вы слышите, — сказал Лавуазье, — то открытие, которым я один могу гордиться, приписывают

школе французских химиков. Что же будут говорить после моей смерти, если я при жизни слышу это и даже в собственном доме?

— Будем надеяться, что вы еще много лет отдадите вашей науке, — сказал Юнг и, вскинув глаза на Лавуазье, добавил: — Если вовремя переедете в Англию.

Лавуазье всплеснул руками:

— Переехать, зачем? Да разве это осуществимо? Разве можно перевезти шестнадцать лабораторий, пороховые склады, французские интересы в Лондон?

— За исключением французских интересов мы все остальное можем дать вам в Лондоне.

Юнг оживился и заговорил тоном убеждения:

— Вы, очевидно, не предугадываете всех ужасов вашей революции. Вы, депутат, прошедший от дворянства, должны понять, что дворянство кончилось.

— Я не дворянин, — сказал Лавуазье.

— Вы депутат второго сословия, и этим все сказано. Вам нужно уезжать как можно скорее. Нам, смотрящим со стороны, многое виднее. Нам многие предметы говорят больше, чем люди. Лорды Англии давно пошли иным путем. Ваше дворянство лишено жизнеспособности наших лордов.

— Не забудьте, — возразил Лавуазье, — ваш парламент обошелся Англии тоже не в малое число голов. Вспомните, что среди них упала и одна королевская голова.

Юнг улыбнулся:

— Вы счастливы, если можете ручаться за жизнь короля Франции. Перед тем как говорить с вами, я много думал; я изездил всю вашу страну, я видел лионские шелковые фабрики,



рудники Лотарингии, виноградники Дофинэ. Я видел богатые епископии и дороги Франции, где по крайней мере двести или триста тысяч нищих бродят по дорогам, людей голодных и очень страшных. Я путешествовал, знакомясь с деревенским хозяйством ваших сеньоров, всюду. Леса вашей Бретани напоминают мне рассказы нашего Флетчера о России. Там такая же глушь и дичь, и только тридцать тысяч борзых собак, зачастую рвущих на куски деревенских ребятишек в дни дворянских охот, оглашают своим лаем пустыни и ланды. Ваши феодальные дворяне ничем не отличаются от вилланов, ваши крестьяне спят на земляном полу, не меняя вороха прошлогодних листьев, служащих им постелью. Я видел на севере Бретани замок Комбур, где господин Шатобриан и его десять членов семьи живут в невероятной грязи, в заплесневелом замке над ржавым прудом. Нет процветания страны. Вы знаете, что сейчас в Париже есть русские? Эти дворяне из страны медведей пламенно приветствуют вашу революцию, но бьют плетками своих крепостных любовниц. Ваши феодалы недалеко ушли от этих титулованных русских мужиков. В России был неграмотный царь Алексей, когда в Англии сэр Даниэль Дефо напечатал «Робинзона Крузо», нынешнее любимое чтение в Париже. Когда наш актер Шекспир ставил в «Глобусе» свои знаменитые трагедии, которых публика Франции до сих пор еще не знает, дворяне Франции были еще совсем неграмотны. Судите сами, если мы сумели так прославить простого актера, то каким же почетом мы окружим величайшего химика Франции!

— Я не поеду, сударь, я не поеду, дорогой сэр! Даже если завтра я взлечу на воздух вместе с пороховым складом, — сказал Лавуазье, переходя на английский язык и приглашая к тому же английского гостя.

Лавуазье в своей наивности думал, что горячность Юнга объясняется незнанием французского языка. Юнг немедленно разубедил его в этом.

Мадам Лавуазье почувствовала по некоторым ноткам разговора, что нужна ее помощь и, быстро приблизившись к Юнгу, спросила, не хочет ли он еще чаю. Юнг встал, поблагодарил, отказался и стал собираться, торжественно прощаясь со всеми, как бы подчеркивая, что если английская манера уходить без прощания уместна в Лондоне, то он считает ее ненужной в Париже.

Проводив чопорного английского гостя почти до самой вискеты, Лавуазье снова появился в зале. Его ждал у двери Оже.

— Я хочу, чтоб господин Лавуазье подарил меня счастьем свой беседы, — сказал он, ломая слова.

— Прошу вас, — сказал Лавуазье, приглашая мулата в маленькую гостиную.

Оже заговорил не сразу. Лавуазье вдруг испугался. Он понял, что мулат приехал не даром, что в нем, в Лавуазье, нуждаются не как в случайном представителе «Общества друзей чернокожих».

— Господину Лавуазье известно, — начал Оже, словно выдавливая из себя слова, — что мы живем в доме Шельшера, нашего большого друга, который немало сделал добра для цветных людей.

Лавуазье кивнул головой. Оже с расстановкой заговорил снова:

— Вчера сестру господина Шельшера погребли на кладбище. Это была чудная девушка, наш провожатый и хранитель в этом страшном Париже. Она ухаживала за больным Туссенем. Вчера мы узнали, что она умерла не просто. К Туссену неизвестное лицо прислало аббата, желавшего приобщить Туссена как умирающего. Туссен отказался принять аббата. После его ухода сестра Шельшера обедала с нами и выпила глоток воды из чашки, стоявшей на столе больного. Через час она упала с лестницы и не встала. Ее мертвой, с посиневшими веками и

скрюченными руками, принесли в покои брата. Я вылил в этот флакон остатки воды: узнайте, что это такое?

Оже осторожно передал химику флакон с этикеткой королевского парикмахера Субирана. Лавуазье поставил флакон перед собой на белый стол и, едва сдерживая негодование, сказал:

— Я думаю, что один из нас сошел с ума. Мало ли от чего могут умереть молодые девушки. Не для того ли вы приехали с вашего острова, чтобы клеветать на парижских аббатов, проходящих к людям с самыми чистыми намерениями?

Оже встал и, поклонившись, направился к двери. Стекланный флакон с совершенно прозрачной жидкостью стоял на мраморном столике. Лавуазье отвинтил фигурную пробку и понюхал жидкость. Она была без запаха.

— Этот мулат сумасшедший, — тихо прошептал Лавуазье.

Поздно ночью, когда мадам Лавуазье улеглась, она, как счетовод, подытожила все впечатления дня, начиная от перебранки с госпожой Лефоше по поводу незаконно развешанного белья и кончая спорами с Ларошфуко о пропорциях селитры в новом порохе. Мадам спокойно засыпала в белом чепце на белоснежной постели.

Осторожно и мягко постучал в дверь Антуан Лавуазье. Эти посещения были чрезвычайно редки. Мадам Лавуазье-зажгла свечи, и по нахмуренному лицу по костюму господина Лавуазье она убедилась, что он еще не отдыхал. Антуан Лавуазье заходил по комнате большими шагами, от которых воздух заколыхался в комнате. Пламя свечей ответило на эти колыхания неверными колебаниями, и огромная тень химика, с длинной шеей, горбатым носом и буклями, размахивая руками, забегала по стенам, ломаясь в углах, вырастая до карниза потолка, прыгая по мебели, перебегая по письменному столу с небрунными бумагами.

«Опять бессонница, — подумала госпожа Лавуазье. — Прошлогодний взрыв эссонского пороха с ожогами и с вылетом Антуана в окно не прошел для него бесследно».

Трещали свечи. Комната казалась желтой. Тоска была в душе утомленного ученого. И вовсе не пороховой взрыв был причиной этой бессонницы.

— Послушай, Литтль, — сказал Лавуазье, называя жену всегда одним и тем же английским словом, — я хочу выйти из откупа, я хочу расстаться с Генеральной фермой. Ее дела меня мучат уже давно. Я не чувствую себя ни в чем виновным. Наоборот, сознание успеха науки искупает для меня многие неприятности жестокой работы генерального фермера. Если еще осуществить два научных замысла, то у меня не останется денег. Они все идут на науку. Разве я не знаю, кто мои враги? Разве контрабандист Бардэ, стрелявший в меня во время путешествия с Греттаром, не оказался детоубийцей и негодяем? А ведь доказано, что подметные письма магистратам написаны его рукою, ведь доказано, что ни я, ни Лефоше не дали ни одной крупинки пороху в Бастилию. Лефоше застрелился. Я был в тюрьме. Разве я не знаю, что ростовщик Марсо из Пьемонтуа клеймит меня теперь, ставши революционером только потому, что сидел в тюрьме по моему требованию, посаженный именно за то, что он ввел в своем городе позорный «налог с раздвоенных копыт», собирая деньги, как три века тому назад, «с евреев и свиней».

Мадам Лавуазье, приподнявшись на локте, следила за мужем глазами. Она зевнула, закрывая рот рукою, устало опустила веки и резко ответила:

— Антуан, этого не будет! Ты не бросишь откупов. Сегодня утром я читала в первый раз твой трактат «О дыхании». Почему ты раньше ничего не говорил мне об этом?

— Литтль, к чему тебе сейчас трактат «О дыхании»? — с удивлением остановился перед ней Лавуазье.

— Ты пишешь там, что мускульный труд рабочего люда вызывает усиленное дыхание. Ты рассматриваешь дыхание как горение, сжигающее человека, если не добавляется в организм топлива правильным питанием. Ты требуешь на основании этого добавочных рационов, особых, для кормления парижской бедноты. Ты грозишь магистратам, если не последуют твоему совету. Ты перечисляешь все, что едят и сколько платят за еду парижские ремесленники, но в твоём трактате ты забываешь, что учащенное дыхание на свежем воздухе дает человеку хороший сон. Я давно замечаю, что ты не спишь. Теперь ты хочешь, чтоб я не спала. Выкинь из головы размышления об откупках и ложись спать, а завтра начни регулярные прогулки.

Следя за потоком ее слов, Лавуазье улыбался все больше и больше. Засмеявшись тихим, беззвучным смехом, он поцеловал руку жены, щипцами погасил свечи и тихо вышел из комнаты, уже в тысячный раз убеждаясь, что жена его не понимает, и подчиняясь ей.

В маленькой ночной лаборатории, где производились контрольные опыты в уменьшенном размере, где иногда среди ночи, когда напряженный мозг во сне подсказывал удачное решение задачи, не решенной днем, внезапно пробуждаясь, ученый мог сразу «проверить сон», — на стеклянной доске Лавуазье увидел флакон, оставленный мулатом. Переодевшись, ученый зажег лампочку, налил в пробирку несколько капель прозрачной жидкости, принесенной Оже, взвесил на тоненьких весах, дважды проверил все и поднес пробирку к огню.

— Этот мулат сумасшедший, — повторил Лавуазье, — есть много страшных вещей в жизни, и этот страшный мир существует рядом с нами, но... этот мулат сумасшедший» Он без... Надо мгновенно закрыть лампочку.

Вода выкипала. Тончайший белый налет покрывал стенки пробирки. Серебряным шпателем Лавуазье соскоблил этот налет и приступил к анализу.

Только под утро, когда красная полоса на востоке возвестила зарю, Лавуазье записал в тетрадь анализ, раскрывающий качество белого порошка. Он давал то же самое, что прошлогодний сегеновский анализ пережога мерки горького миндаля. Это была синильная кислота. Утром, по распоряжению Лавуазье, Матье, старый слуга при лаборатории, принес котенка из-под крыши Арсенала. Лавуазье вылил в фарфоровую кювету жидкость, принесенную мулатом, и окунул в нее мордочку котенка. Котенок чихнул, облизнулся и, нелепо бросивши мордочку об пол, судорожно дернул ногами. Смерть наступила почти мгновенно.

### 3. ДНЕВНЫЕ ВИДЕНИЯ

Сильвестр де Саси шел по садам Пале-Рояля, раздумывая о вечере, проведенном у великого химика. Герцог Лианкур, предложивший в Национальном собрании освободить всех крепостных, рабов, находящихся во французских колониях, показался ему человеком легкомысленным и мало добросовестным.

«Эти странные люди торгуют чужими вещами, — думал он, — они охотно уступают то, что им не принадлежит, думая таким образом спасти остатки своего имущества. Еще недавно духовенство уступало право охоты, которым само не пользовалось, а дворянство уступает церковные десятины, которые также не находятся в его распоряжении».

В это время девушка толкнула его в локоть. Был поздний вечер, когда аллеи Пале-Рояля наполняются женщинами, ищущими легкого заработка. Саси вскинул глаза: перед ним стояла голубоглазая, очень молодая женщина усмехаясь только верхней губой, вылитая мадам Дюбари, как ее изображали современные художники салонов. Она чем-то напоминала ученому впечатления совсем молодых лет: такая же легкая и веселая улыбка голубыми глазами была у его невесты.

Антуанетта де Кардон была другом юности и первой любовью де Саси. Когда судьба выбросила его из Парижа и после полугодовых скитаний он снова встретил Антуанетту, она была по-прежнему приветлива и мила. Свадьба ожидалась через два-три месяца, молодой Саси приходил по вечерам в загородный дом Сен-Дени, Там на закате солнца они вдвоем выезжали в легкой вискетке по западной дороге, усаженной липами и каштановыми деревьями.

Однажды Саси пришел часом раньше. Уже издали он увидел: маленькая угловая калитка в садовой стене, выходящая к оврагу на лесной опушке, была открыта. Антуанетта прощалась с молодым человеком. Саси не мог догадаться, кто это. Быстро обвив его шею руками и поцеловав, Антуанетта со стуком захлопнула калитку, и когда Саси выходил на веранду и через дом прошел в сад, Антуанетта уже поднималась на ступеньки со стороны сада. Она встретила его с видом такой же беспечности, как и всегда, она, казалось, обрадовалась его раннему приходу; как всегда, встречая милое и привычное впечатление, она радовалась его повторению. Саси смотрел на это безоблачное и ясное лицо, на эту улыбку, доверчивую и милую; он сам вдруг почувствовал полную легкость и под впечатлением этой доверчивости спросил свою невесту:

— Анита, с кем это вы прощались в саду?

Она ответила неожиданно просто и легко:

— Это мой любовник. Я привыкла к нему за год вашего отсутствия.

Саси молча прошел в гостиную. В обычный срок была подана вискетка; в обычный час жених и невеста выехали на прогулку, вдогонку уходящему солнцу, как, смеясь говорил Саси. Ветер дышал прохладой; красные маки по бокам дороги качались под тихим дуновением.

Вернулись вечером, простились при свете кенкетов с таким видом, как будто прощаются до завтра. Но с того дня Саси не возвращался к Антуанетте. Другие люди прошли перед глазами. Годы залегли между этой первой иголкой, вошедшей в сердце и сломавшейся там, и теми, другими уколами, которыми щедро встречала его жизнь.

Сейчас эта встреча, эта улыбка беспечности у продажной женщины и лицо, в сумерках аллеи Пале-Рояля казавшееся почти прекрасным, — это был новый укол.

«Только потому, — подумал Саси, — что совсем не случайно природа устроила такую поимку глаз, такую западню для чувств и впечатлений, которые невольно заставляют людей останавливаться с волнением. Как все эти девушки, наполняющие вот уже месяц аллеи Пале-Рояля, стремятся подражать вековечным типам женской красоты! Одни стремятся пленить и заработать, перенимая сияющий облик рафаэлевской Мадонны; другие — присаживая себе на лицо признаки ослепительной и сверкающей страсти какой-нибудь египтянки Клеопатры; третьи сурьмят и вычерчивают брови, как женщины Востока, подражая Клотильдам и Армидам освобожденного Иерусалима. Все это путеводные звезды и маяки, обаятельные и сверкающие в веках. Тип женщин дробится, как в кривых зеркалах или как в раздробленной поверхности взволнованного озера, и превращается в тысячи осколков когда-то большого явления».

Прошла одна, прошла другая, прошла третья, поводя плечами, бросая вызывающие взгляды.

Саси становился грустным. Неуместное впечатление оказалось сильнее его. Красные маки, склоняющие головы ему навстречу на закате солнца сен-дениской дороги, — какая все это далекая и ненужная тоска, не свойственная ученому! Это всего лишь ненужная боль, которую человек не должен в себя пускать.

Саси не замечал девушек и скоро вышел из Пале-Рояля, оставив скамейки, переполненные приказчиками, писцами, адвокатскими помощниками, пришедшими на этот рынок любви для покупки дешевых продажных ласк.

Таяли парижские улицы, и первоначальные размышления Саси о событиях революционного Парижа, о плене короля и испуге дворянства, о восстании черни сменились спокойной и ровной работой научной мысли. Философ Монтескье указывает на огромное влияние естественных условий на организацию человеческого быта. Саси начал с этой мысли о том, что революция является политическим разливом, затопляющим берега истории, что настает час, когда из снесенных домов уцелевшие обязательно попадут на чужой берег, а на месте схлынувшей бушующей воды возникнет новая, чуждая прежней, жизнь. Саси думал о том влиянии, которое окажет революция на всех, кого судьба выбросит за пределы Франции. Отсюда он перешел к своим любимым мыслям. Изучая историю Аравии, он был уверен, что основным моментом, определяющим историю всего Аравийского полуострова, был разлив Иремской плотины так называемой Счастливой Аравии. Разлив этот причинил великое множество несчастий и десятки тысяч родовитых семей выбросил из Мекки на берега Персидского залива, в Сирию и Месопотамию.

«Вот исходный пункт, — думал Саси. — Эта эмиграция дала во втором столетии нашей эры таблицы новой арабской генеалогии, новых патриархов. С этого времени начинается новая письменность, новые люди, и тут уже еще более обширная мысль. Платон извещает о том, что странная молва из столетия в столетие передает одно и то же, что земли Африки за пределами Геркулесовых столбов сообщались с дальними материками, что древнейшие люди посылали караваны туда, где теперь плещется океан; там была суша, там были цветущие города, там была богатая Атлантида. Уже во времена сказочного Орфея аргонавты плавали за пределы Геркулесовых столбов и нашли там новую сушу и новую землю. Они видели высоких, стройных и красивых людей, это были остатки древней Атлантиды. Так меняется лицо земли, так исчезает старый облик вселенной. Огромные земли уходят под воду, и потоки крови наполняют десятилетия человеческой истории».

Как бы в ответ на это раздались выстрелы. Из переулка бежал молодой человек со сбитым париком, помахивая шпагой. Саси быстро отошел от опасного места.

Перестрелка шла по всему переулку, когда ученый подошел к массивным старинным зданиям аббатства Сен-Жермен де-Пре. Выстрелы раздавались все ближе и ближе. Над башней аббатства в голубом воздухе плескались белые голуби, садясь на кресты и розетки, а внизу слышались крики и раздавались пистолетные выстрелы. Саси поднял дверной молоток, оконце тяжелой калитки открылось, и небритый седой монах-привратник выглянул на улицу.

— Ах, это вы, господин Сильвестр де Саси, — произнес он, придавая своему лицу некоторое подобие улыбки.

— Брат Фома, проводите меня к отцу Томасьеру.

— Идет служба, — сказал монах, — согласитесь ли вы ждать?

И, вызвав мальчика-певчего, кивнул ученому. Саси медленно пошел по знакомым переходам, крытым галереям и крытым коридорам старинного аббатства.

В Увек Бенедикт Нурсийский основал орден. Бенедиктинцы основали это парижское аббатство. В нем работала конгрегация святого Мавра, бывшая интернациональным

архивным учреждением старинной Европы. Во исполнение устава своего основателя бенедиктинские отцы собирали отовсюду старинные грамоты и важные дипломатические документы, служившие для истории Франции. Их латинская переписка с отдаленнейшими местами в разных концах земли поражала своей суровой и строгой скромностью, ласковым тоном, а иногда грубыми и молниеносными словами, бежавшими из-под пера разъяренного монаха, нашедшего искажения старинного текста в какой-нибудь грамоте, полученной с юга Испании. Приходилось заново посылать пешком или на осле какого-нибудь доброго отца, который, совершив свое многомесячное путешествие, привозил выверенные копии греческой или латинской грамоты, служившей очередной темой рассуждению среди ученых историков и богословов в обширных рефекториях Сен-Жерменского аббатства.

Шафы из желтого ясеня, дубовые скамьи и пюпитры, на которых в порядке лежали пергаментные фолианты, окованные железом по углам с чеканенными жуками на переплете из пожелтевшей испанской свиной кожи. Драгоценнейшие фолианты, прикованные цепями к пюпитрам, изукрашены золотом, киноварью и ляпис-лазурью, это плоды бессонных ночей и многих лет труда одиноких монахов, замкнувшихся от бурного мира, нечестивых людей и греховной королевской Франции в мире серафических грез и золотых легенд, когда под звон усталых и ласковых колоколов, при свете вечернего солнца, сквозь зеленые листья платанов, перед узкими стрельчатыми окнами в решетках рука монаха тщательно вырисовывала железными чернилами буквы на размеченных строках пергамента или кисть отрешившегося от мира художника налагала краски одна другой чудесней на заглавные листы старинной хроники, изображая действующих лиц в разных позах и положениях на одной и той же картине, заменяющих действия и слова давно ушедших людей старинной Франции. Послушник отца Томасьера, вернее, как говорят сами старые монахи, молодой оруженосец духовного рыцаря, подошел к Сильвестру де Саси и приветствовал его согласно монастырскому уставу.

— Может быть, до прихода отца Томасьера я могу служить вам? Пусть ваша ученая речь направит мои смиренные стопы.

Саси попросил письма самаритян к Скалигеру и две малоизвестные арабские рукописи. На большой желтый полированный стол послушник положил просимое и почтительно предложил кресло великому ученому. Саси, вооружившись увеличительным стеклом, погрузился в глубокое кресло перед кипарисовым пюпитром, а болтливый послушник, обрадовавшись возможности на законном основании нарушить монастырские правила, ибо ради гостей прощались многие разговоры, удивлял Сильвестра де Саси беседой совсем не на монастырскую тему. Оказывается, вопреки существовавшим правилам, он за последние дни трижды выходил из ворот монастыря и с тревогой наблюдал новые события Парижа, о которых и понятия не имел до сих пор отец Томасьер. Послушник говорил ученому:

— Ни монсеньору, ни отцу Томасьеру невозможно говорить о тех ужасах, которые происходят в Париже, для них Париж остается таким, каким он был сто лет тому назад. Они по-прежнему посылают братьев в калабрийские монастыри и в Сент-Эммеран, так как уехавшие в прошлом году двое до сих пор не вернулись, а вы знаете, как трудно теперь нашему брату путешествовать и не быть перехваченным в дороге. Я вчера слышал, что граф д'Артуа и принцы, вопреки воле короля, собирают у границы войска для водворения порядка во Франции. Братьям монастыря в десятой доле неизвестны невзгоды, происходящие в Париже. Они не выходят за пределы обители, а мне, выполняющему послушание святого Бенедикта, мало ли где приходится бывать как мирянину. Простолюдины и ремесленники говорят о свободе, о равенстве и братстве. Что бы сказал про это благочестивый аббат Никез, что бы сказал преосвященный Жан Мабильон! Ведь это все слава и гордость нашего монастыря, они оба не были дворянами, это крестьянские дети, воспитанные на монастырском дворе в глухой и забытой чертозе Дофинэ, а потом прославившие имя нашего святого на весь мир своими учеными трудами. Свобода, о которой шумят на парижских площадях и в здании ипподрома, эта свобода давным-давно осуществлялась, ибо воля господня делает всякого

человека свободным в выборе своего пути, и только нечестивые кальвинисты говорят, что божественное правосудие одних еще до рождения определило к добродетели, других — на путь преступлений. А что такое равенство, когда бенедиктинская сутана прикрывает и знатных и незнатных, богачей и бедняков ризами общей бедности? Пресвятой Бенедикт Нурсийский обучал нас накоплению единых богатств — сокровищ науки, смирения и добродетели. Что такое братство, как не лучшее братство нашей обители? Ничего нового не услышал я от ваших богопротивных ораторов, да и что нового могут сообщить они тем, кого осенила благодать божественного милосердия?

Сильвестр де Саси перелистывал рукопись, изредка поглядывая на болтливую монаха. Тот говорил без умолку, дождавшись, наконец, терпеливого собеседника, который слушал не перебивая, с вежливым вниманием.

— Вот сегодня на улице Гомартен нашли старика. Он лежал мертвый около самой изгороди дома Казальса, его подняли. Он одет был в верхнее платье мещанина, при нем не было ничего, что указывало бы на его происхождение, на его имя. Он показался мне умершим от полного истощения и голода, словно раздавленным непосильной ношей. У него в желтых руках, похожих на когтистую лапу хищной птицы, застыли ручки кожаного мешка с заклепанным замком. Двое с трудом разогнули эти костлявые пальцы и вынули из рук сумку. Агент магистратов не смог ее открыть и вспорол кожу. Тогда понял, почему сумка так была тяжела, — в ней был слиток золота величиной в голову ребенка. Скажите, на что золото этому покойнику? И уверяю вас, господин Сильвестр де Саси, когда волнуется парижская чернь, она волнуется ради ничтожных житейских благ, а тут у нее на мостовой помирает от истощения человек, несущий несметные богатства.

— Однако вы рассуждаете, как светский философ, — возразил Сильвестр де Саси. — Я даже не знаю, кто является настоящим вашим наставником: господин Жан Жак Руссо или святой Бенедикт Нурсийский.

Монах осенил себя крестным знаменем:

— Что вы, что вы, господин Сильвестр де Саси, я не читал никогда никаких книг, кроме священного писания и устава ордена святого Бенедикта, но жизнь учит, а глаза наблюдают. Ведь двадцать девятого апреля, если не ошибаюсь, был случай в предместье Сент-Антуан, на фабрике господина Ревельона. Брат мой служит у него счетоводом, и он клялся, что сказал мне сущую правду. Господин Ревельон был простым печатником набоек, и только трудолюбие и усердие с божьей помощью превратили его в собственника богатой мануфактуры, кормившей четыреста рабочих. Жадность человека не имеет предела, эти люди хотели повышения заработной платы, а господин Ревельон на собрании перед выборами в Национальную ассамблею заявил, что рабочим достаточно пятнадцати су дневного заработка. Вот отсюда гнев, алчность породили бунт, гордыня породила непослушание законной власти, бунт и непослушание породили кровь. Два дня толпа громила дом Ревельона. Гвардейцы прикладами и штыками проложили дорогу сквозь толпу, и, несмотря на то, что двести человек пали под стенами этого дома, толпа алчного люда стремилась к дому богатого Ревельона. Только пушки, заряженные картечью, да фитили, зажженные канонирами, напугали бунтарей, они разбежались. Разве угодно богу такое несмирение?

— Согласитесь, однако, дорогой брат, — возразил Саси с улыбкой, — что на пятнадцать су можно только медленно умирать, а не жить, да еще с семьей. Уж если вы завели этот разговор, я должен вам сообщить, что крестьяне в окрестностях Парижа настолько повысили цену на самые простые овощи, что я сам вынужден обрабатывать свой огород. Любой крестьянин скорее повезет в Париж продукты своего хозяйства, зная, что парижанам сейчас приходится туго, чем продаст их на месте. Я вижу, что вихри вокруг Парижа залетают к вам сквозь слуховые окна, кровлю и через башенные ходы вашего аббатства. Вы в смятении,

дорогой брат.

Монах покачал головой, но в это время отец Томасьер веселым, спокойным и уверенным шагом вошел в комнату, зажимая шаплеткиnote 10 левой рукой, и приветствовал ученого. После первых приветствий Саси беседовал с отцом Томасьером на тему о последних работах конгрегации. Старик, голубоглазый, седоволосый, сухощавый и смеющийся, достал с полки белый пергаментный том и с восхищенным видом стал перелистывать, показывая ученому страницы, творения святого Бернарда, обильно окруженные золотом, киноварью, ляпис-лазурью, изумрудной краской тончайших миниатюр.

— Вот рукопись, недавно привезенная нам в подарок из Грейсфельда, — говорил отец Томасьер. — Мы готовим ее издание, продолжая заветы великого Мабильона, а потом хотим помочь нашим братьям, готовящим в королевской типографии «Издание памятников французской монархии». Это будет колоссальное собрание документов с гравюрами, сделанными в свое время Бернардом Монфоконом, да будет поступь его легка в реках, долинах рая. Орденский капитул переписал нам эту работу.

Вдруг глаза монарха загорелись безумным блеском и руки задрожали.

— Смотрите, досточтимый господин Сильвестр де Саси, вот в этом эпизоде из жизни святого Бернарда, изображенном бесхитростной рукой странного художника, вы видите демонов, окружающих сатанинский сон. Страшнее человека эти черные люди без рогов и без хвостов. Страшна судьба нашего Парижа! — Руки отца Томасьера дрожали, он говорил как в бреду. — Вчера у Собора Парижской богоматери я встретил шестнадцать чернокожих людей. Они шли, сверкая белками, говоря на эфиопском языке, перекликались, нарушая благочиние королевской столицы, они показались мне демонами, окружающими сатанинский сон, забывшими о творце.

#### 4. КЛУБ МАССИАКА

В предместье Сент-Оноре в те годы еще существовал богатый отель господина Массиака. Богач, унаследовавший от отца четырнадцать сахарных плантаций в Сан-Доминго, он за свою шестидесятипятилетнюю жизнь добился стократного увеличения своих имуществ. Ветряные мельницы, богатые кофейные плантации, сахарные заводы, целые леса низкорослой ванили, гигантские поля, засеянные хлопком, давали ему сказочные богатства; десятки тысяч черных людей работали на его плантациях в Сан-Доминго. На берегах маленьких речек дымились сахарные заводы; черные люди, задыхающиеся от раскаленного воздуха и перегретого сахарного пара, по ночам входили в свои жилища там, на границе саванны, где начинались болота Сальваса, и ночью в маленьких шалашах катались по циновкам от укусов миллиарда москитов, впивающихся в сладкую кожу. Днем, под бдительным взглядом цветнокожего надсмотрщика, хлыстом из кожи гиппопотама подгоняющего рабов, они отдавали свою кровь, свои мышцы, свои нервы двуногому москиту, богатство которого давно превзошло наследственные накопления крупнейших французских аристократов. Если в Париже господин Массиак не был допущен ко двору и в салоны принцев, то в Сан-Доминго он жил со сказочной роскошью и наряду с обыкновенными упряжками, вроде парной воланты, в которой он разъезжал для осмотра своих необозримых владений, он имел золоченые кареты, украшенные незаконно присвоенным гербом, запряженные драгоценными конями в упряжи, отяжелевшей от золотых гвоздей, подвесок и пряжек. Десятки слуг с благозвучными античными именами из числа чернокожих и цветных пленников и уроженцев Сан-Доминго, выросших с детства в роскошных дворцах Массиака десятки безмолвных и покорных рабов, которым зачастую давалось чисто французское



образование, — с надменными лицами стояли у дверей многочисленных зал во время празднеств, восполняя пышностью недостаток благородства крови и знатности рождения богача.

Если грубый феодальный сеньор Южной Франции обязан был соблюдать какие-то обычаи феодального времени в отношении к своим односельчанам и французский дворянин зачастую омужичивался сам и был такой же неграмотный, как крестьяне его родной деревни, и уже в силу этого зачастую не мог считаться беспредельным владыкой над жизнью и смертью своих вилланов, — там, в колонии, Массиак, Эснамбук, братья Ламеты вознаграждали себя за все уколы самолюбия в Париже тысячекратным чванством, разгулом кровожадного властолюбия среди безгласных колониальных рабов, которых старинный королевский «Черный кодекс» трактовал как самодвижущиеся вещи, находящиеся в полном распоряжении господина.

Дня полноты картины недостающей знатности господин Массиак ради увеселения своей дочери завел в своих палатах двух шутов из числа изуродованных, превращенных в горбунов негритянских детей. Запоздалые королевские замашки производили дикое впечатление на тех, кто посещал дом господина Массиака в Сан-Доминго.

Совершенство хозяйственной промышленной техники сочеталось в этом разгулявшемся буржуа с разнузданными манерами раннего феодала, который в первое десятилетие стремится возобновить стократный разгул фантастического злодея маршала Жилия де Реца. Так же, как этот современник Жанны д'Арк, маршал, казненный за неслыханный разврат и чернокнижие королевским судом XV столетия, так же этот некоронованный кофейный король осуществлял гнусные замыслы, делая предметом своего сладострастия издевательство над безответными представителями африканских племен, за которых никакой королевский закон не вступался на отдаленных от Франции плантациях Гаити.

Массиак был в дружбе с пятидесятилетним странным, безумным фантастом, отщепенцем парижской аристократии — человеком, при имени которого содрогались благочестивые старухи и молодые аристократки, в то время как дворянская молодежь двусмысленно улыбалась при произнесении этого имени, — маркизом де Сад. В отличие от старинного французского негодяя, вошедшего в легенды под именем Синей Бороды, маршала Жилия де Реца, который осуществлял все свои безумные затеи и ничего не писал, этот новый претендент на престол короля распутства, маркиз де Сад, все описывал в своих жутких книгах, прокаленных на огне дикой и безудержной фантазии, но ничего не осуществлял. Старик Массиак, остробородый, желтолицый, со слезящимися глазами, имел в лице маркиза де Сада лучшего советника, консультация которого вознаграждалась иногда начиненным золотом мешком, перепавшим в руки беднеющего маркиза из тяжелых, окованных медью и железом сундуков богатого плантатора.

Только что накануне состоялось бракосочетание дочери Массиака с младшим сыном Александра Ламета, заседавшего в Национальном собрании в качестве депутата третьего сословия. Ночная оргия в предместье Сент-Оноре сменилась тяжелым дневным сном. К вечеру, поднимая лиловатые отяжелевшие веки, Массиак вспомнил о том, что предстоит снова бессонная ночь, так как по очень важному делу он собрал у себя семнадцать богатейших представителей французских колоний. Массиак дернул шелковый шнур, замшевый шарик ударил в золотой барабан, висевший за дверью, и густой длительный звук, усиленный рупором, позвал к нему прислугу. Два лакея в красных ливреях внесли тяжелый двадцатисвечевой канделябр. Массиак короткими и отрывистыми фразами давал распоряжения.

...А в этот час Саси беседовал с отцом Томасьером, укрываясь от уличной перестрелки. А в этот час Оже, выйдя от Лавуазье, прибыл в семью Ретиф де ля Бречонна, чувствуя необходимость говорить с любимой девушкой. Дочь Ретифа, Франсуаза, открыла ему дверь и

сказала:

— Добро пожаловать! Расскажите, почему давно вас не было видно и почему вид у вас такой, как будто бы хоронили кого-то?

— Вы правы, — сказал Оже, — нам всем очень тяжело, и я боюсь, что преждевременно придется уехать.

Франсуаза вскинула на него глаза и ничего не сказала. Наступило молчание. Оже, чтобы нарушить неловкость, спросил:

— Что делает ваш отец? Я слышу голоса в его типографском кабинете.

— Отец, как и всегда, занят. Он же ни минуты не может остаться без дела. Сегодня кончил гравировку автопортрета. Он заканчивает книгу «Парижских ночей», записывает свои наблюдения и встречи, считает, что каждый день дорог и ни один из них не повторится. Он дружит с крайними. Он работает днем, а ночью выходит и смотрит, как живет Париж. Он изобразил себя в плаще, в широкой шляпе, а на шляпе сидит большая пучеглазая сова, с которой он любит сравнивать себя. Отец говорит: «Сова Минервы вылетает только по ночам».

— Изменились ли его отношения ко мне? — спросил Оже.

— Нет, и трудно на это надеяться, — ответила девушка. — Сейчас вы с ним говорить не сможете, у него сидят господин Фурнье и господин Фирмен Дидо, которые спорят из-за размеров типографского шрифта.

— Что же тут спорить? — спросил Оже, чтобы как-нибудь отвести разговор, приносящий боль.

— Как же, — с живостью ответила Франсуаза, — господин Фурнье в основу типографского счета положил длину королевской ступни. Ступня короля имеет двенадцать дюймов, дюйм имеет двенадцать линий, линия — двенадцать пунктов, — вот шестую часть этой линии господин Фурнье и считает необходимым способом измерения формочек для отбивки букв. Господин Дидо с ним спорит, а мой отец предлагает им определить «какое отношение имеет к королевской ступне листок газеты, именуемый „Пикардийский корреспондент“. Господин Фурнье доказывает, что при введении его шрифта легче бороться с революцией и что нет никаких оснований утверждать, будто бы „Пикардийский корреспондент“ не печатается в типографии Дидо.

Что такое «Пикардийский корреспондент»? — спросил Оже. — Почему такой спор о какой-то листовке?

В это время послышались голоса. Дидо кричал:

— Ни один из моих типографщиков не станет набирать гнусных листов газеты Бабефа «Пикардийский корреспондент»! Это порох, подложенный под фундамент всего общества, это взрыв, от которого взлетит человечество. Проповедник Бабеф требует уравнивания состояний, он требует изъятия дворянских земель без выкупа, он требует даже таких диких вещей, как передача мануфактур в руки правящего народа, а вы осмеливаетесь утверждать, что «Пикардийский корреспондент» печатается в Париже да еще в моей типографии.

— Ну, я пошутил, господин Дидо! — воскликнул Фурнье. — Я никогда серьезно не утверждал вашей симпатии к таким господам, как Марат и Бабеф, ставший другом «Друга народа». Хорошие друзья народа!

— А я чту Марата, дорогие собратья, — сказал вдруг тихим голосом Ретиф де ля Бреттон.

Обиженный Дидо быстро уходил, Фурнье тоже простился. В комнату, где сидели Оже и Франсуаза, вошел Ретиф де ля Бретонн.

— Ах, это вы, господин Оже, — сказал Ретиф, ослабившись, — парижская зима заставляет и вас побледнеть, я вижу.

Оже сверкнул глазами, услышав, эту шутку, так назойливо повторяемую парижанами в разговоре с цветными людьми.

— Вы не находите, что поздний час? — спросил Ретиф, обращаясь к Оже довольно грубо.

— Да, нахожу, — сказал Оже, встал и, не прощаясь, вышел.

На лестнице его догнала Франсуаза. Она держала платок, забрызганный слезами, и говорила:

— Не сердитесь, он всегда такой тяжелый. Разве это может иметь для вас какое-нибудь значение?

Оже остановился и сказал:

— Не сержусь, мне сейчас не до того. Если бы я не боялся рисковать вашей жизнью, я предложил бы вам уехать со мной, но теперь... — Оже задумался и повторил: — Но теперь я должен вдвойне побережь вас. Может быть, настанет другое время и мы осуществим наш замысел, а сейчас я уже не принадлежу себе.

У Франсуазы дрожали руки, язык ей не повиновался: она могла сказать только одну фразу:

— Не думайте покидать Париж, не повидавшись со мной.

Оже два раза прошел мимо освещенных окон дома Массиака. На условный стук у калитки, над которой свисали ветви каштановых деревьев, вышел маленький негр и сказал:

— Не здесь, а в предместье.

В предместье Сент-Оноре, в богатом отеле господина Массиака, сошлись семнадцать богатейших владельцев французских плантаций на Антильских островах. Тут были четыре брата Ламета, один из которых ораторствовал в Национальном собрании. Тут были внуки Эснамбука, дававшего когда-то деньги французским королям и кардиналу Ришелье, рядившего свою челядь так, как не мечтал король-солнце одевать своих миньонов и министров. Тут был вульгарный прихвостень угасающих аристократов аббат Мори, запасавшийся письмами знаменитых особ и при жизни стряпавший себе архив несуществующих подвигов и фальшивых дел. Но самое главное, тут был господин Массиак, остробородый, с сивыми волосами, слезящимися глазами, хилый, сладострастный и злой. Он кричал:

— Эти нищие на самом деле задумали обездолить нас своими глупостями в Национальном собрании! Я уверен, что бригадаж из наглых рабов — это их затея. Парижское дворянство провалилось. Версаль никуда не годится. Лафайет не знает, кого продать и кому продаться подороже. Мирабо готов продать кого угодно и за сколько угодно. Все говорят: дворяне уступают церковную десятину, которая идет не в их пользу. Духовенство уступает право охоты, которым не пользуется. Все уступают друг другу чужие вещи, лишь бы спасти свою шкуру. Господа депутаты Жиронды охотно предоставляют свободу неграм и развращают наших рабов. Пусть эта проклятая сволочь поймет, что они не получают ни соринки сахара и ни зернышка кофе, если вздумают посягнуть из Парижа на наши колониальные права.

— Вы правы, дорогой Массиак, — сказал старший Ламет, — я кровно в этом заинтересован.

Но поймите наше горе: мы подписали «Декларацию прав», а ее первые параграфы говорят, что люди рождаются свободными и равными в правах.

— Послушай, Ламет, ты дурак, — сказал Массиак. — Я расторгну брак своей дочери и твоего сына, если ты хоть раз не только повторишь, но подумаешь такие вещи... На всякий случай для таких болванов, как ты, заявляю, что я, ничего не читая вообще, на старости лет прочел дурацкую «Декларацию». Она кончается семнадцатым параграфом, который говорит: «Право собственности священно и неприкосновенно». Негры наша собственность! Понимаешь? Скажи это твоим пустобрехам из Национальной ассамблеи. Скажи этим полудворянам, разорившимся шелкоперам и голодным адвокатам, что всего бюджета Франции не хватит выкупить наших рабов. Да еще мы посмотрим, стоит ли нам разговаривать о выкупе? У нас есть вооруженные корабли. К черту Францию санкюлотов! Да здравствуют хозяева независимых колоний! Мы тоже умеем писать свои декларации. А впрочем... — Массиак взял под руку Александра Ламета и аббата Мори и, отведя их в сторону, шепотом заговорил:

— Мною приняты меры, чтоб уничтожить весь этот негритянский бригандаж вместе с семейкой Шельшера, приютившего беглых рабов в Париже под видом «законных» делегатов колоний. Я знаю этих друзей Рейналя — беглого попа, атеиста, бунтовщика. Сейчас они добиваются декрета об уравнивании в правах, а мы перестреляем их, как перепелов...

Аббат Мори заговорил:

— Вы сами виноваты в том, что колониальные негры образованнее своих хозяев. Они обучают ваших детей, вы делаете из негров няnek, они у вас преподают математику и служат инженерами на кофейных фабриках и сахарных заводах. Вместо того чтобы давать вашим детям образование, вы засыпаете их золотом, а к науке и знанию допускаете негров. Вот откуда гнев: inde irae note 11. Отсюда же вместо церковного смирения и покорности идет гордыня человеческого разума и лживые мечты о свободе. Вы обратите внимание: все враги королевской власти, все атеисты, изгнанные из Франции, нашли себе приют в колониях. Там они заложили тайные масонские ложи, там они и теперь организуют бунт среди негров. Это все мятежный дух и гордыня разума! Это адское пламя, именуемое духом свободы!

Массиак грубо оттолкнул аббата и сказал с резкостью, привычной для него, окруженного сотнями рабов, неограниченного владыки несметных богатств:

— Замолчи, поп! Ты не на кафедре. Лучше бы ты произнес свою тираду с трибуны Национального собрания, где все ваши крючкотворы, адвокаты, не имеющие и десяти тысяч ливров дохода, осмеливаются читать поучения королю. А все почему? Потому, что голодная сволочь окружила Париж, и все вы дрожите за свою шкуру. Вы распустили гвардию короля, вы белую лилию Бурбонов заменили трехцветной кокардой...

— Мы? Кто же это мы, господин Массиак? Мы? Бедные священники короля и бога? Поистине виновниками негрской делегации являются господа Бриссо, Верньо, Кондорсе, Лавуазье, а больше всего Робеспьер. Они организовали «Общество друзей черных племен», они в колониях объединили умных и образованных негров; они устроили кассу для поощрения негров-изобретателей, они дают прибежище беглым.

— Нам не страшны негры-изобретатели, — ответил Массиак мрачно. — Мы не боимся ни ума, ни образования. У меня в руках власть, деньги, плеть и пистолет. Под звуки этого оркестра я заставлю плясать и ум и талант, поселись они не только в черной, но даже в белой голове. Я не такой дурак, как ваши министры. Когда негр Дессалин закончил хлопковую машину, изобретенную им, я тотчас же отправил его на три года с лопатой чистить клоаки Сан-Доминго. Кажется, теперь он погиб. Все эти клубы мечтателей и фантастов, организованные из французских отбросов в колониях, нам не страшны. Мы подарили королю корабль «Клеопатра». На нем семнадцать пушек, три мачты, семярусный трюм, в каждый

ярус можно набить триста рабов. Правда, они не могут стать во весь рост, да это им и не нужно. Двадцать четыре дня просидеть в таком ярусе, а потом попасть на свежий воздух плантаций — не так уж страшно. Мы подарили королю этот корабль. Четыре раза в год черное дерево — королевский товар — перевозится на нем от берегов Либерии на Гваделупу, Мартинику и Гаити. Это верный доход его величества, более верный, чем королевские домены Франции. Мы можем сделать небольшие подарки тем членам Национального собрания, которые согласятся заткнуть свой глотки золотыми пробками, но клянусь святой Женевьевой, покровительницей моей честной торговли, что раньше, чем все ваши «друзья чернокожих» сумеют протащить в Национальном собрании какой-нибудь декрет о выкупе рабов, мы перестреляем их делегатов. Мы ни одного черного не оставим живым в Париже. Мы перехватим пакеты и почту, идущую морем! Ни один негр не узнает ни строчки здешнего декрета. А если стук от колес революционной машины в Париже докатится по волнам океана до берегов Гаити, мы сумеем заглушить его громом пушек со всех крепостных фортов Сан-Доминго. Это я говорю для тебя, Ламет, чтобы ты не ослабел как депутат Национального собрания. Сделай так, чтобы машина работала медленно, а прежде всего поговори с этим Винсентом Оже. Внуши ему, что он мулат и свободный, значит ему не по пути с черными, как рабами... Я сейчас...

Массиак обратился громко к другим:

— Милостивые государи, вмешался он в разговор группы колонистов, — могу ли я располагать вашим согласием в случае надобности ассигновать сотню-другую тысяч ливров на маленькое дело?

Массиак тихо и пространно приступил к намеченной теме: он изложил свой план подкупа цветнокожих и возбуждения в них враждебных чувств против черных рабов.

Разошлись под утро, молчаливые и затаенные.

В доме Шельшера после выздоровления вождя и смерти госпожи Шельшер наступили томительные и тяжелые дни. Оже, Риго, Дессалин и сам недавний больной, пациент доктора Марата, Туссен Бреда, совещались о том, какое значение имеют странные и страшные события, происходящие почти ежедневно с неграми среди белых людей революционного Парижа.

Приехав после прочтения «Декларации прав человека и гражданина» в зимний Париж 1789 года, шестьдесят делегатов с острова Гаити были полны лучших надежд; они просили об уравнении в гражданских правах цветных племен Антилий; они представили петицию Национальному собранию о праве выкупа рабов, о предоставлении им избирательных прав в национальные ассамблеи колоний, где на двадцать тысяч белых колонистов приходилось полмиллиона черных и цветных людей. В качестве первого взноса они привезли с собой в кожаных мешках шесть миллионов золотых ливров — старое испанское золото, зарытое корсарами и известное только старикам, изучившим и плодоносные равнины, и болота, и красивые холмы Страны гор — Гаити, которую в годы революции негры переименовали в

Квисквейя — что значит «Матерь земля», ибо

«отсюда должна была идти свобода всем цветным людям в мире».

Но пока эта страна была «мачехой» негров. Оже говорил об этом в Национальном собрании. Он рассказывал о том, что такое Черный кодекс. Он развернул перед депутатами Парижа и французских провинций картину нечеловеческих мук черных людей, которых ежегодно по восьмидесяти тысяч и более перебрасывают с африканских берегов во французские колонии Нового света на огромных невольничьих кораблях, которые тут же граф Мирабо окрестил

«плавучими кладбищами», кинув эту реплику с места во время речи Оже.

Факелы чадили по сторонам трибуны, отбрасывая тень мулата на стену Манежа. За окнами выла буря. Четырнадцать стенографов записывали речь. В душевной зале люди в треуголках, с палками, во фригийских колпаках серого и красного цвета слушали с затаенным дыханием о том, как в жаркой стране люди гибнут от палящего солнца во время сбора кофейных зерен, как дети приучаются с колыбели произносить первое слово «маасса» — господин, собственник черного человека.

Оже говорил:

— Сахарный тростник, кофе, хлопок и ваниль покрывают только часть острова, все остальное — это глубокие ущелья, пустынные леса, густой кустарник и горы, то, что ваш великий Руссо называл Свободой, называл Природой, в которой рождается человек. Но и эта естественная свобода людей от нас закрыта. Когда тяжелый бич плантатора проливает красные ручьи по нашей черной коже, тогда жить и дышать становится невозможно и солнце становится черным. Мы все искали бы выхода в побеге в эту природу, но ваши солдаты, ваша полиция, ваши собачьи своры устраивают облавы и на эту природу, в которой беспечно живут и растут лишь дети богатых плантаторов. Часто, часто, чтобы спасти свою жизнь, нам приходится искать убежища в глубоких пропастях, в темноте, среди камней, подвесившись на связанных лианах, весь день не прикасаясь ногами к земле, в морщинах которой слышится шуршанье ядовитых змей. По черному кодексу негры, бежавшие от истязаний, приговариваются к огненному клейму. На плече ставят «знак белой лилии», королевский герб. За второй побег негры режут поджилки и уродуют лоб, за третий — казнят...

...В колониях тирания введена в закон, — говорил Оже, — безнаказанность развратила плантатора. Негры-вещи все же имеют живые мысли, и огромные массы тупоголовых хозяев стремятся физически истребить эту мысль. Вот почему наши колонии находятся в вечном огне, вот почему негры, обучающие ваших детей, стали опасной игрушкой в руках безграмотного хозяина. Мыслящие вещи стали истреблять тупоголовых двуногих животных с плеткой и пистолетом...

Негодование и беспокойство прокатилось по рядам Национального собрания: этот мулат, этот цветной человек осмелился грозить белым гражданам Франции, представителям белого народа, богатым людям, гражданам с независимым состоянием...

— Долой дворянство белой кожи! — закричал с места депутат Робеспьер. — Пусть торжествует принцип свободы, хотя бы ценою гибели колоний!..

Но его оборвали. Ему не дали говорить. Его прервал колокольчик Бальи и шум депутатов. Бальи кричал, покрывая собой толпу:

— Ни один голос угнетенных наций не останется не услышанным...

Но его собственный голос затерялся в гуле негодующих голосов. Бриссо, Верньо и Кондорсе подошли к шатающемуся мулату, сошедшему с трибуны, и говорили:

— Успокойтесь, все будет прекрасно, мы издадим декрет, соответствующий «Декларации прав», ручаемся нашими головами.

Винсент Оже усталым взглядом посмотрел на их головы, словно решая вопрос о качестве такого залога и словно предвидя, что эти три головы упадут под ножом гильотины как головы людей, случайно вознесенных на гребне волны и сметенных девятым валом.

Франция видела перед собою ведь всего только Национальное собрание колеблющихся людей. Еще четыре года — и гигантский взлет восемнадцатого столетия уничтожит

дворянскую Францию. Конвент разгромит феодализм и сам погибнет под ударом свинцового кулака, на котором написан непреодолимый для Конвента семнадцатый параграф «Декларации»: «Право собственности священно и неприкосновенно».

В Париже сдвинулась секундная стрелка, и на часах истории прошли густые тени вековых по качеству событий.

Оже говорил:

— Друзья, вы собраны мною для того, чтобы Туссен, наш тайный вождь, которого — увы! — не хотят признать свободным ни за какое золото, чтобы Пьер Шаванн, чтобы Жан Риу, чтобы Доминик Биассу, чтобы Жорж Пуссен, Феликс Тютуайе, Жан Пьер Руссо, Бенедикт Корбейль, Франсуа Виньерон и Кларети Валлон вместе с Теодором Канглотаном, а также чтобы и ты, наш неожиданный и не очень верный союзник, Риго, знали, что, доверившись французским грамотам и «Обществу черных друзей» в Париже, мы сделали большую ошибку. Из шестидесяти нас осталось тридцать семь... Где остальные? Люди исчезают в Париже бесследно, и белые и черные. Вот уже вечер, а Дессалин еще не вернулся. Нынче утром не стало еще четверых. Вчера неизвестно где погибло двое. Ни королевские магистраты, ни господин Мирабо, ни начальник Национальной гвардии не могут найти следов наших товарищей. Что это? Роковой случай или истребление шестидесяти лучших цветнокожих, уполномоченных от племени Гаити и доверенных первому городу мира — Парижу? Я для того вас созвал... По твоему приказу, Бреда, — сказал Оже, обращаясь к Туссену.

Негры и мулаты повернулись к маленькому большеглазому человеку с грустным и спокойным лицом. Он молча кивнул Винсенту Оже, и все цветные люди наклонили головы.

— Я для того призвал вас, — повторил Оже, — чтобы...

Оже опять остановился. Тогда его прервал Туссен:

— Друзья, — произнес он так тихо, что все встали и склонились к говорящему. — Нам нечего искать во Франции. Прежде чем хорошие, но бессильные люди смогут явно сделать что-нибудь для нашей свободы, другие, могущественные и злобные, их опережают тайно. Скажу вам прямо: до наступления ночи мы будем все перебиты. Я узнал это сейчас, когда уже нельзя просить лошадей на запад. По цвету кожи нас узнали бы. Узнав, перережут нам глотки, поэтому те, кто знает восток, поедут на восток. До Гавра никто из нас не доберется. Оже и еще троим я приказал через двенадцать дней встретиться в Лондоне у нашего друга Кларксон. Где? Они знают. Остальные! Покрасьте лица, оденьтесь нищими и, не медля ни минуты, бегите, взявши пропитание на два дня, в округ Кордельеров, и там просто просите милостыню именем Лорана Басса. Вам помогут. Прощайте!

Наступила ночь. Шел снег. На набережной Елисейских полей появились двое на расстоянии выстрела один от другого. Передний тяжело дышал, а преследующий думал: «Выстрел разгонит пешеходов на всем пространстве квартала, а крик, наоборот, созовет всех даже из домов. Надо стрелять, а не резать, но в темноте я ни за что не попаду, в темноте я промахнусь». В эту минуту беглец исчез, а преследователь в ужасе развел руками.

У самого выхода из главной водосточной тумбы, загораживавшей спуск под реку, открывалась решетка, и старый негр, знающий, что чернокожему можно спрятаться только там, куда боятся влезать белые люди и черные собаки-ищейки, бросился вниз, под решетку. Илистый, гнилой всасывающий колодец под клоакой Сены был свидетелем того, как старый негр в течение семи с половиной минут стремился ухватиться за плоские скользкие стены,

усеянные мириадами мокриц и плесенью. Потом долго еще под гнилой тиной он боролся за жизнь, синевя и задыхаясь, пропуская в бешено раскрытый рот отвратительную гниль клоаки.

Человек с пистолетом так и не понял, куда скрылся негр. Его труп опознали в марте 1790 года, когда речная вода размыла клоаку. Браслет на ноге выдал негра.

Люди в масках, с пригоршнями золота, дерзко идя навстречу судьбе, предлагали таможенным чиновникам на стенах, башнях и бастионах вокруг Парижа пропустить их за город. Проницательные и острые взоры таможенных крыс смотрели на мочки ушей под шляпами замаскированных пассажиров и говорили:

— Вы слишком торопитесь, дорогой гражданин, ваше ухо вымазано черной краской.

Или:

— Вы платите больше, чем вам полагается за ваш багаж, но все-таки не столько, чтобы хватило на жизнь, если меня выгонят за то, что я вас выпустил из Парижа.

В магистратах арестованные таможеней черные люди не появлялись. Они исчезали по пути.

Уроженец Эльзаса Шельшер, имея законный паспорт, выехал на север с тяжелым чемоданом. Он ехал в Брюссель. Его провожала белокурая и смеющаяся любовница, девушка с живыми глазами, легкомысленная и вульгарная. Она скалила белые зубы, гримасничала темно-красными толстыми губами, обмахивалась веером, брызгала духами, громко говорила неприличные вещи, сверкая лицом и ярким румянцем на скулах. На нее никто не обратил внимания. Таможенный сержант, подсаживая ее в карету, ущипнул ее за икру и получил такой удар носком туфли в зубы, что отскочил со словами: «Фу, чертова девка!» В эту минуту господин Шельшер сходил со ступенек, и двое носильщиков вскидывали тяжелый, уже досмотренный и оплаченный баул, на империал кареты. Старый кучер и два форейтора, ругаясь безобразными словами, икали пьяной икотой, сплевывали и щелкали бичами.

Так по селам и деревням, останавливаясь без дороги, минуя Брюссель, доехали до Дюнкерка. Там, перед самым въездом в поле, вынули из баула полуживого Оже. Красотка Шельшер, скинув проклятый парик и снявши белила и румяна, снова превратилась в бешено танцующего негра Риго. Форейторы и кучер вдруг стали степенными строгими старыми неграми из масонской ложи аббата Рейналя.

Оже, усталый, вялый, кашляющий, говорил, обращаясь к Шельшеру:

— Дорогой друг, придет время, вы женитесь. У вас родится сын: Завещайте ему продолжить ваше большое, хорошее дело. А сейчас, пока он не родился, дайте мне что-нибудь пожрать, я издыхаю в вашем проклятом чемодане с флогистоном господина Лавуазье.

— Не ворчите, Оже, — сказал Шельшер, — одновременно с вами выехал из Парижа сэра Артур Юнг. Английский экономист, путешественник и писатель смущен тем, что во Франции благодаря лаборатории Лавуазье нашли способ быстро удвоить пороховые запасы государства. Он дважды предлагал Лавуазье переехать в Англию. Лавуазье отказался, а этот английский шпион ловко повернул дело так, что рано или поздно дураки санкюлоты казнят своего ученого, удвоившего обороноспособность Франции. Я не хочу встречаться с господином Юнгом на пристани в Кале. Вот почему мы с вами высаживаемся в Дюнкерке. Отсюда шлюп английских матросов

незаконно переправит нас через Ла-Манш. Я опасуюсь только за жизнь Туссена.

— Я хочу есть, — сказал Оже. — Но никто из нас никогда не опасался за жизнь Туссена, если



он на ногах. Если бы вы знали, чему научила жизнь этого негра за сорок шесть лет, проведенных им на земле!

Туссен Бреда пробыл в Париже еще три дня. Он увидел под конец третьих суток, что переодевания не помогают. Он знал, что по следам неизвестного негра, как звали его агенты магистратов в Париже, двинулись самые опасные шпионы из лакеев богатейших колонистов и специалистов, убивающих по найму,

— этого особого разряда людей королевской Франции, избавленных от виселицы «на случай». Они имели даже свою кличку на полицейском аргю, их звали «разведенными с вдовой», то есть приговоренными, но не повешенными ввиду согласия на «особые поручения». Из мансарды своего друга Ретиф де ля Бретонна Туссен в минуту обыска принужден был спуститься к стенам Самаритэны под самое утро. Голодный день провел в бурьяне на берегу Сены, под мостом. А когда сумерки спустились на улицы Парижа, он пошел по «Острову», имея перед глазами гигантскую главную розетку Нотр-Дам де Пари. Пистолетный выстрел из-за угла сбил с него шляпу.

— Что это? Что это? — раздалось рядом с ним, и молодой остролицый человек с длинными волосами, в маленькой форменной треуголке Бриеннской школы, звеня шпорами, загородил его собою.

— В меня или в вас? — спросил он Туссена, очень плохо говоря по-французски.

— Не знаю, — ответил Туссен. — Кто вы?

— Я корсиканский офицер. Моя фамилия Бонапарт. Я ненавижу французов, стреляющих по ночам в безоружных, как вы. Встаньте за мной!

С этими словами молодой человек вынул огромный пистолет, осмотрел полку и произнес, стискивая зубы:

— Проклятая нация! Неужели, истребив свободу на моем острове, они смогут удержать ее за собою?

— О каком «Острове» вы говорите?

— О Корсике! Конечно, не об «Острове на Сене»!

Прошло несколько секунд. Какие-то тени зашевелились у дальних домов. Молодой офицер сказал:

— Идите до собора, а я здесь постою, но перебегайте улицу не раньше, чем я выстрелю, а потом прячьтесь в Нотр-Дам.

Он просчитал до трех, и словно пушечный выстрел раздался над улицей, группа людей разбежалась. Туссен был уже далеко и через минуту взбирался по ступеням огромного недостроенного собора. Он слышал за собою шаги. Ему чудилось, что его преследуют какие-то тени. Шаги раздавались то близко над самым ухом, то далеко, словно капли, падающие на дно колодца.

Перебегая по темным лестницам, путаясь, негр поднимался все выше. В состоянии полного изнеможения, глотнув в пролете морозного воздуха, он пошел в ту сторону, откуда тянуло холодом, и, выйдя на парапет, спрятался между замерзшими звеньями балюстрады. Глубоко над ним расстилался глухой, темный, лишь кое-где мерцающий огнями Париж. Темные каменные изваяния недвижно нависли над городом. Было тихо. И вдруг рядом послышались

шаги. Человек, крадучись, шел, стремясь слиться со стеною. Он остановился в раздумье, тихо распахнул плащ, подняв пистолет, выстрелом озарил балюстраду. Уродливая химера на перилах собора, изваянная из черного камня безумцем тринадцатого столетия, не пошевелилась, и только ухо, раздробленное пулей, брызнуло каменными искрами по снегу.

Стрелявший в ужасе бросился вниз со словами:

— Эти проклятые негры превращаются в камень!

Через десять дней ветер замел следы скрывавшихся негров по зарослям морского берега, под соснами песчаных дюн Ла-Манша.

Массиак был озабочен поимкой двух бежавших слуг. В Париже наступили дни неожиданной ранней весны, и давно растаял тот снег, на котором мерзли не привычные к холоду черные ноги. Занятые французскими делами, «Друзья чернокожих» позабыли о предметах своих забот, а когда вспомнили, то оказалось, что все негры исчезли, и Кондорсе предположил, что они благополучно уехали, не дождавшись обещанного декрета. Начиналась новая борьба не на жизнь, а на смерть. Триста дворян были найдены в Бордо и были застигнуты на приготовлении к побегу. Около двухсот семей были опознаны в Марселе. Население волновалось, беднота кричала, а Национальное собрание требовало отпуска невинных. Марат на страницах своей газеты клеймил богатых буржуа, сидевших в Национальной ассамблее, а Робеспьер все чаще и чаще поднимал голос уже не столько в защиту угнетенных, сколько требовал кары для угнетателей.

Вихри взлетали высоко над головами сидевших в здании Ипподрома депутатов, и пока они брали на себя решение маленьких деталей политики собственников, в это время другие мощные стихии столкнулись на широком и просторном политическом поле битв. Национальное собрание посылало мягкие требования пощадить дворян, пытавшихся бежать за границу Франции, но местные руководители французской революции, провинции, предавали казни этих пойманных дворян, десятки и сотни ослушавшихся воли тех, кто уже без всякого права называл себя представителями народа. И в то же время, когда Национальное собрание в лице мягкосердечных депутатов поднимало голос за улучшение участи черных и цветных людей, через голову того же Национального собрания производилась разрядка другой и страшно напряженной стихии озверевшего богача, готового протянуть руку кому угодно, только бы не лишиться своих колоссальных прибылей, добываемых черным трудом черного человека. Так шпаги борющихся классов скрещивались над головами пигмеев, пытавшихся где-то внизу, в муравьиных кучах Ипподрома, остановить разыгравшуюся революционную стихию, поднятую не агитацией, не капризами отдельных людей, а борьбой тех кому уже нечего больше терять, с теми, кто хочет все больше и больше приобретать чужим трудом.

В этой борьбе шестьдесят черных и цветных людей, таявших когда-то на улицах Парижа в толпе прохожих, были забыты, о них не вспомнил никто.

Савиньена де Фромон ехала по дороге из Парижа в Сен-Дени. Шелковый ветер трепал белокурые волосы, не пудренные, спускавшиеся кольцами из-под шляпы. Эта красивая дама ехала «подышать воздухом деревни». В ее не слишком наполненной головке, как легкие птицы, порхали еще менее полные мысли. Она уже совсем не вспоминала о встрече с Адонисом. И еще меньше думали о неграх господина Бриссо, Верньо и Барнав. Заботу о неграх приняли на себя господин Массиак, он действительно был озабочен. Парижские дела его беспокоили сильно, приходилось обдумывать, как лучше поступить, не ссорясь с магистратом, но основным вопросом, тревожившим господина Массиака, был ключ к загадке другого рода — как сделать, чтобы в случае полного ослабления королевской власти, в случае крушения монархии во Франции сохранить независимым состояние и удержать

политическое равновесие в колониях. Вопросы, тревожившие парижан, не тревожили господина Массиака. Вопросы, тревожившие господина Массиака, были вне круга забот, волновавших парижские массы, — разграничение удобное, позволявшее Массиаку действовать, давать директивы, в которые никто не вмешивался, определять поведение своих агентов пригоршнями золота, не вызывая у них никаких подозрений относительно осуществления сложной рабовладельческой программы.

События развернулись так, что ранним утром в морских портах Гавра и Сен-Мало внезапно взбунтовались матросы. Толпа пьяных моряков после ночного дебоша двинулась по Прибрежным улицам, громя на своем пути все жилища, в которых обитали чернокожие рабочие, портовые грузчики, негры-матросы, негры-слуги, стаскивали людей черной кожи на камни дебаркадера, где в груде лежали три негодных якоря. Двое матросов брали за ноги свою жертву и разбивали об якорные кольца черепа чернокожим людям. Молодой офицер с королевского брига «Аврора», схватившись за стилет левою рукою, правой рукой держа перед собой пистолет, пробовал остановить передние ряды разбушевавшихся пьяных матросов. К нему подбежал капитан Симонэ, командир, и скомандовал ему убираться с дороги, молодой человек пошел в, магистратуру, он требовал взвода национальных гвардейцев или милиции; в этом ему было отказано. Молодой человек добился свидания с мэром. Градоправитель выслушал его сухо, достал клоч синей бумаги, на котором была начерчена история происшествий предыдущего дня: «Неграми изнасилована дочь боцмана, матросы возмущены неграми, матросы требуют смерти черных».

— Откуда боцман? — спросил юноша.

— Как я могу это знать? — возразил мэр. — Здесь написано боцман брига «Аврора».

Юноша побледнел.

— У нас на борту вот уже месяц нет боцмана. Старый боцман умер от желтой лихорадки, у него никогда не было детей, он не был женат. Нельзя ли восстановить порядок?

— Это свыше моих сил, — ответил мэр.

Молодой офицер ушел, недоумевая и пожимая плечами.

Серый, туманный день на взморье, леса корабельных мачт, а за ними белые валы шумящего Океана. В городе тревожные слухи о том, что у негров есть свой предводитель; взволнованная беготня на кофейной пристани, шепот в конторе сахарных складов, постоянное хлопанье дверей в кабинете главного клерка по вывозу колониальных пряностей; шум по поводу письма, полученного от граждан города Бордо, от владельцев колониальных контор Сен-Мало, которые напуганы приездом в Париж черных рабов Сен-Мало и сообщают, что самый опасный негр, страшный разбойник, бежавший с плантации испанского синьора. Бреда, собирается поднять восстание на французских кораблях. Тысячи темных слухов, сотни добровольных поисков, десятки подкупленных агентур и горсти золота волновали целый день французский приморский город.

Молодой офицер с брига «Аврора» выезжал из Гавра в Париж на свиданье с родными. Он уже успел отвлечься от мысли о странном поведении мэра, о ложном доносе несуществующего боцмана и к вечеру, отдыхая на почтовой станции, в часы перепряжки лошадей, уже не думал о погроме чернокожих. Старые истории, виденные на Антильских островах, уже не возникали перед ним как упрек в ненужной жестокости соотечественников. Он думал только о предстоявшей встрече с родными и волновался за их судьбу, имея тревожные сведения о жизни в Париже. Как вдруг и здесь его настигли гаврские впечатления.

Перед окнами маленького дома, в котором помещался содержатель гостиницы, остановились двое — высокий конвоир с мушкетонном и человек маленького роста, чернокожий, с большими

умными и грустными глазами. «Еще один пойманный негр, — подумал моряк, в то время как служанка, в ответ на просьбу негра, произнесенную чистейшим французским языком, подала ему большую кружку холодной воды. Вдруг офицер вскочил: негр мгновенно выплеснул свою кружку в лицо конвоиру и ногой выбил у него мушкетон, прежде чем служанка вошла на кухню. Еще через минуту конвоир выстрелил в воздух, стал кричать о помощи. Морской офицер не мог понять, куда мог так быстро укрыться негр. Сбежавшиеся слуги, сам трактирщик, конюхи и фореиторы дилижансов начали поиски во все стороны; они были безуспешны. В соседнем дворе, через забор, увидя мальчишку, сидящего на груде древесного угля, конвоир умоляюще выспрашивал, не пробежал ли тут чернокожий человек. Мальчишка молча указал рукою на соседнюю изгородь, за которой виднелись груши, вишневый сад, осыпанный цветами, и несколько каштановых деревьев. Солдат побежал в указанном направлении и стал бешено колотить в ворота соседнего дома. К нему присоединилось два-три человека, все с любопытством ожидали поисков этого фантастического беглеца до вечера. Поиски не увенчались успехом, но когда конвоир рассказал о том, что мальчик, сидевший на угольной куче, указал ему дорогу в соседний сад, то содержатель почтовых карет и трактирщик с удивлением покачали головами:

— Господин солдат, — сказал один из них, — этот мальчик, сидевший на угольной куче, и был беглец-негр.

Когда ночью по освещенной дороге спешащая карета, запряженная шестеркой лошадей, увозила нашего морского офицера с попутчиками на Париж, через несколько туазов, по дороге, проходившей зарослями пустынного кустарника, от нижнего кузова кареты, из-под колес, отвалилась тяжелая, словно неживая кладь. Карета пылила по дороге. Маленький негр, перемазанный углем, в изодранной одежде, стоял и грозил им кулаком вдогонку. Еще секунда, и он исчез в кустарниках. Это был Туссен Бреда.

Когда Оже прибыл на остров Гаити ночью, весь план был обдуман: решили «держать курс на восстание» цветных людей, если местные ассамблеи не примут их предложений. Он и двенадцать мулатов тайком высадились недалеко от города Капа и дали знать о себе тайным друзьям цветнокожих деревень и сел. В маленькой палатке на берегу обменяли печатные вести на грозные инструкции. Вернувшись из Франции и Англии, Оже узнал, что он потерял все человеческие права и стоит «вне закона», даже вне «черного закона».

Прошло несколько дней. Маленький лагерь снялся по получении известия о том, что все цветные племена уже знают о французских событиях. С предосторожностями ехали Оже и его двенадцать уцелевших товарищей, без дороги, по каменистой глине Большой Ривьеры, когда внезапно Шаванн заметил двух драгунов, разогнавших коней в галоп и мчавшихся по верхнему берегу. В мгновение ока драгуны были перехвачены. Оже встретил их ласково, спросил, куда едут, отобрал у них сумки с документами и, делая вид, что он с товарищами располагается на давно задуманном привале, стал читать одну за другой перехваченные депеши.

Все стало ужасающе просто и ясно. Парижские друзья успели на несколько дней, проведенных Оже с товарищами в Лондоне, опередить их приезд. Это могло спасти Оже, но враги оказались предусмотрительнее, не теряя дней за истекший месяц. Осторожный мулат не поддавался испугу, его поразили строчки последней депеши губернатора колонии, указывавшие на то, что «движение среди сотен тысяч рабов приняло размеры угрожающего свойства».

Оже ликовал. В депешах ясно говорилось, что «четырнадцать тысяч обученной негрской кавалерии, две батареи, восемь мортир и четыре береговых фрегата под черным флагом уже выступили против законного правительства в Сан-Доминго, но силы оружия белых превосходны».

«Что это? — думал Оже. — Кто это сделал?»

И вдруг, как молния, возникла мысль: «Только один человек, только он мог так пойти навстречу жизни, так бешено двинуть события вперед. Это старый Туссен!»

Оже скомкал депеши, надел мундир капитана гвардейской артиллерии, треуголку и шпагу, вышел к драгунам, сидевшим у костра с кусками рыбы и стаканами тянучего, как масло, душистого капского рома. Драгуны в испуге вскинули руки к треуголкам и стояли перед бледным мулатом.

— Вот что, друзья, во Франции делаются великие дела. Вы их не знаете. Их знаю я, прибывший из Парижа. Вы французы?

— Нет, капитан, мы оба мулаты.

— Известно ли вам содержание военных документов, которые вы везете?

— Нет, маасса, — ответил один драгун, отдавая честь.

Оже, нахмурившись, взял его за руку и резким движением опустил ее вниз.

— Так вот, — продолжал Оже, — я вез мир в ваши семьи, покой в эти дома, вашим женам я вез досуг по вечерам, вашим детям спокойствие в колыбели. Я хотел мира среди цветных людей, чтобы детская колыбель качалась спокойно под песни негритянки, чтобы мулат, вернувшись домой, мог тихо сидеть с друзьями и играть в кости. Я всем хотел привезти мир и счастье. А смотрите, что пишет комендант Капа, что пишет начальник кантона, Лимонад, смотрите, что пишут ваши чиновники из полиции Сан-Доминго, из форта Акюль, из кантона Мармелад. Смотрите, что пишут ваши кофейные короли и хлопковые принцы, они говорят, что «Оже и его товарищи, люди из породы дьяволов, ядовитые гады человеческого общества, подлежат смерти», что «всякий обязан их убивать и за это получит деньги».

Оба драгуна смотрели на Оже с ужасом. На лице одного было написано: «Если начальство так говорит, то значит верно», а другой, не понимая, таращил глаза и делал вид, что все понимает.

— Вот что, друзья, — сказал Оже, — вот вам пакет, вы можете ехать, вручите его губернатору Блашланду. Это легче, нежели ваши сумки. Вы сыты? Вот вам деньги на дорогу. Говорите всем: «Оже не будет пойман! Оже везет мир и свободу!» На коней — и марш!

Драгуны встали, трудно было понять, что отразилось на их лицах. Радость оттого, что отделались дешево, или недоумение по поводу того, что попали в полосу страшных вихрей. Ведь матрос без раздумья принимает штормы и бури, но с ужасом относится «к спору капитана с рыжим боцманом, если это случилось в понедельник». Драгуны думали именно о таком споре, но не боялись того, что разражалась буря.

Ночью, во время движения на Сан-Доминго, маленький караван Оже был предупрежден добровольцами из «черного племени». Люди вышли из оврага, произнесли в воздухе слово «Квисквейа». Оже сошел с мула и, хмурясь, подносил факел к каждому из пришедших. Друзья предупреждали. Там, на высоких местах Страны гор, свезены пушки и ружья. Четыре неуловимых фрегата с артиллерией и черными матросами кружат вокруг Страны гор и ловят, как старые конквистадоры, испанские и английские корабли с оружием. Но внизу творятся нехорошие вещи: «расставлены сети для ловли красной рыбы», и Винсенту лучше дня на три скрыться в испанской части острова.

— А кто вверху? — спросил Оже.

— Вожатый, но его имя неизвестно. Удались, товарищ, пока мы тебя не позовем.

Оже и Шаванн совещались. Он или не он? Знает ли он, что мы высадились, а если не знает, как его известить?

И, круто свернув на юг, Оже и его двенадцать товарищей раскинули палатки около испанского города Гинча, за пределами французских владений, предполагая через два утра двинуться по тайным тропинкам на горы Гаити.

Брезжил рассвет. Золоченые кареты, запряженные белыми конями, веером стояли у палатки Оже. Он вышел умыться и был поражен этим зрелищем: губернатор Сен-Рафаэль-Франциск Ньюнец приглашал их к себе в город. Он писал тысячу любезных вещей, он предупреждал Оже, Шаванна и его друзей о том, что «не нужно верить французам, что Испания даст им приют». Выхода не было. Все сели в кареты. Сорок испанских всадников охраняли путь.

Но испанские кони привезли тринадцать негров и мулатов не в испанский город, а на французскую площадь Сан-Доминго. Шаванн и Оже дорогой поняли предательство. Они убили шесть кучеров, две лошади были заколоты. Но сами они, с перебитыми челюстями, связанные друг с другом, в жаркий полдень были доставлены на горячую площадь перед собором. И женщины, услышав о прибывших, перестали играть пьески Рамо и Люлли на клавесинах, они ждали зрелищ у изгороди французской церкви, вертя ручки цветных омбрелок. Оже, перетянутый тяжелым кокосовым канатом, сломавшим ему левую руку, был вытолкнут из кареты. Солнце казалось ему оловянным, и туман застилал глаза. С губ его медленно сползала кровавая пена, когда барабанный бой, тысячи криков встретили пышные кареты перед остановкой у эшафота. Огромные колеса, вращаемые рукой палача, и тринадцать ножей, острых, как бритва, торчавших навстречу движению колес, показывали, что ждало этих освободителей цветных племен.

Почти без памяти Оже и Шаванн вместе с одиннадцатью парижскими делегатами были привязаны к этим колесам. Полицейский офицер читал перечень «убийств и грабежей тринадцати цветнокожих». Тринадцать палачей завертели круги, тринадцать мальчиков-негров зажали втулки ножей, и куски живого человеческого мяса полетели в воздух без единого стога и крика умирающих.

«Это все верно, здесь нет ни слова неправды, равно как нет ни слова неправды в том, что площадь отозвалась безумным воплем. В этот день негры получили По кувшину рисовой водки и обещание привлекательных и красивых зрелищ, если придут на площадь. Но дикие и безумные вопли испугали даже колониальных жандармов в синих мундирах. Лошади шарахнулись на ступени собора. Стоны и грозные крики ужаснули жен и дочерей колонистов, не ожидавших, что это зрелище будет принято как вызов урагана».

Прошел день, прошла неделя, и откуда-то с гор появились листовки с рассказами о казни за подписью «Туссен Лувертюр» — «Туссен-Откровение» Это был Туссен Бреда, принявший вторую фамилию к первому прозвищу. Он писал:

«Оже убит, он погиб мученической смертью в борьбе за свободу. Клевета не позорит его имени, но имя его навеки покрыло позором имена мучителей. Здесь нет ни одного слова неправды».

В ночь на 24 августа, когда в природе гремела гроза, из густых лесов, покрывавших местность, именуемую Красный холм, как пчелы в часы роения, как дым из трещин кратера, вышли, скатились по горным склонам десятки тысяч людей. По горам горели костры. В трубы, свернутые из древесной коры, кричали громовые голоса, перекатывавшиеся по долинам рек:

«Бог белых повелевает им совершать безумные преступления, но мы хотим мстить, низвергайте бога белых, проливающего наши слезы. Есть лишь один бог — бог свободы,

горящей в наших сердцах».

Как некогда Геркуланум и Помпея погибли под лавой Везувия, так, начиная с той ночи, погибали дворцы, дома, кофейные фабрики и сахарные заводы, почтовые станции и притоны белых рабовладельцев. Все было сметено по пути ста тысяч разъяренных черных людей, которые жгли, ломали и вешали все на своем пути. Они предлагали сдаться взбесившемуся врагу, а на отказ отвечали огнем, кинжалом и свинцом. Цветные войска присоединились к ним, в огне и дыму пожаров толпы белых женщин бегали по берегам и решались на безумные жертвы. Просили «маленького места» в лодке и платили «большими состояниями», лишь бы доплыть до Ямайки или Гваделупы.

Но когда, дождавшись поражения французов, вмешались испанцы и англичане, когда под натиском этих соединенных войск восставшие внезапно растаяли и за ними в горы ушли двенадцать человек в масках, одетые в красные одежды с ног до головы, в руках у белых остался лишь один пленник

— старый негрский колдун, полубезумный старик, по прозвищу Букман. Настоящая его фамилия не установлена. Кто он, этот

книжный человек? Никто не знает. Ему приписали крики и рупоры по берегам о ниспровержении бога белых. Его сделали предводителем этой страшной экспедиции, возникшей «ниоткуда». Его казнили. Француз очевидец писал в одной из редчайших печатных реляций того времени: «Букман был загнан в окрестности Капа и убит. Его голова на длинной пике была выставлена на Оружейной площади Капа с устрашающей надписью: „Голова Букмана, вождя мятежников“.

Никогда мертвая голова не сохраняла столько выразительности: глаза были открыты и сохраняли весь огонь этой варварской души. Казалось, Букман глазами дает сигнал к началу кровопролития».

## 5. КОНСТИТУАНТА

Плохие граждане Национального собрания поделили избирателей на активных и пассивных. Богачи — активные — управляют миллионами бедняков, лишенных избирательных прав. И вы, презренные жрецы, вы, бесчестные хитрюги, изворотливые бонзы, разве вам не ясно, что по вашим законам пришлось бы лишить избирательных прав вашего бога? Вашего Иисуса, из которого вы состряпали божество, вы лишаете избирательных прав, ибо он все-таки был пролетариатом. Камилл Демулен, «Памфлеты».

Ретиф де Бретонн не без ужаса узнал о том, что беседовавший с ним во время ночных встреч на «Острове» негр философ Бреда был одним из членов делегации Сан-Доминго. Ретиф беспокоился, он всячески замалчивал это событие своей жизни: никто не похвалил бы его за предоставление ночлега негру философу. Он описывал Франсуазе последние события «Парижских ночей»:

«Настало, наконец, ужасное время, которое подготовило событие 21 января 1793 года! В столице царил полное спокойствие, установленное Лафайетом, который вместо всяких казней прибегал в эту минуту только к инертности. В девять часов вечера я был в кафе Манури. Якобинец, которого с тех пор мы прозвали маратистом, появился в десять с половиною часов, мрачный, задумчивый. Он потребовал лимонаду и принялся

ораторствовать против Лафайета с жаром, который совершенно не охлаждался его напитком. Я сказал Фабру, тоже якобинцу, но кроткому:

— Сегодня что-то неладно, наш «неистовый» сердится...

— Нет, я так же, как и он, пришел от якобинцев. Все спокойно!

Что-то мне говорило, что это не так. Я вышел из кафе, направился в сторону Тюильри и, дойдя до барачков дворцовых гренадеров, остановился. Я слышал глухое движение: я видел людей, перебегавших поодиночке, но держась недалеко друг от друга. Я ощущал внутри себя мятежное волнение: казалось, тревога тех, что бежали, воспаляла и меня. Физическое в человеке порою разве не может заменить моральное? Пока меня волновало множество смутных мыслей, я услышал какой-то шум за большим офицерским барачком. Я потихоньку пошел посмотреть что там, и увидел человека в одежде швейцарского гренадера. Я испугался, ибо, кроме того, что «эти люди не внемлют голосу рассудка», согласно поговорке, он мог быть еще и пьян. Я отошел несколько шагов, чтобы притаиться за другим барачком. Я ждал там около четверти часа. Это, без сомнения, заставило меня пропустить более важное событие. Я увидел, наконец, как швейцарец выходил из барака, где была сложена солома, вместе с женщиной, высокой и хорошо сложенной, с масочкой на лице.

— Стой здесь, — сказал он ей жестко, но очень тихо, — до тех пор, пока я не буду очень далеко... и будь осторожна.

Он направился к «Новой решетке». Я не пошел за ним. Меня удержала надежда заговорить с женщиной. В самом деле, как только человек прошел в калитку, я приблизился к ней.

— Сударыня, — сказал я ей, — я все видел. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

— Да, вы кажетесь мне честным. Дайте мне руку и возьмите сверток, который мой слуга уронил, получив удар саблей от швейцарца, только что покинувшего меня.

— Не причинил ли он вам насилия?

— Я не скрою от вас того, что вы видели; у него в руках был штык, направленный в мою грудь. Я уступила... Пойдемте!

Она заставила меня выйти в ту же калитку, в которую убежал швейцарец. Мы были посреди площади Карусель, когда дорогу нам перерезала огромная карета, ехавшая шагом. Слуга дамы оказался там. Он подошел к нам и взял у меня сверток. Дама поблагодарила меня, прося меня удалиться и уверяя меня, что иначе я сам подвергаюсь опасности. Я последовал ее совету. Минуту спустя я оглянулся, чтобы посмотреть на нее. Она исчезла. Я уверен, что она села в большую карету, так как не видел ничего, что могло бы ее скрыть. Кто она? Кому принадлежит карета? Каждое лишнее слово могло быть большою ошибкой; не следует произносить его. Я видел только, что она не снимала полумаски с лица. Я пошел прямо домой, сильно раздосадованный тем, что не уговорил ее приподнять полумаску. Шум, который я услышал на мосту Сен-Мишель, заставил меня вернуться и пойти по улице Жилль-Лекер, которая показалась мне вполне спокойной. На углу улицы Лирондель на пороге стояла женщина, хозяйка притона. Она меня окликнула. Я спросил, что она делает так поздно на улице, по которой никто не ходит.

— Откуда ты идешь? — спросила она.

— Из Тюильри, от площади Карусель.

— Разве ты к

этому причастен?



— К чему?

— О, теперь ты можешь сказать

об этом, — это должно быть уже сделано.

— Я проводил одну даму...

— Ну, значит, ты к этому причастен!.. Я дожидаюсь тут одного швейцарца, который тоже участвует в этом. Чтобы не возвращаться в казарму, он должен прийти ночевать сюда. Он не знает хорошенько, где я живу, ему известна только улица. А в такой поздний час ему не у кого будет спросить...

В это время со стороны набережной послышались шаги... Я тотчас расстался с женщиной и пошел по улице Лирондель, но спрятался в закоулке, который образует старая «Рисовальная школа», опасаясь только встречи с мулатом Оже, вырвавшимся здесь как призрак, внезапно. Кто-то шел. Да, то был швейцарец, тот самый, которого я видел выходящим из-за барака. Он поднялся к женщине, и я быстро вернулся к двери. Они говорили громко. Женщина проводила швейцарца и вернулась ко мне.

— Он наверху, в комнате, с девицей; но, может быть, ты сам в таком же затруднении, как и он?.. Если хочешь, я помещу тебя у себя.

Я согласился. Она удостоила отвести мне постель в своей комнате, но к счастью, то была не ее постель. Мы улеглись молча, и я заснул крепким сном. Около четырех или пяти часов утра я был разбужен шумом, который производил швейцарец вставая, ибо его комнатка была отделена от нашей комнаты лишь тонкою перегородкой. Он принялся беседовать с хозяйкой:

— Мой нэ попробоваль твоя девица ни крошка, мой хорошо поушиналь другой девица вшера вешером: она биль много лутше!

— Удалось ли все это выполнить?

— Што ти думаешь сказать?.. Ешли ты снаешь то, што кажешься знать, мой отрвшет твой голова! Не снаешь?

— Нет! Нет! — отвечала хозяйка испуганно.

— Твой хорошо стелает, ешли все это забыль!

Он почти тотчас ушел, а я вернулся домой, ничего не зная еще о совершившихся событиях. Я чувствовал только, что произошло что-то очень важное».

Франсуаза слушала чтение отца и неодобрительно качала головой. Старик сам чувствовал себя неладно. Посматривая на дочь, он продолжал:

«Первая, кто подняла тревогу, была та самая кухарка из дворца, которая все дворцовые впечатления сообщает в секцию якобинцам. В шесть часов, в то время как я выходил от хозяйки притона, она отправилась в свою секцию и сделала следующее заявление:

«В одиннадцать часов меня тихонько заперли в моей комнате, в двери которой я по забывчивости оставила ключ снаружи. Затем в течение полутора часов я слышала, что много ходили взад и вперед. Моя дверь внезапно оказалась отпертой, но я так и не слышала, как ее отпирали. Я заметила это, только когда снова попыталась выйти. Я тотчас же оделась и высунула голову за дверь. Я спросила у первого часового, не случилось ли чего. Он ничего не знал, но, спустившись в галерею, я заметила волнение; я даже слышала, как кто-то сказал вполголоса:

— Говорят, что король уехал.

— Куда же он мог уехать?

— Не иначе, как в Сен-Клу!

Узнав многое из этих немногих слов, я поняла, зачем меня запирали. Я видела, что план побега был хорошо обдуман. Я обращаю ваше внимание на время побега, которое должно быть между полночью и часом утра, если судить по тому движению, которое я слышала. Выйти можно было только дворами, выходящими к проходу из Тюильри на улицу Эшель, меж тем как другие кареты стремились быть задержаны на площади Карусель, чтобы отвлечь внимание.»

Эта женщина предполагала правильно...»

Ретиф продолжал дрожащим голосом:

— Ты знаешь, Франсуаза, я сел за работу по возвращении домой. Я узнал о событии только при моем первом выходе, в полдень. Я не узнал бы даже о нем раньше вечера, но услышал необыкновенную болтовню прачек на нашей улице, и несколько слов ясно долетели до моего слуха:

«Король бежал сегодня ночью с дофином, с королевой, с Елизаветой, дочерью».

«Тут я понял, что случилось большое событие. Я оделся и вышел: несчастье подтвердилось. Я встретил в конце Нового моста и Валле (место продажи птицы на набережной Огюстен) астронома Лаланда, бледного, расстроенного. Из этого я заключил, что он не был аристократ. Все были поражены ужасом. Я отправился в Тюильри, в Пале-Рояль. Вернулся по улице Сент-Оноре. Я видел, как повсюду сбивали королевские гербы, вплоть до вывесок нотариусов. Таким образом, помни, Франсуаза: действительно королевская монархия уничтожена во Франции в один день. Три дня волнений и тревоги! Меж тем вечером 22 июня в Париже узнали об аресте в Варенне (Варенн-в-Аргонн, Мез) Людовика и его семьи. Передавали, что начальник станции Сен-Мену сказал фореитору:

— Стой, или я буду стрелять в карету!

Людовик сказал:

— Если так, то остановите.

Ему отвели комнату в трактире.

То была его первая тюрьма».

«Одна мысль занимала все умы 21, 22, 23, 24 (июня 1791). В этот день Людовик должен был вернуться в Париж; но что это было за возвращение! Два комиссара Конституанты, Барнав и Петион, были посланы за ним в Варенн и везли его обратно. Париж ждал его с вечера 23 июня, и я вместе с другими отправился в Тюильри. Там мы узнали, что он не придет, и каждый пошел обратно. Погруженный в раздумье, я направился в сторону Елисейских полей, не замечая, что отдаляюсь. Я миновал место, где находился столь недолговечный Колизей (здание для празднеств и спектаклей, вблизи улицы Пентьевр и Елисейских полей), мимолетное создание последнего и ничтожнейшего из Фелипо, несмотря на все зло, которое он сделал! Мне вспомнились слова псалма: „Transivi et non erat“ note 12. Дальше я миновал то место, где был реквизованный сад маркизы Помпадур. «Увы, сколько блестящих существовании погубило навек! — воскликнул я. — И многие другие пройдут так же

бесследно». Затем я прошел до решетки Шайльо и, перенесясь в прошлое, припомнил, как восхитительно я пировал там однажды с моим приятелем Бударом и с тремя актрисами... Я вспомнил один еще более очаровательный обед с другом моим Рено и с красавицей Дешан, героиней предпоследней новеллы моего XXII тома «Современниц»... Я отдался воспоминаниям о Зефире, этой жемчужине чувствительности, и о Виргинии. Но тут я заметил, что я заблудился. Я повернул назад. Пробыло одиннадцать часов. Я пошел вдоль сада, так как здесь было безлюдно. Оставив за собою улицу Мариньи, я умерил шаг. Мужчина и женщина сидели в саду, на внутренних перилах рва, отделявшего их от меня. Я двигался бесшумно, и высота изгороди скрывала меня от их взглядов.

— Вот жестокая революция, — говорил мужчина, — и не видно ей конца! Уехать за границу — значит оставить поле врагам. А между тем, если я не уеду, я буду обеспечен. Мне уже прислали прялку. Я ответил, что я здесь необходим. Я рассчитывал ехать завтра — но вот теперь везут обратно короля! Кто знает, что будет дальше? И к тому же как выехать?

— Необходимо было эмигрировать, сударь, — отвечала дама, — о лежащем на вас долге не рассуждают. Что делаете вы здесь, вблизи слабого короля, являющегося вам большим врагом, нежели демократы? Я надеюсь наконец, что он погибнет, раз его схватили. Понимаете ли, сударь, сколь это было бы выгодно для нас и для всех честных людей, если бы голова слабого Людовика упала? Видите вы, как поднялась бы вся Европа, как объединились бы все короли! Вы увидели бы и наемных солдат, которые служили бы нашему мщению, как собаки, которых выпускают на других собак. У нас нет иной надежды на спасение, кроме смерти Людовика шестнадцатого. Пока он жив, пока он сохраняет хоть видимость власти, свободы, хорошего обращения, — мы погибли, и державы будут действовать слабо.

— Ах, сударыня, как вы плохо их знаете! Я знаю их лучше вас, эти державы, от которых вы ждете помощи и восстановления в ваших правах! Они втайне радуются... печальному положению могущественной страны, которой они прежде завидовали; они выжидают благоприятного момента, чтобы наброситься на нас и уничтожить нас всех — и дворян и разночинцев. Перестаньте обольщаться, сударыня. Наше положение ужасно. И если бы я был склонен повиноваться чувству ненависти более, чем рассудку, то я не преминул бы тотчас же встать в ряды революционеров.

Тут дама встала и поспешно удалилась. Мужчина стал звать ее. Я расслышал только слова: «Нет! нет! я никогда больше не захочу вас видеть».

Он пошел за нею. Я ему крикнул:

— По какой бы то ни было причине, но делайтесь патриотом!

Я поспешно удалился. Домой я пришел в час ночи, не встретив ни одного патруля...»

— Это записано хорошо, — сказала Франсуаза, обязанная всегда отзываться на чтение отца. Но что было дальше? У вас, отец, верный глаз и чуткий слух, а я запуталась в баснях...

«На следующий день все было в движении. Молодые люди, мужчины не старше сорока лет были под ружьем. Беглеца ждали только к вечеру. Я присутствовал при въезде Людовика, на которого я смотрю с этой минуты уже как на лишнего престолонаследника. Национальная гвардия стояла двойною изгородью от бульваров до замка Тюильри. Глубокое молчание царило, прерываемое изредка каким-нибудь заглушенным ругательством. Он въехал, предваряемый тысячью ложных слухов; его кучеров принимали за закованных в цепи вельмож, хотя они и не были закованы. Людовик снова дома, опозоренный ложностью своего шага. Однако он не был за него наказан даже естественным ходом вещей. Учредительное собрание, верное своим принципам, декретировало, что Франция

— монархия, извинило короля и думало расположить его к себе, оставив ему весь тот почет, который еще могло ему оставить. С этой минуты Ламеты и Барнавы изменили свои взгляды. Мирабо, великого Мирабо уже нет. Ты знаешь, что он умер в апреле. Что сделал бы он в эту минуту? По тем сведениям, которые у нас были о нем с тех пор, можно предположить, что он всею силою содействовал бы восстановлению монархии, что он заставил бы войти в свои планы иностранные державы, что у нас не было бы войны, — но во что бы мы превратились? Это нетрудно вообразить, зная, — а это знают все, — деспотический и жестокий до варварства нрав великого Мирабо. В наши дни он сделался бы новым кардиналом Ришелье, а Людовик XV, подобно Людовику XIII, был бы только первым рабом. Ламеты, Барнавы и кое-кто еще получили бы назначения сообразно изменившимся обстоятельствам: Лафайет был бы генералиссимусом или, быть может, коннетаблем; но Мирабо был бы первым министром. Принц Орлеанский потерял бы все, во всех отношениях; Мирабо не стал бы слишком церемониться в выборе средств, чтобы отделаться от него. Я знал частную жизнь Мирабо, пока он был жив, благодаря одному из его секретарей, человеку достойному, с которым он обращался, как с каторжником. Повидав въезд Людовика, я вернулся в предместье Сент-Оноре через площадь с конным извоянием...»

— Вам не кажется, дорогой отец, — говорила Франсуаза, — что вы не можете никак определить себя и свое положение в этом странном мире? Мне кажется, что ваш рассказ вас самого очень тревожит: то вы даете прибежище врагам короля, то оказываете содействие королевскому побегу. Вы не бережете свой возраст, а мне не хотелось бы осиротеть.

Ретиф не успел ответить на слова дочери, — пришел господин Бриссо, принося извинение за посещение в столь поздний час. Он был очень бледен и внимательно посмотрел на Франсуазу подслеповатыми глазами. В наступившем молчании Франсуаза по-своему истолковала это взгляд; чтобы не быть лишней в беседе, она вышла из комнаты, но, переступая порог, не удержавшись, оглянулась. Бриссо внимательно провожал ее взглядом. Девушка встревожилась. Она села за вышивание в соседней комнате. И вдруг ночной ветер, вносящий какие-то слова, раздававшиеся в комнате отца, в раскрытое окно, заставил ее выронить шитье из рук. В состоянии оцепенения и ужаса она ждала продолжения разговора. Снова шепот Бриссо:

— Во имя законов человечности и справедливости я должен вскрыть покровы этой страшной тайны. Вы видели его у себя, вы его знаете, разве он и его друзья производили впечатление мятежников и грабителей? Я собираюсь выступить на защиту памяти Оже и его двенадцати товарищей. Франция не может спокойно отнестись к гибели невинных людей, все преступление которых состоит в том, что они были цветнокожими.

Ретиф кряхтел, собирался говорить, но в наступившем молчании только давился кашлем. Франсуаза поспешно встала. Она вернулась в комнату отца и, обращаясь к депутату, твердым, спокойным по внешности голосом сказала:

— Я могу дать сведения. Оже был моим женихом. Все его преступление передо мною состоит в том, что, уезжая с благородной и прекрасной целью освободить людей от рабства, он усомнился в возможности взять меня с собой. Я жалею, что не могла быть подругой его жизни и смерти.

Дальнейших слов она не могла произнести. Она вбежала по узкой темной лестнице в мансарду и, не зажигая огня, бросилась на старое, пыльное кресло, не удерживая охватившего ее горя. Бриссо и Ретиф говорили недолго. Ретиф остался неудовлетворенным этим разговором, Бриссо тоже.

Адвокат большими шагами ходил по Парижу, всюду разыскивая следы пребывания негров. Странные противоречия получаемых сведений поражали его. Прилагая все усилия юридического анализа к событиям, о которых он слышал, Бриссо твердо и уверенно

становился на тропинку, которая, казалось, вот-вот приведет к тому месту, с которого открывается тайна. Однако тропинка исчезала, как река, внезапно кончающаяся, никуда не впадая, в песках, в безводной пустыне. Снова, чтобы не прийти в отчаяние, нужно было собрать все свое мужество для возобновления пути.

В этот день над Францией поднималась заря новых пожаров и кровавых событий: главное из них — бегство короля в Варенн под влиянием происшествий, начиная с октября 1790 года, когда Конституция, входившая в силу, начинала мешать монархии, организовывались департаменты, окружные собрания, трибуналы, закрывались монастыри и капитулы, наступали часы, последние часы перед продажей национального имущества. Ослабевало влияние генерала Лафайета, в Париже организовались 48 секций. То были новые ячейки революции, там раздаются крики против королевских министров. Короля и министров обвиняют в неспособности управления, в потворстве аристократам. Людовик XVI шлет в Германию генерал-лейтенанта Ожара, чтобы посоветовать эльзасским и лотарингским феодалам обратиться с жалобой к имперскому сейму на действия, оскорбляющие права немецких князей и на границе.

Войска эмигрантов под командой Буйлье с австрийскими частями ожидали, что король приедет. Буйлье в тайной переписке советует уступить Англии какие-нибудь колонии, и действительно, королевский агент Шампсоннэ в январе 1791 года уезжает в Лондон, чтобы подарить Англии мятежные Антильские острова в награду за предстоящее вмешательство во французские дела коалиционной группы монархических интервентов.

Летом 1790 года инженер Дефурни, врач Сеннтэ, типографщик Моморо учреждают в старом округе Кордельеров, ставшем теперь секцией «Французский театр», «Общество друзей прав человека и гражданина». Это общество просто называют «Клубом Кордельеров». Депутаты отдаленных провинций, почти никогда не бывавшие в столице, чувствуют некоторое смущение в великом городе. Они инстинктивно стремились поселиться поближе к Национальному собранию, чтобы в случае каких-либо событий было легче соединиться. Неподалеку от Национального собрания они сняли за двести франков в год трапезную монастыря якобинцев. Этот монастырь возник из часовни во имя святого Якова, построенной семьёю братьями-проповедниками, пришедшими в Париж в 1217 году. По имени часовни улица называлась Якобинской, ее же называли Большой улицей, а раньше — улицей святого Бенедикта. Ко времени Национального собрания братья-проповедники были владельцами уже трех домов и имели монастырь на улице святого Якова, давшей этим монахам название

якобинцев. Эти же монахи построили другой монастырь на улице Сент-Оноре. И вот в этом-то самом доме монастыря, на улице Сент-Оноре, обосновался политический клуб. Недалеко от входа — под тремя арками, из которых средняя назначалась для проезда экипажей, а по бокам широкие арки назначались для пешеходов под нишами со статуями Доминика и Екатерины Сиенской, был вход на большой мощный двор, посередине которого возвышалось здание монастыря. Собравшиеся в нем депутаты-арендаторы называли свое собрание «Обществом друзей конституции», но парижские секции упорно называли их собрания

«Якобинским клубом». С первых летних дней 1790 года якобинцы урегулировали свое существование, они выработали правила порядка, установили способ введения новых членов и быстро стали расти в числе, так как, чтобы стать членом клуба, не требовалось принадлежать к составу Национального собрания. При входе сидели цензоры, проверявшие входные билеты, и в первые месяцы работы клуба Александр Ламет, генерал Лафайет, герцог Орлеанский, вставший на сторону революции, и певец Лаис зачастую сидели вечером при входе для проверки членских билетов якобинцев, входивших на собрание.

Скоро этого помещения уже было мало: от здания Манежа не хотелось уезжать далеко, и монахи, отцы-якобинцы, с любопытством бывавшие на заседаниях клуба и смотревшие на

загорелые лица ораторов такими же удивленными глазами, какими школьник смотрит на оперение чужестранных птиц и вслушивается в их свист и щебет, узнали, что их арендаторы, люди, любящие порядок, чистоту и серьезность, вносящие какое-то небывалое оживление в стены их монастыря, собираются теперь их покинуть. Они предложили депутатам-якобинцам огромную залу своей библиотеки, почти под самой крышей, занимавшую этаж без перегородок, равный всей площади монастырского здания.

Это была обширная зала с хорошей вентиляцией, со сводчатыми потолками, залитая потоками света, падавшего из шести высоких кровельных окон. Между шкафами из ясеня висели восемнадцать портретов знаменитых доминиканских монахов. В конце залы расположены были решетчатые шкафы с пергаментными книгами, рукописями, так и оставшимися в дни революции на попечении посетителей клуба вместе с картиной безвестного художника, изображающего Фому Аквинского около многоструйного фонтана, воду которого черпают чашками монахи различных орденов. По бокам длинной галереи амфитеатром располагались скамьи. С одной стороны — эстрада и кресло президента; под эстрадой, ближе к ораторам, — стол, за которым работают секретари, напротив — узкая, высокая, длинная, как башня, кафедра ораторов, а сзади — суровые доминиканцы в белых одеждах с черными капюшонами — мрачные судьи старинных инквизиционных трибуналов. Заседания якобинцев происходили по вечерам, правильно через два дня; они начинались аккуратно в восемь часов, оканчивались в половине одиннадцатого. Депутаты оповещали секции Парижа о происходящих событиях, они то выше, то ниже поднимали факел гражданской войны и революционной доблести. С 29 мая 1791 года монашеская община была ликвидирована, а якобинский революционный клуб занял все владения.

Только впоследствии был обнаружен один-единственный представитель монашеского ордена, уцелевший в этих обширных владениях: то был молодой рыжеволосый монах в веснушках, брат Сульпиций, все интересы которого сводились к уходу за голубятней, расположенной под самым куполом церкви. Он жил около башенки с колоколами, в нише которой едва вмещались деревянная кровать и трехногий стул. Парижские революционеры, приходившие по вечерам, не интересовались вопросом о том, какая сила выгоняет на заре стаю белокрылых голубей, кружащихся в небе, стремительно кувыркающихся и внезапно падающих на распластанных крыльях. Ни со двора, ни с прилегающих улиц не заметна была фигура в грязной сутане, подпоясанной веревкой, фигура монаха, хлопающего в ладоши и посвистывающего на летающих голубей. Неизвестно было, кто приносил ему пищу, кто доставлял ему воду на ветхую голубятню.

Уже маркиз Лафайет вышел из состава «Общества друзей конституции», уже немало других откачнулись от Якобинского клуба, и братья Ламеты, которые первоначально с любопытством сидели по вечерам, слушая речи парижских сапожников и ткачей по вопросам ценза и избирательных прав, теперь образовали самостоятельное общество; они перестали посещать якобинский монастырь. После смерти Мирабо Ламеты, тайно получившие субсидии из королевской казны, заступили его место; они продали свои голоса королевскому двору и сделались постоянными шпионами в Национальном собрании. Выступать им в клубе было неудобно, особенно когда в борьбу парижского ремесленника с королевским двором вмешалась еще третья сила — крупный собственник, боявшийся и тех и других.

После побега короля и возвращения его в Париж, после того как по французским дорогам сотни тысяч крестьян с пиками, вилами и кольями выстроились шпалерами, чтобы видеть, как везут Людовика XVI, захотевшего Перекинуться через границу и стать во главе армий, как тучи нависших над Францией, после того как карета коронованного арестанта вкатилась через парижскую заставу, Париж кипел как в котле. Секции негодовали, парижские массы требовали низложения короля и суда над ним, а Национальное собрание, в котором к этому часу насчитывалось уже 116 подкупленных голосов, колебалось и направляло все старания к тому, чтобы выгородить короля. Маркиз Буйлье за рубежом Франции дал этим продажным голосам очень удобную формулу: он заявил, что никакого побега не было, но что он возымел

намерение «похитить» французского короля у мятежной Франции. Как обрадовалось Национальное собрание этой возможности сделать так, чтобы волки были сыты и овцы целы! Это словечко «похищение» как бы целиком оправдывало Людовика XVI.

Лоран Басе рано утром проходил мимо Якобинского клуба, случайно поднял голову, случайно увидел, как из-под купола выпорхнул белый голубь. Птица сделала несколько всплесков крыльями и упала на мостовую. Лоран Басе был сердобольным наборщиком, — перебежав через улицу, он поднял голубя. Раскинув правое крыло по камням, птица тщетно пыталась встать на лапки. Лоран Басе поднял ее. Голубь не был нигде поврежден, но на левой лапке у него был подвешен непосильный груз, и птица упала. Старик осторожно положил голубя в сумку, заботясь о том, чтобы не помять крылышки и оставить доступ воздуха.

После бойни на Марсовом поле Париж казался пустыней.

Вечером того же дня, нигде не найдя Марата, Лоран Басе по чутью отправился со своей находкой на остров Сен-Дени. Раздвинув кустарник, нашел лодку, отомкнул замок и тихо переправился в рыбацью хибарку, стоявшую на длинном сен-дениском островке. Разбитые окна выходили в сторону Сены, хибарка одной стеной касалась воды, так что кольцо для привязывания лодки было вделано почти у самой двери.

За столом сидели трое: юноша с прекрасным цветом лица, с большими черными красивыми глазами — Камилл Демулен. Против него, горячо жестикулируя, бросая фразы, стоял Робеспьер, а совсем в углу, погруженный в чтение документов, сидел тот, ради кого Лоран Басе предпринял дальнюю поездку, — доктор Марат. Робеспьер остановился. Демулен тревожно посмотрел на вошедшего Лорана Басса. Марат вскинул на него глаза и продолжал работать как ни в чем не бывало.

— Я принес вам ужин, граждане, — сказал Лоран Басе и вынул птицу из сумки.

Марат сделал отметку на документе и осторожно взял голубя в руки. Лоран Басе подал Марату зашитый сверток, бывший причиной падения птицы, выпущенной из голубятни.

— Почтовый голубь! — закричал Камилл Демулен.

Лоран Басе кивнул головой. Марат надрезал кинжалом швы, вырвал из пергаментной оболочки тончайшую бумажную полоску, и все трое наклонились над его столом. Мелким почерком было написано письмо архиепископу Трирскому. Король Людовик XVI уведомлял князя церкви о том, что он вынужден дабы поправить дела, сделать несколько негодующих выступлений против принцев, против родных и против того гостеприимства, какое оказывает Архиепископ Трирский агентам французской монархии, организующим войска против французского народа. Король просил не придавать никакого значения этим громким фразам и продолжать работу, которая обеспечила бы восстановление монархии.

Марат вскочил; он быстро свернул шею голубю и бросил его на пол.

— Чья голубятня? — спросил он у Лорана Басса.

— Голубятня Якобинского клуба.

— Так, — прохрипел Марат, — так! Вот это адский замысел. Не пора ли все-таки перейти к решительным действиям? Пока я скитался, пока меня гоняли, я был поневоле, друзья, лишен возможности принимать участие в великом искусстве революции. А вы, что вы сделали, когда контрреволюция поднимала голову? Дважды задерживали теток Людовика Шестнадцатого по дороге в Рим? Их нужно было искрошить у парижской заставы, а их выпустили к римскому папе, где неприсяжный папа и двадцать четыре беглых епископа вместе с этой королевской сворой готовят цепи и ошейники французскому народу.

Демулен казался ошеломленным, Робеспьер все снова и снова прочитывал перехваченный документ. Марат продолжал:

— Пора кончить с Национальным собранием; это оно дважды издавало указ о беспрепятственном проезде королевских теток. Что такое Национальное собрание, которого народ не создавал? Это — загробное детище деспотизма, это — бесчестно возникшая организация, в которой так много врагов революции и так мало друзей отечества; это незаконная корпорация, скорей терпимая нацией, чем ею созданная. Декларация прав провозглашает равенство всех перед законом. Национальное собрание делит граждан на активных и пассивных по имуществу. Почти вся Франция оказывается непричастной к созданию законов. Крестьяне останавливают королевских родственников, увозящих миллионы из Франции, Национальное собрание их пропускает; горожане Парижа не спускают глаз с короля как с заложника, в то время как над Францией собираются военные тучи; Национальное собрание кричит, повторяя глупую сказку о том, что короля похитили из дворца, как Моисея из корзинки на купанье, — пусть верят этому дураки.

Заговорил Робеспьер:

— Надо немедленно разрушить эту голубятню.

— Две голубятни, — закричал Марат, — две голубятни, говорю: одну голубятню, которую свили над нашим гнездом, голубятню над Якобинским клубом, а другую голубятню — в павильоне Флоры, голубятню австриячки Марии Антуанетты, голубятню Людовика, голубятню дофина. Все эти воркующие голубки с белыми крылышками, украшенные лилиями, тащат кровавый призрак войны, — надо низложить короля.

— Согласен, — произнес Камилл Демулен, — на Людовика Шестнадцатого надо смотреть как на человека, пойманного на месте преступления. Швырнуть его в тюрьму, отделить его от жены и предать его гласному государственному суду. Королевский побег, королевский манифест — это все оскорбление нации. Если только когда-либо существовало такое преступление, то необходимо начать дело по обвинению короля в оскорблении нации перед судьями высшего революционного трибунала.

— В самом деле, — отрываясь от документов, произнес вдруг Робеспьер, — что делать нам с первым чиновником государства, который хотел бежать? По существу он освободил бы страну от сорока миллионов расходов по цивильному листу. Франция могла бы вздохнуть свободно. По существу день королевского побега мог бы стать самым прекрасным днем революции, но этот негодяй с белыми лилиями выбрал для дезертирства такой момент, когда открытие единичных собраний должно было бы возбудить честолюбивые надежды всех, а глупость Национального собрания из-за применения декрета об избирательном праве по имуществу и по налогу грозила вызвать войну всех против всех. Что может быть нелепей различий, установленных между

целым гражданином,

половиной гражданина,

четвертью гражданина и так далее? Капет выбрал удачный момент, когда Первое законодательное собрание — им же созданные «Генеральные штаты», — против его воли превратившись в Конституанту, должно сложить свои полномочия и уступить другому «Законодательному собранию», которое должно будет прогнать нынешних депутатов, отменить целый ряд их нелепых постановлений. Король выбрал такой момент, когда священник-предатель при помощи епископских посланий и папских грамот раздул фанатизм и поднял против конституции все, что осталось самого невежественного в восьмидесяти трех департаментах нашей Франции. Людовик выбрал такой момент, когда император Леопольд и шведский король должны были поехать в Брюссель, чтобы встретить нашего французского



беглеца, и это все в те дни, когда во Франции поспеет урожай, чтобы таким образом с небольшой бандой разбойников уморить голодом весь французский народ. Камилл! и ты, Марат! — вы оба не чувствуете, что, убегая, Людовик вовсе не отрекался ни от чего, что никакие банды коронованных распутников Европы не могут нас испугать. Все дело в том, что они рассчитывали на триумфальное шествие при поддержке врагов революции

внутри самой Франции. Я за то, чтобы разрушить и третью голубятню! Не только голубятню на чердаке Якобинского клуба, не только голубятню в Тюильрийском дворце, — я за разгон того проходного двора, который называется Национальным собранием, я за разгон этих лживых кудахтающих кур, которые осмеливаются лгать перед лицом всего народа, заявляя о похищении короля, когда в наших руках собственноручное письмо Людовика Шестнадцатого к Национальному собранию, где он прямо говорит, что он намеревается бежать, чтобы с оружием в руках вернуться, опираясь на мятежников внутри Франции. Я нахожу, что положение чрезвычайно опасно, и вот вам новое тому доказательство!

Камилл Демулен, задумчиво глядя в окно на стальные волны Сены, посеребренные барашками под сильным ветром, говорил:

— Я слышал, что, когда Людовик Шестнадцатый опять вступил в свои покои в Тюильри, он бросился в плетеное кресло и воскликнул: «Дьявольски жарко!», потом он сказал: «Однако выдалась проклятая поездка», и затем: «Уже давно все идет кругом у меня в голове», и наконец, обращаясь к присутствовавшим национальным гвардейцам: «А и глупую же шутку я выкинул,

— я вижу это. Ну что ж, и мне приходится разыгрывать комедии, как другим. Скажите, чтобы мне подали жареную курицу». Появился один из его камердинеров. «А, так это ты, — как видишь, я опять здесь...» Ему принесли жареную курицу. Он пьет и ест с аппетитом короля страны с молочными реками, с кисельными берегами — совершенно так же, как делал во все время своей поездки. В карете, которая должна была доставить его в лагерь заговорщиков, люди, опечатавшие вещи, заметили большой ящик. Они подумали, что в нем хранятся важнейшие тайны, по меньшей мере бриллианты короны. Каково же было их изумление: вместо клада они нашли... — судна к ночным горшкам.

— Итак, будем продолжать заниматься делами! — Дружище Лоран, мы хотим побыть здесь до утра. Если можешь, съезди к гражданке Симонне Эврар и привези нам чего-нибудь поужинать, и себя не забудь, четверым, — сказал Марат. — Итак, я теперь отвечу тебе, Робеспьер. Я потому не занимался вопросами о колониальных порядках, что прибывавшие из Сан-Доминго негры и мулаты прямо попадали в объятия моих врагов. Они сами говорили, что во главе Общества друзей чернокожих стоят Бриссо, Лавуазье, Мирабо. Довольно с меня этих трех жуликов, чтобы я не вмешивался в их дела. Потом, как мог я без подготовки определить направление своих ударов? Вы смотрите, сахар исчезает с рынка, вы не найдете ни зернышка кофе. Во всем этом парижские купцы и агенты провинциальных контор в Сен-Мало, в Бордо, в Гавре, в Тулоне, в Марселе обвиняют негров. Восстание цветных людей считают причиной того, что Париж голодает. Может быть, действительно нужно было бы внести какой-то порядок в дело освобождения цветных племен?.

Его перебил Робеспьер:

— Порядок нужно внести в тарифы и цены. Вот тебе лучшее свидетельство: один из друзей нашего клуба доносит, что купец Дэльбе имеет на два миллиона ливров сахара и на один миллион — кофе, но он не продает ни сахар, ни кофе. Его не устраивают ни корсеты, которые во всяком случае уже не стоят теперь пяти франков, ни серебро, — он продает только на чистое золото с огромной надбавкой. Порядок надо внести в рыночные цены, это заставит богачей не повышать стоимости продуктов. Надо внести закон о максимуме.

— Вот это верно! — воскликнул Демулен. — Но это ново, это совсем новая теория.

— Теория революционного правления тоже новая, как и революция, которая ее создала, — ответил Робеспьер. — Вот вам еще двое владельцев колониальных складов — Дандрэ и купец Боскари. Вот наглые биржевики, спекулирующие сахаром, и никакие якобинские клятвы «отказаться от сахара, не пить кофе до тех пор, пока не установятся на них прежние сносные цены», не сделают этих двух биржевых акул умереннее в их зверских аппетитах. Честные патриоты будут отказывать себе в необходимом, а биржевые акулы ничего не будут считать излишним. В вопросе о признании гражданства за цветными племенами я придерживаюсь своих прежних взглядов: пусть погибнут колонии, но будет торжествовать принцип равенства граждан. Я считаю, что необходимо сломать ценз, установленный Национальным собранием, но что вы будете говорить о правах для цветных людей, когда у нас в положении негров и рабов остаются миллионы свободных граждан, признаваемых неактивными по существующим нормам Национального собрания? Я думаю, что нужно освободить и тех и других, я думаю, что революция только что началась. События, которые произошли в наших колониях, поистине ужасны. Сегодняшний вечер я посвящу просмотру стенограмм Национального собрания и потом поделюсь с вами моими соображениями об истинных виновниках трагических происшествий за океаном. Мы вернемся в Париж не раньше завтрашнего дня, когда уляжется буря, связанная с нашими именами.

— Так! Согласен! — сказал Марат. — К приезду Лорана Басса я составлю очередной номер газеты. Демулен займется просмотром рукописи для очередного номера «Революции Франции и Брабанта».

Народные трибуны прекратили общий разговор и, не глядя в окно, принялись за работу. Марат скрипел гусиным пером по бумаге. Робеспьер ходил большими шагами. Бумаги лежали на скамьях и на полу.

Максимилиан Робеспьер не слишком рассчитывал на то, что он уцелеет в Париже: покушения на друзей народа учащались, аристократия сопротивлялась, а самым тяжелым было то, что богачи всех мастей вели себя так, будто революция сделана только ими и только для них.

Исчезло чванство знати только для того, чтобы уступить место чванству богачей. Где же естественный закон, делающий людей равными в правах, и как горьки первые плоды борьбы за свободу, равенство и братство!

Робеспьер нахмурился; в этот день произошла новая встреча с господином Бриссо. Перед самым началом движения толпы по Марсову полю господин Бриссо взял Робеспьера за пуговицу серого камзола с таким видом, как будто он испытывает свою храбрость в зверинце перед клеткой тигра, преодолевая свою природную трусость, щуря глаза на Робеспьера и говоря:

— Дорогой Робеспьер, дорогой Робеспьер, не настаивайте на крайних мерах, этим вы разрушите единство нации.

— Адвокат Бриссо, фальшивые ноты звучат у тебя в голосе, — отвечал Робеспьер грубо и резко, — ты ведешь интригу против меня, против Марата, против Сен-Жюста, против Демулена, и ты боишься выступить против нас открыто, ты защищаешь короля, лишеного исполнительной власти, ты протестуешь против моих крайних мероприятий. Береги свою голову, адвокат Бриссо; кто будет ее адвокатом, когда народ потребует снятия ее с плеч?

— Вы сегодня грозите, дорогой Робеспьер, а я даю вам полезные советы: вы не бережете себя, это я знаю, но вы не бережете и Францию. Даю вам честное слово, что если бы ваши крайности не испугали короля, то не было бы королевского побега в Варенн.

— Молчите, Бриссо, — оборвал Робеспьер, — если бы не было крайностей короля, то ему

незачем было бы бежать к эмигрантам. Глупая австриячка жадна; если бы не королева, то Людовик наверняка уже стал бы во главе дворянских армий и брауншвейгские штыки несли бы проколотых крестьянских ребятишек Шампани. Хорошее сделано дело, говорю тебе, Бриссо, хорошее! Восемь ночных горшков с королевскими гербами из Севра и два сундука с тончайшим полотном, украшенным вензелями австриячки, с таким богатством легко было опознать в Варение путешествующего дворянина.

Голос Бриссо вдруг стал едким и вкрадчивым одновременно, когда он пытался ответить на эту тираду Робеспьера:

— Дорогой Робеспьер, дорогой Робеспьер, ведь мы же знаем, что вы учились на королевскую стипендию в коллеже Людовика Великого в Париже, ведь мы же знаем, что вы звучными латинскими стихами встретили французского короля в тот день, когда он приехал навещать своих стипендиатов в коллеж. Ваш однокашник Камилл Демулен был тому свидетель. Как теперь у вас поворачивается язык, когда вы кричите о лишении короля исполнительной власти и о предании его суду за простую попытку спастись с семьей от ваших же угроз, от ваших же крайностей.

— Вот что, Бриссо, не лги на Камилла, это не он рассказал тебе о латинских стихах, — четырнадцатилетний мальчик мог делать и не такие вещи. А если ты пойдешь дальше, ты будешь упрекать меня в том, что я мочился в пеленки, и показывать мне эти куски грубой ткани с трибуны Национального собрания. Ты трус, Бриссо, ты лицемер, Бриссо, я не боюсь твоих упреков, Бриссо, но помни: мои латинские стихи — в прошлом, я иду рука об руку с народом вперед, а ты с каждым днем делаешь шаги назад. Не завидую твоим будущим дням. Ты сейчас, когда разъяренный народ негодует на короля-предателя, готов писать ему латинские стихи и лизать пятки его челяди. Вы все за Францию вместе с предателем Мирабо, который в апреле издох, как лопнувший мешок, набитый червонцами придворного казначейства. Если вы показываете мне мои мальчишеские пеленки, то помни, что ты, окружившись предателями, пачкаешь революционное знамя французского народа. Ты все припомни.

В этот момент началась давка и крики в конце Марсова поля. Бриссо поспешно кинулся в переулок и сел в ожидавшую его коляску, не замечая Робеспьера. От этих воспоминаний дня Робеспьер перешел к другим.

В Эрмэнонвилле двадцатилетний Робеспьер сидел в саду у деревянного кресла, на котором покоился, откинув голову с серыми длинными волосами, Жан Жак Руссо. Робеспьер пылко и красноречиво говорил почтаемому философу о том, что всю молодость он отдал на изучение его великих творений и что дальше он пойдет по пути, указанному великим философом. Руссо невнимательно слушал. Солнце палило черную шляпу философа, освещало подбородок, а затененные шляпой веки с синими жилками и верхняя часть лица землистого оттенка были в тени. Руссо лишь изредка из вежливости поднимал глаза и кивал головой с равнодушной, холодной улыбкой. Дети перебросили мяч через ограду. Зашуршали листья и ветки вишневых деревьев. Руссо испуганно вскочил с кресла и, если бы Робеспьер не поддержал старика, он упал бы в кустарник. Голова философа дрожала, руки с растопыренными пальцами были протянуты вперед, словно он стремился помешать вторжению какого-то несчастья. Через секунду все было на прежнем месте, — от внезапного испуга не осталось и следа.

«Бедный старик, — думал Робеспьер, уходя из сада, — преследования целой жизни не прошли для него даром».

Еще одно воспоминание: сегодня как раз годовщина Союза молодежи Арраса. В тот день в Аррасе собирались молодые буржуа на Праздник роз. Вино, дружба и поэзия, нежные лирические стихи — вот что было в этот день музыкой и душевным строем юриста

Робеспьера. А потом вдруг королевский указ о созыве Генеральных штатов. Это какой-то лед на голову и огонь в сердце. Все закипело, вся жизнь закружилась, ни один день не проходил без собраний и блестящих речей. Робеспьер выставляет свою кандидатуру, и третье сословие Арраса посылает его депутатом Генеральных штатов. Вот начало новой жизни, вот день, открывающий ворота новых веков. Теперь две задачи: добить аристократию, раздавить богачей, создать из Франции республику доблести и гражданских добродетелей.

Робеспьер смотрит на часы, на догорающие свечи. Волнение мешает спать, он перебирает стенограммы Национального собрания. Толстая тетрадка, 12 мая 1791 года, речь Ланжуинэ. Робеспьер водит пальцем по бумаге, останавливается на строчках:

«Политические права не зависят от цвета кожи. Вследствие этого и белые и цветные свободно должны высказывать свои пожелания относительно организации колоний. Каким образом могли бы осуществиться политические меры, на основании которых цветные люди лишаются тех прав, которыми, как ставшие свободными, они пользовались еще сорок лет тому назад? Вы говорите, что цветные люди являются промежуточным классом между белыми, господами колоний, и рабами, вы настаиваете на том, что полезно противодействовать слишком большому сближению рабов и господ. Но скажите, откуда возникли цветные племена, как не от самого большого сближения, разве зачастую они не являются детьми одной с вами матери, разве вы в их лице не видите зачастую ваших братьев, ваших племянников, ваших родных? Теперь вы подумайте вопрос об их правах — только потому, что их цвет не отличается белизною кожи, и в этом все их различие с вами. Граждане владельцы плантаций, сидящие здесь, в здании Манежа, обращаюсь к вам, несущим с собой чванство смешных претензий, взгляните на себя в зеркало и скажите... — палец Робеспьера скользил по строкам, он читал: — Благодаря счастливому смешению рас цветные люди содействуют и силе американцев и уму природному европейцев, они обладают даже и большей силой, гибкостью, ловкостью, они обладают талантами строителей промыслов, — одним словом, они обладают всем, что украшает так называемого гражданина. Обеспечьте им свободу, — они будут исправными плательщиками налогов. За что же вы теперь хотите лишить их прав? Если вы произнесете над ними вечное отлучение и дадите в судьи их же тиранов, то вам же самим придется опасаться взрыва, который будет последствием этого».

Робеспьер читал дальше, что говорил гражданин Гупиль:

«Граждане, я землемер-геометр, я вместе с директором пороховых заводов, академиком Лавуазье, только недавно закончил работы над измерением высот восточных границ Франции. Вот теперь обстоятельства бросают меня, геометра неизмеримых высот, от возвышенных вычислений к земной задаче, для того чтобы проверить и соразмерить работу отвлеченную».

Сам Руссо, этот высший мыслитель, которому вы поставили памятник, считал необходимым изменить форму и урезать принципы общественного договора, прежде чем применять их к решению вопросов о конкретном плане государственного устройства польского государства.

Население Сан-Доминго состоит из огромного количества рабов, то есть людей с душой, сердцем и умных, но политически ничего не знающих, состоит из белых людей, и наконец, из цветных людей и освобожденных негров. Класс белых господ сам по себе подразделяется на две группы: владельцы плантаций, занимающие большие должности, и белолицые мелкие буржуа, которые, не обладая имуществом, посвящают себя обслуживанию других белых людей. Цветнокожие, происшедшие от смешения белой и черной крови — все эти разной степени расцветки одной и той же человеческой природы, — зачастую являются и более богатыми, и более предприимчивыми, и более талантливыми, нежели люди белого цвета. Однако эти цветнокожие происками белых плантаторов приведены уже теперь в состояние крайнего угнетения, несправедливого и тяжелого. Располагая самостоятельным капиталом,

они ежесекундно испытывают на себе тячайшее состояние отверженных. Отвратительное отношение белых людей приводит их в состояние раскаленной ярости. Их отстраняют от всякого рода общественных должностей, они не имеют права даже интересоваться судьбами правящих ими учреждений. Это тем более оскорбительно, что белые, занимавшие во Франции самое последнее место на дне общественного колодца, имеют возможность — пользуясь покровительством не столько законов, сколько местных обычаев, против которых никто пойти не смеет, — ставить себя в Сан-Доминго гораздо выше владельцев самостоятельных предприятий только потому, что у них белая кожа. Никто из цветных людей не допускается к столу белого человека, даже если этот белый человек был только сыном сапожника, поставляющего во Франции обувь цветнокожим купцам. Скажите, кто сеет смуту в колониях, как не белые люди? Кому нужна там атмосфера раскаленной ярости среди черных племен, как не тем белым негодьям, которые наподобие Сервия и Катилины сеют мятеж, чтобы в перегруппировках и перипетиях гражданской войны грабить имущество цветнокожих и завладеть их домами якобы в порядке политической кары? Так возникли в Сан-Доминго страшные слухи, были пущены среди черных и цветных людей подкидные листовки, была создана атмосфера тревоги. Люди, ждавшие от «Декларации прав» осуществления того, что им принадлежит по закону, вместо этого осуществления все как один попали в положение приговоренных. Таково положение вещей. Говорю вам: цветные люди уже решили избавиться от состояния унижения, в котором они были. Если мы лишимся наших рабов, скажут они себе, то вам нужно по крайней мере восстановить наши политические права. Брожение оказалось настолько сильным, что в результате белые колонисты пришли к выводу: будет час, когда уравнение политических прав будет произведено насильственным переворотом. Отсюда один шаг к самому страшному — к тому, что рабы, почувствовав себя людьми, бешено устремятся к морю свободы. Не создавайте себе иллюзий, не разжигайте вражды между черными и цветными племенами. Речь идет не о том, возможно ли в данной революции урезать права цветных людей, — речь идет о том: удастся ли вам не допустить их к немедленному использованию своих естественных прав. Помните, что рабство колоний есть лишь часть общего рабства у нас на континенте.

Робеспьер остановился и вздохнул. Он вспомнил, как спокойный, уравновешенный математик Гупиль нахмурил брови, весь его матовый и тихий обычно голос вдруг зазвучал на всю громадную залу Манежа и оттолкнулся от металлических подвесок на потолке. Он крикнул:

«У нас на континенте несколько миллионов граждан, не добившихся еще титула активных!!!...»

По залу Манежа пронесся ропот, раздались крики негодования, — Гупиль наступил на большое место французской буржуазии.

«Да, он прав, подумал Робеспьер. — Дюфурни недавно кричал о том, что все трудящиеся Франции нынешней Конституцией устраняются от участия в политической жизни страны. Самый бедный человек, несущий самую трудную, упорную работу, принужден влачить самое жалкое существование, а избирательный закон допускает к выборам только высоких цензовиков, людей, платящих малый налог с большого имущества».

Гупиль продолжал:

«Не прерывайте меня криками и шумом, соблюдайте, граждане Национального собрания, отметить, что я говорю здесь чистейшим языком вашей Конституции, я не касаюсь вопроса об евреях, Права этого древнего народа вовсе не определены вами, однако их гораздо более во Франции, чем цветных людей в колониях. Настанет час, и вам придется решить вопрос предоставить ли всем обиженным права активных граждан, или они сами должны завоевать их оружием!»

«Верно, верно, — думал Робеспьер, — однако кто же этот Гупиль? Да тот

математик-инженер, который говорит передо мной». Робеспьер перевернул страницу. Речь Гупиля кончалась словами:

«Можете ли вы рассчитывать на уважение к праву собственности, если вы не только рабов, но даже

людей свободных приравниваете к неживым существам, если находятся граждане, осмелившиеся говорить об этом с трибуны Национального собрания. Что, если от этих речей вспыхнет пожар в колониях и блестящие речи рабовладельцев приведут к полному разорению плантаторов и освобождению негров! Пусть лучше белые колонисты обратятся к вам, как к государю-народу, с обязательством умерить свои претензии, пусть лучше протянут руку помощи цветным людям».

Теперь перед Робеспьером была ясная картина. Последние слова Гупиля показались ему, входящему на трибуну, каким-то странным желанием обойти простой и ясный принцип «Декларации прав человека и гражданина».

Он вдруг в устах лукавого геометра уловил ноты боязни: лучше пойти на уступки, лишь бы не осуществлять принцип в целом. Легким прыжком через две ступеньки Робеспьер, как кошка, вбежал на трибуну и вцепился в края кафедры. Молния чертила темные ощущения, одна четкая мысль — сбросить тактику Гупиля, ставить вопрос о принципах человеческой свободы в основу, вопреки опасениям о потере колоний.

Последнее движение руки, левая рука еще крепче стискивает доску трибуны, правая поднимается вверх, чтобы затушить возгласы, шум и шорох на скамьях. «Если бы мы боялись дворянских криков и дворянской боли, не нужно было бы поднимать революцию, — думал Робеспьер. — Однако теперь следует ли опасаться того, что принцип свободы режет барыши белых колонистов?»

Робеспьер стоял с поднятой рукой. Шум затихал по рядам, и только сбоку от входа раздались провокационные крики:

— Ах, это господин Робеспьер!

В ответ из другого угла:

— Это помесь лисицы с тигром!

Хохот и прежний голос:

— Бездарный адвокат из Арраса, не умеющий связать двух слов!

Председатель просит соблюдать порядок. Робеспьер начал намеренно тихим голосом:

— Предлагаю точнее ставить вопрос. Речь идет не о том, даете ли вы политические права людям с цветной кожей, речь идет о том, хотите ли вы отнять эти права, так как они принадлежат им до вашего декрета...

Стенограмма записывает: (Рукоплескания и крик аббата Мори): «Господин Робеспьер, в вашем имени соединились имена Робера и Пьера. Помните, что эти бандиты — родные братья Дамьена-цареубийцы». — «Молчи, поп, — раздается с другой стороны, — дай говорить Робеспьеру!» — «Долой попов!» — раздается из глубины залы».

Робеспьер опять поднимает руку. Председатель, стоя, тщетно стремится водворить порядок. Аббат Мори кричит:

— Если говорите: «Долой попов», то почему здесь сидит аббат Грегуар, потребовавший ареста короля? Он хуже Рейналя, безбожника.

— Молчи, продажная ряса! — кричит аббату Мори соседи старика Грегуара.

Робеспьер продолжает:

— Я настаиваю на том, что цветные люди имеют права, которых белые желают их лишить теперь. Революция...

— Довольно страшных слов! — раздается голос из глубины зала.

— ...Революция, — повторяет Робеспьер, — вернула все политические права всем гражданам. Разве ваши декреты хотят отнять естественные права человека, хотят отнять качества активного гражданина, вы хотите отнять избирательные права даже у тех, кто по вашей Конституции платит налоги в размере трехдневного заработка? Тут ставится вопрос о том, что цвет кожи имеет какое-то значение при определении права на заработок, права на труд, права участвовать в избирательных собраниях. Я напому декрет двенадцатого октября, которым здесь хотите добиться исключения цветных людей из избирательных собраний. Но ведь этот декрет говорит о том, что в судьбе колоний вы не будете ничего менять без инициативы самих колоний, а проявление этой инициативы предоставлено также свободным цветнокожим людям, платящим налоги в размере трехдневного заработка. На каком же законе вы хотите основаться, выкидывая их теперь? Какая причина побуждает вас нарушить одновременно ваши же законы, ваши декреты и, что хуже всего, принцип справедливости и человечности? Кто-то настойчиво твердит вам, что если вы не отнимете у цветных людей их права, то Франция потеряет колонии. Откуда это? Все это потому, что одна часть граждан, называемая белыми, хочет присвоить исключительно себе все гражданские права, и они осмеливаются говорить перед лицом всемогущего народа, через своих наглых депутатов, чтобы вы опасались последствий недовольства колониальных хозяев, владельцев плантаций, белых богачей. Кто эти люди? Скажите им, что они представляют собой партию мятежников, грозящих зажечь колониальный пожар и разорвать ту связь, которая имеется между ними и метрополией, если вы не примете их претензий. Я спрашиваю вас перед лицом всей Франции, достойно ли законодателя совершать сделки с бессердечным корыстолюбием, со скупостью, алчностью и чванством богатого класса колониальных граждан?

Стоя за письменным столом, перед мигающими свечами, Робеспьер водил пальцем по стенограмме и облегченно вздохнул, прочтя пометку стенографа: «Аплодисменты на левых высоких трибунах».

Он читал дальше свою речь.

«Я спрашиваю вас, о граждане, насколько политично будет выносить решения, вымогаемые у вас угрозами богатых партий, принося при этом в жертву права людей, принося в жертву справедливость и человечность? Разве люди, имеющие другой цвет кожи, нежели французские колонисты, не могут спросить вас при этом: если вы отнимите у нас наши права, это вызовет также и наше недовольство, и мы положим не меньше мужества на защиту священных и неприкосновенных прав, полученных нами от природы, нежели те, кто прилагает усилия к организации тягчайшего нашего угнетения. Пусть наш противник не упорствует в стремлении отнять наши человеческие права. Справедливое негодование людей, рожденных в естественной свободе, даст нашему восстанию не меньше энергии, чем людям, коими руководят низкие чувства чванства и своекорыстия. Если они говорят об опасности, то об опасности говорят и другие. Барнаву мы обязаны одним замечанием — он тонко заметил, что наиболее богатые белые колонисты высказываются за мир с богатыми цветными людьми. Проследите во всех подробностях все, что говорится вам со стороны партии белых депутатов, прибывших из колоний: какая причина их крайнего нежелания разделить

политические права со своими цветными братьями? Разгадайте, и вы увидите, что в основе всех опасений лежит одно: если вы дадите права активных граждан свободным людям цветной кожи, то вы уменьшите трепет негров перед своими господами, а вот это и оказывается самой большой опасностью, ибо, с точки зрения белого господина, страх должен быть основным состоянием негров. Вы видите, до чего договорились эти господа, вы чувствуете нелепость этого положения? Скажите, влияют ли на покорность черных людей цветнокожие, состоящие на свободе? Уменьшается ли власть господина над их рабами? Наконец, выражаясь вашими собственными словами, разве вы не увеличиваете могущества хозяев, предоставив права цветнокожим собственникам, а если вы лишите прав цветнокожих, то тем самым вы сблизите их с неграми, находящимися в рабстве, и здесь ваши слепые опасения необоснованны. Если идет разговор о том, что Франция может лишиться колоний, то вы вашей политикой сближения негров и цветнокожих обеспечите прочный союз тех и других, вы укажете им дорогу сообразно с их общими интересами. Вы запутались, вы не видите, к чему сводятся смешные претензии белых колонистов. В ослеплении они сами стремятся к своей гибели, они придерживаются политики лжи, соблазна, иллюзий и лживых убеждений. Чего они добились? Они добиваются созыва местных собраний исключительно из белых людей, чтобы эти местные собрания и решили вопрос о судьбе цветнокожих. Где тут соображение с природой? Где здесь согласие с разумом? Из кого будут состоять эти местные собрания? Из белых колонистов. Это значит, что вы судьбу людей цветнокожих отдаете в руки их противников. вспомните, что было бы, если бы во Франции вместо представительства сословий был созван съезд депутатов аристократии для решения вопросов о том, должно ли третье сословие иметь двойное представительство».

В стенограмме отметка: «Все депутаты третьего сословия аплодируют господину Робеспьеру».

Робеспьер говорит:

«Я настаиваю, чтобы наиболее дорогие интересы людей, права человечества не были брошены в подчинение тому классу людей, которые выступают перед вами, желая добиться только власти. Здесь сидит господин Барнав, депутат из Гренобля. Мы слышали, что он пламенный оратор в Обществе друзей чернокожих. Что же он говорит? Он говорит, что решение колониального съезда плантаторов будет благоприятно для людей смешанной крови. Скажите, кто поверит этому? Я, отвечая за свои слова, настаиваю на обратном. Я даю вам гарантию против, ибо колониальные владыки привыкли жертвовать всем, не исключая интересов родины, ради наживы и личной корысти. Это подтверждает их переписка, находящаяся у меня в руках. Так же твердо высказаны мнение и претензии, на которых они упорно настаивают в течение двух лет. На словах они обещают благоприятствовать людям цветной кожи, на деле они кричат во всех своих письменных обращениях к Франции, что торжество прав цветнокожих людей будет концом колоний и параличом торговых барышей. (Рукоплескания). Говорю вам во имя справедливости: побежденных нельзя осуждать так бесчестно. Имея уважение к законодательным органам народной власти, разве позволительно думать, что народ можно соблазнить нелепыми доводами или, что хуже всего, обращенными к нам угрозами! Смотрите, на что бросаются такие люди, как господин Барнав. После нескольких противоречивых утверждений и явных софизмов выдвигается несколько фактов, как-то не вяжущихся с предыдущими речами, если вы это заметили. Расточив красноречие и не имея возможности убедить вас своими доводами, вас стремятся раздавить напрасным страхом, и вот господин Барнав выдумывает подозрительный эпизод, о котором вы здесь прослушали. Он говорит: „Вооружается Англия!“ Хорошо, я принимаю эту тревогу, которая прокатилась как волна по скамьям Национального собрания. После этих слов я готов предполагать у английских правителей самые враждебные Франции намерения. Я не стану решать вопроса о том, зависит ли эта английская угроза от того мира, или от тех войн, которые ежеминутно ожидаются против нас со стороны Англии, Пруссии и России. Если англичане попытаются использовать восстание в наших колониях, с чьей стороны они найдут



наибольшую стойкость и сопротивление? Вы уверены в том, что двадцать тысяч белых колонистов, разозленных тем, что вы отвергли их безумную жадность, окажут Англии больше сопротивления, чем испытанные в наших войсках цветнокожие люди, сотни тысяч мулатов, привыкшие нести на себе тяжесть труда и усталости, испытанные в защите колоний от врагов Франции. Так я хочу сказать, что проект отнятия прав у цветных людей отнимет у Национального собрания репутацию представителя нации, отнимет признак справедливости и заставит Национальное собрание потерять титул Друга народа и покровителя человеческих прав. Я спрашиваю, возможно ли будет назвать здоровой политикой принятие такого проекта?»

Робеспьер перелистывал дальше, быстро пробегая по строкам. Стенограмма кончалась словами председателя: «Из семи человек, вместе со мною составляющих бюро, четыре выражают сомнение по поводу текста. Я ставлю вопрос на общее голосование». Робеспьер отмечает карандашом: «Происходит общее голосование. Большинством 378 голосов против 236 собрание выносит решение поставить на обсуждение новый проект декрета. Заседание закрывается в пять часов».

Робеспьер посмотрел на часы. День клонился к вечеру, Марат, не разгибаясь, сидел за столом и быстро писал. Камилл Демулен перечитывал лежащие на столе рукописи и задумчиво посматривал в окно на вздувавшиеся волны реки, на тучи, собравшиеся над Парижем. Крепчал ветер, волны набегали на ступеньки. Народные трибуны озабоченно переглянулись; подметное письмо угрожало жизни одного из них, другому друзья посоветовали как можно скорее скрыться из квартиры, третий уже давно не ночевал дважды в одном и том же помещении. В Якобинском клубе каждый из них появлялся в окружении друзей-санкюлотов с более или менее увесистыми дубинами, и нападение на Робеспьера, Марата или Камилла Демулена у ворот Национального собрания или же при входе в Якобинский клуб было делом слишком трудным. Открытое выступление против народных трибунов не рекомендовалось и дворцовой интригой; участие двора в гибели кого-либо из вождей революции могло бы, с точки зрения Людовика, повести к обратным результатам. 116 золотых мостиков уже были проложены из королевского казначейства в сердца депутатов; это было более надежное средство, но опытные люди из дворцовых шпионов и стоустая молва Парижа сразу сделали безнадежными все попытки повесить золотой замок на язык Робеспьера. Ремесленники Сен-Марсо и рабочие Сент-Антуана видели, знали и слышали Робеспьера и дали ему прозвище «Неподкупного». Между подкупом и кинжалом не было средств, и приходилось терпеть, и тем не менее если постоянные судебные процессы направлялись против Марата за разоблачающие страницы «Друга народа», если парижская магистратура с Лафайетом во главе предполагала вполне достаточным простое привлечение Марата в суд по ничтожному делу о клевете на какого-нибудь купца, с тем, чтобы сразу после этого посадить Марата в тюрьму и не выпускать ни под каким предлогом, — то гораздо труднее было дело с Робеспьером, на которого не действовала никакая травля, которого невозможно было потянуть в суд и популярность которого доходила до того, что в любом уголке Парижа он мог найти себе пристанище.

Марат читал:

«Гражданин, рабочие Сент-Антуанского предместья предоставляют женам, старикам и детям вопить об отсутствии сахара; люди, бравшие Бастилию 14 июля, не пойдут в бой из-за конфет. Знай, гражданин Марат, что грубые и дикие нравы нашего округа больше всего в мире любят только две вещи: сталь и свободу. Пусть заговорщики, пусть скупщики, пусть враги французской революции узнают, что в момент, когда подкупленные люди или негодяи призывают наши пригороды и предместья к разгрому складов, мы спокойно куем копья, которые должны истребить заговорщиков. Мы выступаем с обличением скупщиков и спекулянтов всякого рода, — все, вплоть до продуктов первой необходимости, находится в жадных руках этих убийц народа. Разбойники больше всего кричат о священном праве собственности, но разве эта собственность не составляет преступления и нарушения

народных прав? Марат, Друг народа, мы знаем, при рассказе о народной нищете в твоём чутком сердце закипит негодование против этих кровопийц. Проходя по улицам Парижа, взгляни на улицы и окна: в торговле царит полный застой, она еле дышит, — это следствие спекуляции. Мы хотим, чтобы ты и твои друзья издали закон о смертной казни скупщиков, чиновников и двора и тех, кто организует спекуляцию. Друг народа, ты должен знать, что нас сорок тысяч вооружённых людей. Помимо оружия из стали, у нас есть оружие вечной любви к Декларации прав человека, мы клянемся в братстве и помощи патриотам. Друг народа, граждане нашего предместья, собравшись в количестве десяти тысяч, пока что мирно и без оружия, в здании нашей приходской церкви, уполномочивают тебя: во-первых, провести закон о подавлении спекуляции, издать декрет, предписывающий административным органам наблюдение за всеми кассами, выпускающими банкноты, следить за сдачей обменных ассигнаций. Выяснить, какие ассигнации заготовлены в Англии для разрушения нашего рынка и в каких местах Ла-Манша найдены ящики с фальшивыми ассигнатами. Во-вторых, мы ждём от твоей мудрости репрессивного и настолько справедливого закона, чтобы он одновременно обеспечивал возможность добросовестной торговли и обуздывал скупость тех торговцев, которые скупают и перепродают все, вплоть до костей убитых патриотов, чтобы продать их аристократам».

— Я уверен, — сказал Робеспьер, — что парижские купцы нарочно прячут сахар, кофе, колониальные товары. Они преследуют двоякую цель: увеличивают голод в стране для доказательства того, что революция виновата во всем, и Ламеты, Барнав и прочие негодяи составили шайку мятежников, которые хотят сорвать революционные законы и во что бы то ни стало хотят отстоять свои права на торговлю черными рабами, свои права на обкрадывание многочисленных плантаций неполноправных цветнокожих людей. Они оказывают давление на голодных людей в предместьях, те кричат в секциях о голоде, а Барнав, пользуясь этим, хочет вместе с Ламетами и Массиаком во что бы то ни стало добиться только одного — выдать из Национального собрания такой декрет, который узаконивает рабство черных и цветных людей, ставя их в положение худшее, нежели то было до революции. Что сделал наш клуб? Мы дали клятву отречься от сахара, воздерживаться от кофе, возможно повести ещё более суровую жизнь.

— Это не приведет к цели, — смеясь, сказал Камилл Демулен. — Друзья, — продолжал Демулен, — вся забавная мудрость Ликурга состояла в том, что он принуждал своих сограждан ко всевозможным лишениям. Однако искусство заключается не в том, чтобы отнимать у людей удовольствие, а в том, чтобы предотвращать злоупотребления. Ликург сделал своих лакедемонян равными таким же способом, как буря уравнивает тех, кого она приводит к кораблекрушению. Что касается нас, то мы не испытываем ни малейшего стремления к такому равенству.

— Ты неправильно говоришь, — злобно прервал его Робеспьер. — Как мог ты возражать против демонстрации гражданами готовности нашего клуба к жертвам?

— Однако, — сказал Марат, — я хочу есть. Над Парижем идет дождь. Сена вздулась, и не пройдет часа, как избенка начнет протекать. Успеет ли Лоран Басе привезти нам еду и питье? Смотрите, начинается буря.

Робеспьер подошел к окну. Свинцовое небо. Тучи закрыли солнце. Волны бурливо хлестали около самой двери.

— Кто тебя научил выбрать это жилище, Марат? — спросил Демулен с некоторым волнением.

— Я привык ночевать здесь, — сказал Марат. — Ни разу никому в голову не приходило сунуться в эту дыру. Четыре раза меня заливала вода, весной я спасся отсюда вплавь, я почти тонул, но около берега меня вытащил гвардейский офицер. Пока я обсыхал, он

разговаривал со своим товарищем о том, что он скорее вспорет живот собственной своей матери, чем позволит себе пойти против приказаний государя. Я чуть не бросился в воду при мысли о том, что это гвардейское чудовище стало моим спасителем. А тут еще он ко мне обратился со словами: «Ну, а что бы вы сделали, мокрый господин, на моем месте?» Я ответил ему, спокойно, я сказал: «Скорее я зарезал бы всех королей мира, чем наложил бы руку на виновников дней моих». — «А кто вы такой?» — спросил меня гвардеец. — «Я — Марат, Друг народа», — ответил я ему и, спокойно выжимая свое платье, ушел с пристани.

— И он не погнался за тобою? — спросил Робеспьер.

— Нет, — ответил Марат. Взглянув на расстроенное лицо Камилла Демулена, Марат продолжал: — Милый Демулен, ты, кажется, расстроен, но ты хорошо умеешь развлекать своих читателей в газете, научись смеяться вместе со мною. Я тоже весельчак, и пока нас не залило водой, поднимающейся из Сены, вы оба на голодный желудок послушайте мой веселый рассказ:

— Двадцать второго января, когда министр финансов, мэр и главнокомандующий послали для нападения на меня целую армию, я спал в соседнем переулке, как вдруг молодой человек, служащий у меня по письменной части, прибежал ко мне и со слезами на глазах объявил, что дом мой окружен несколькими батальонами. Мой хозяин тут же вошел в мою комнату вместе со своей женой; они были потрясены и хотели говорить, но вместо слов издавали только стоны. «Успокойтесь, — бросил я им, — все это пустяки». Я вскочил и потребовал, чтобы меня оставили одного. Никогда я не бываю так хладнокровен, как посреди угрожающих опасностей. Не желая выходить в беспорядке, из опасения возбудить подозрение, я тщательно оделся. Я надел сюртук, круглую шляпу, принял веселый вид и отправился по направлению к Гро-Кайу сквозь отряд гвардии, посланный арестовать меня. Дорогой я старался развлечь своего спутника и сохранил прекрасное расположение духа вплоть до пяти часов вечера — время, когда мне должны были подать корректуру газеты, где я давал отчет о знаменитой экспедиции. Однако никто не приходил. Я почувствовал угрожающий мне удар; на другой день утром я узнал, что типография моя опечатана: День прошел для меня грустно. Путь мой пронюхали. Вечером дом был окружен шпионами, которых я узнал из-за жалюзи. Мне предлагали спастись с наступлением ночи через крышу. Но я прошел среди них днем под руку с одной молодой особой, идя самым спокойным шагом. Когда настала ночь, я отправился к большому бассейну в Люксембургском саду; там меня ждали два друга, которые должны были отвести меня к одной даме по соседству. Мы никого не застали дома, и я очутился на мостовой. Один из моих спутников расплакался; я своим смехом осушил его слезы. Берем извозчика, и я отправляюсь искать прибежища в недрах квартала Марэ. Прибыв на Гревскую площадь, хочется посмотреть на фонарь, намеченный для меня два дня тому назад, и я прошел под этим фонарем. Добираемся до улицы Перль; у нового моего хозяина гости, среди которых одно лицо мне несколько знакомо. Чтобы сбить с толку любопытных, надо было притвориться веселым, и веселье пришло само собой. После пятнадцатиминутного разговора я на ухо спрашиваю у хозяина, уверен ли он в такой-то личности. «Как в себе самом». — Отлично», — и я продолжал разговор. Я поужинал и отправился спать. Посреди ночи перед моими окнами останавливается отряд конницы. Я вскакиваю, приоткрываю окно. Вижу, никто не спешил; я преспокойно опять иду спать до завтра, когда надо было ретироваться.

Когда Марат кончил, Робеспьер и Демулен все еще смеялись. Якобинцы и суровые вожди революционной Франции были уверены в чистоте своего дела. Они без боязни смотрели в будущее и легко переносили трудное настоящее.

— Однако, — сказал Марат, — ты, Робеспьер, давно хотел показать мне речь Барнава и твои споры, закончившиеся позорным декретом по предложению аббата Мори.

Робеспьер порылся в бумагах и подал Марату документы.

«16 мая 1791 года Барнав говорил так:

— Нас обвиняют в том, что мы напрасно отнимаем время у Собрания ссорами по вопросам самолюбия. Комитет не изменил своего предложения. Он не должен был отказываться от тех мер, которые вначале считал необходимым ввести. Изменения стали вноситься нашими противниками. Мера, предлагаемая г.Рейбелем, абсолютно противоречит вчерашнему декрету. Вы постановили ставить на обсуждение статью г. Мерлена, а сегодня вам предлагают признать права цветных людей и свободных негров: это значит противоречить вчерашнему декрету. Это предложение к тому же совершенно недопустимо. Вы признали, что колонии являются настолько необходимыми для государства, что издали третьего дня особый декрет относительно них; захотев достигнуть цели, хорошо захотеть использовать все средства. Это средство должно быть посредником между гражданами и свободными людьми, и это посредничество должно быть провозглашено по поводу предложения колоний. Я считаю, что если Собрание вынесет решение, соответствующее сделанному предложению, несмотря на обещанную инициативу, оно не должно ожидать от него никакого спасительного результата. Я сказал, что белые владельцы благосклонно относятся к людям цветной кожи; но они дорожат обещанной им вами инициативой, и отнять ее у них — значило бы затушевать в их душах добрые чувства. Следует сильно опасаться того, чтобы не был принят декрет, уничтожающий эту инициативу. Верно то, что наибольшее влияние правительства не остановит того эффекта, который произведет в сердцах мелкопоместных белых неожиданный декрет. Это приостановит доброе отношение к цветным людям и вызовет отчуждение к некоторым из них. Один из выступавших, лучше всего говоривший по этому поводу, совершил одну фактическую ошибку: он высказался за то, что ваш декрет будет гибельным для белых. Я же вам говорю, что он не будет приведен в исполнение, что недостаточно средств для ниспровержения правительства и царящего брожения... (Голос с левой стороны... ужас отчаяния.) Ваш декрет разрушит доверие, которое является единственным длительным связующим звеном, могущим нам сохранить колонии, возбудит зависть, уничтожит нити благодарности, связывающие освобожденных людей с белыми.

Вот куда должен привести путь, начертанный комитетами. Предоставить колониальным собраниям инициативу в отдельности — значит подвергнуть их наплыву чувств опасения и недоверия: ни одно из них не захочет, чтобы его упрекнули за высказанное желание, которое принудило бы остальных последовать за ним; никто не захотел бы проявить себя подобным образом около мелкопоместных белых. Они будут принуждены высказываться при наличии массы предрассудков, и это снизит степень благосклонности и справедливости по отношению к цветным людям, в то время как малочисленный комитет, который мы предлагаем организовать в Сен-Мартине, будет свободен от всех этих недостатков. Я прошу, чтобы приоритет был предоставлен предложению, которое Собрание большинством голосов постановило вчера вынести на обсуждение, и я хочу внести в него две поправки, которые сделают его тождественным предложению комитетов.

Г-н Робеспьер: Во время прений было высказано достаточно возражений тому, что говорилось здесь, г.Барнав. Что касается декрета, который, как он уверяет, был утвержден вчера, я замечу, что ставить какую-нибудь статью на обсуждение — не значит принять ее. Он убеждает нас в том, что, уже декретировав однажды рабство, мы, или, вернее, вы, не должны затрудняться ни перед чем остальным. Но было ли совершенно свободно произнесено вами это слово «рабство»? Ведь, вероятно, легко узнать тех, кто привел вас к этой жестокой крайности? Если вы приняли декрет, мысль о котором колонисты не посмели бы предложить шесть месяцев тому назад, то кажется странным, что вы ценою такой жертвы хотите сохранить принцип свободы по отношению к тем, кого вы сочли свободными. Что касается меня, то я чувствую, что я здесь для того, чтобы защищать права людей; я не могу согласиться ни на какие поправки и прошу, чтобы принцип был принят в целом.

Г-н Робеспьер спускается с трибуны среди повторяющихся аплодисментов левой стороны и всех трибун.

Г-н аббат Мори появляется на трибуне. Прения закрываются. Правая сторона и несколько членов левой просят поставить вопрос относительно редакции, предложенной г.Рейбелем. Вопрос откладывается.

Некоторые члены правой партии высказываются относительно сомнительности текста.

Г-н Робеспьер. Я настаиваю на том, чтобы был принят принцип.

По предложению г.Робеспьера Собрание переходит к порядку дня.

Г-н аббат Мори. Предосторожность, которой должен действовать законодатель для поддержания справедливости и добрых нравов, побуждает меня предложить вам маленькую поправку, то есть сказать: «Национальное собрание декретирует, что оно никогда не будет ставить вопроса о состоянии цветных людей, которые не рождены от свободных отца и матери и не могут доказать законности своего рождения».

Никто не хотел бесконечно лишать цветных людей политических прав, но хотели привести к этому совершенно спокойно, с тем чтобы белые колонисты указали, какие предосторожности следует принять в данном случае. Вам не сказали, что свободные негры достойны большего интереса, чем цветные люди; они заслужили освобождение своей службой, в то время как цветные люди зачастую обязаны своим существованием самой постыдной проституции. Те законодатели, которые почувствуют необходимость защищать общественную нравственность, конечно, не будут приравнивать ублюдка к законному ребенку. Итак, я прав, когда прошу, чтобы цветные люди доказали законность своего рождения, дабы получить доступ к политическим правам; я не прошу для них ограничений, но я хочу, чтобы, когда они встанут в ряды администраторов, можно было бы им сказать: вы находитесь в стране, где рабство для цветных людей законно, а свобода является исключением. Вы хотите принимать участие в политических правах, дайте докончить нам... (Шум; просьба приступить к голосованию.) Я прошу вас не делать меня ответственным за ваши законы, не я их создал; вы имеете право сказать человеку, который носит еще на своем лице печать рабства (Несколько голосов: «Это отвратительно!»). — «К голосованию! Прения закрыты!»)... и который претендует на самый прекрасный титул, титул гражданина: вы хотите быть гражданином, не будучи свободным, мы вас не можем признать таковым — докажите нам, что вы были освобождены... (Его прерывают — просьба перейти к голосованию.) Я делаю это замечание потому, что в колониях имеется множество несчастных, которые, будучи рождены от белых и негритянок, легко добились свободы, но которые, будучи брошены на произвол судьбы своими отцами, превратились в авантюристов. (Просьбы перейти к голосованию.) Г-н Гупиль. Прося поставить вопрос о поправках, я предлагаю еще следующее добавление: «Свободные цветные люди, рожденные от свободных, а не отпущенных на свободу отца и матери».

Г-н Редере. Я прошу поставить вопрос обо всех поправках.

Запрошенное Собрание решает не пускаться в прения по поводу поправок.

Г-н Вирье. Это грабительский декрет...

(Несколько голосов: «К порядку, к порядку!») Гг. Моналазье, Дейпремениль, Делонэ, Малуэ, Клермон-Тоннер и др. возражают громкими криками и обступают кафедру, среди которой возвышается бюст Мирабо-старшего, преподнесенный Собранию на заседании, имевшем место третьего дня. Правая партия долгое время пребывает в сильном волнении.

Председатель. Усомнившись относительно текста, я не предложил его на утверждение два дня тому назад... (Гг. Малуэ, Делонэ и большая часть правой партии: «Мы просим общего голосования».) Но теперь, когда мои сомнения разрешены, я высказываюсь...

Г-н Фуко. Приняли ли вы вчера во внимание мое заявление? Были ли равноценны прения? Отвечайте.

Председатель. Мое вчерашнее поведение противопоставляется сегодняшнему... (Правая сторона: «Да, да!») Вчера и я и бюро колебались, сегодня этих колебаний уже нет... (Поднимаются сильные крики в правой партии.) Г-н Фуко. Эти господа замолчат, если вы ответите на мой вопрос...

Председатель. Некоторые члены, голосовавшие против декрета, удостоверяют, что все сомнения исчерпаны. Я хочу запросить Собрание.

(Большая часть собрания подтверждает, что сомнения исчерпаны).

Г-н Фуко. Я прошу, чтобы было отмечено то обстоятельство, что нами были приложены все усилия, чтобы спасти колонии. (Большая часть правой стороны встает, чтобы присоединиться к этой просьбе.) Статья, предложенная г.Рейбелем, ставится на голосование.

Вынесено следующее постановление:

«Национальное собрание декретирует, что оно никогда не будет ставить вопроса о состоянии цветных людей, не рожденных от свободных отца и матери, не будучи побуждаемо к тому свободным и самостоятельным желанием колоний, что ныне существующие колониальные собрания будут существовать и дальше, но что цветные люди, рожденные от свободных отцов и матерей, будут допущены во все будущие приходские и колониальные собрания, если, впрочем, они отличаются требуемыми качествами».

(Зал оглашается аплодисментами.) Г-н Мурине. Я предлагаю проголосовать вопрос поименно. (Большая часть членов правой стороны спускается на середину залы и в волнении требует поименного голосования).

Собрание большинством голосов постановляет к поименному голосованию не прибегать.

Заседание закрывается в два с половиной часа посреди повторных аплодисментов всех трибун».

— Тут нет ничего для меня неожиданного, — сказал Марат. — Я всегда считал Барнава двоедушным, он еще себя покажет. Однако стало совершенно темно. Давайте закроем окна, зажжем свет.

Началась гроза, река потемнела. Народные трибуны, как на бивуаке, зажгли свечи. Трое сидели на деревянных скамьях, у некрашеного покосившегося стола. Груды привезенных бумаг лежали вокруг; тени, бросаемые на стены, колебались, ломались по углам, так как ветер, проникающий в щели ветхой рыбацкой лачуги, превращал пламя шандалов в длинные горизонтальные огненные веретена. Марат по обыкновению жестикулировал и говорил горячо. Камилл Демулен смотрел на него большими грустными красивыми глазами. Его треугольная шляпа была похожа на корабль под бурей, когда свеча отбрасывала ее тень на простенок между двумя косыми окнами. Робеспьер казался сутулым от воротника из серого бархата, вздымавшегося над серым камзолом; чернели запонки его белого жабо, манжеты запачкались на грязном столе; он носил на лице печать усталости. Молния прорезала наступившую темноту. Сквозь ставни, вырезанные сердечком, Робеспьер увидел разъяренную Сену и в отдалении большую черную лодку с двумя гребцами. Мгновенно свет бьет погашен. Пистолеты Марата, кинжал Робеспьера, трость со шпагой внутри — Камилла Демулена — все было выложено на стол в наступившей темноте.

Прошли томительные четверть часа. Робеспьер сказал:

— Очевидно, это мимо острова. Это не лодка, это целая шаланда. Лоран Басе, очевидно, не придет.

Раздался знакомый пятикратный стук в дверь, и все опасения исчезли. Застучало огниво, загорелись свечи. Лоран Басе с тяжелой корзиной вошел в лачугу, придерживая дверь ногой. За ним вошла женщина. Это была Симонна Эввар. В домашнем белом чепчике с кружевами, в широкой юбке с кружевной пелериной, крест-накрест подоткнутой под передник, белокурая, с веснушками на носу, голубоглазая, она щурила глаза, попав в светлую комнату, и безмолвно, спокойно и приветливо улыбалась Марату. Робеспьер и Демулен приветствовали ее. Она спокойно подошла к столу и, расставляя приборы, сказала:

— Вы хорошо сделали, что покинули Париж. После вчерашней бойни волнение продолжается. На этот раз все, и даже гражданин Демулен, сделались предметом особого внимания Лафайета. Маркиз кричал о необходимости растоптать лошадьми всех якобинцев. Друга народа ищут по всему Парижу уже давно. Что касается вас, гражданин Робеспьер, то ваш квартирохозяин, гражданин Морис Дюпле, просит вас не беспокоиться, к нему никто не заглядывал, но в прежней вашей квартире перерыто все сверху донизу. Мадемуазель Шарлотта, ваша сестра, и мадемуазель Елизавета по-прежнему ссорятся. Мадемуазель Шарлотта кричит о том, что вы пропали и не вернетесь вовсе.

— А мадемуазель Елизавета Дюпле кричит вашей сестрице, что она знает господина Максимилиана Робеспьера не хуже родной сестры, — выпалил залпом Лоран Басе.

Робеспьер махнул рукой. Он выпил стакан красного вина и стал есть печеные яйца с хлебом, обильно посыпая ломоть серого хлеба резаным луком. Марат осторожно отщипывал кусочки хлеба и, посмеиваясь, смотрел в глаза Симонне Эввар.

Его подруга не обнаруживала ни суетливости, ни болтливости; спокойная легкость, уверенность и округлость движений резко противоречили беспокойному образу жизни, который выпал на ее долю с того дня, как она соединила свою жизнь с жизнью Друга народа. Когда говорил Марат, она смотрела на него внимательно и спокойно. Ее понимание сказывалось в улыбке, озаряющей ее глаза, спокойные и ясные; легкость движений и большая уверенность говорили о твердой и бесповоротной воле и полном отсутствии каких бы то ни было сомнений в раз принятом пути, и этот путь был один — общий с Другом народа и с ее другом, Маратом. Она была дочерью французского народа, она была дочерью парижского предместья, той деревеньки, которая вот-вот будет поглощена Парижем в тот день, когда город выплеснет свои стройки и дома, свои улицы и переулки за пределы окружающих его стен. Она была парижанкой со всем героическим напряжением страстной воли к свободе, она была простолюдинкой со всей простотой большого и цельного сердца. Беспокойные одинокие ночи, недели, когда Друг народа скрывался, не давая о себе вестей, не казались ей тягостными. Ни одного упрека за трудную жизнь, которая выпала ей на долю, ни разу не сорвалось с ее уст, и пальцы с одинаковой легкостью и безропотностью штопали рваную одежду Друга народа и по ночам правили корректуры листов, из которых каждый мог стоять ей жизни и свободы. Она легко и незаметно, смешиваясь с девушками Пале-Рояля, проходила мимо условных углов зданий, где на фундаменте, на цоколе нужно было сделать мелом отметки, которые тысяченогой почтой Марата передавались ему буквально в несколько минут. Марат привык к ее молчаливости. Чем дольше они жили вместе, тем меньше они говорили, чем больше воздуха одной и той же комнаты вдыхали они общим вздохом, тем легче, тоньше и воздушной становились их взаимоотношения. Помогая и становясь друг другу необходимыми как воздух, они почти не нуждались в словах. Суровость и простота героических будней Якобинского клуба не казались ей тягостными, и, смотря на жизнь ясными и простыми глазами, она никогда не считала эту жизнь обещанием какого-то праздника. Она счастлива была в этих бурях, в тысяче волнений, в бессонных ночах, днях,

неделях беспокойных скитаний по кипящему, взволнованному, клокочущему Парижу.

Утолив голод, Робеспьер сказал, отвечая на собственные мысли:

— Барнав не страшен, страшен Бриссо, ибо что может быть страшнее, как остановиться на полдороге, ведя за собой народ? Нация,веряющая свою жизнь неполноценному врачу, может испустить дух в минуту его хирургических колебаний. Мне отвратителен Бриссо, мне отвратительны всякие полумеры. Поверьте, друзья, пройдет полгода — они будут требовать войны для того, чтобы раздражить муравейник, и деспоты всей Европы кинутся для того, чтобы спасти шкуру одного Капета. О, только бы не было войны, и Франция найдет свой путь к свободе. Из наших якобинцев я боюсь только Виллара, Бонненкара и Дефье, — я думаю, что они шпионы короля. Из клуба Кордельеров я боюсь Дантона, хотя мы больше всего доверили ему. Что происходило вчера? Мне на всю жизнь запомнится это семнадцатое июля. Кордельеры наложили на алтарь свободы, построенный на Марсовом поле, свою петицию о республике. Мирно шли парижане, и что же сделал муниципалитет? Он послал национальных гвардейцев Лафайета, и в семь часов вечера началась гвардейская атака. Лафайетовские ряды бегом,стреляя беглым огнем по толпе, ворвались на Марсово поле, развернув впервые за все время революции красное знамя военного закона, под которым королевские офицеры вели войска для подавления мятежей. Пусть не торопятся, — будет время, красное знамя окажется у нас в руках. Сантер-пивовар наварит им пива. Две тысячи санкюлотов, вооруженных пиками, пассивные граждане Сент-Антуанского предместья, все требуют низвержения монархии и установления республики, а я требую суда над королем. Но я презираю этого Бриссо, он может нам все испортить, как чиновник, желающий выполнить дело только наполовину.

Симонна Эввар тихо сказала:

— Я удивляюсь, как вы вчера уцелели. Сегодня перед вечером уже расклеен декрет, закрывающий ваши газеты. Муниципалитет угрожает вам террором.

Марат засмеялся:

— Проследите-ка за Национальным собранием! Я думаю, что нам сейчас лучше всего вернуться в Париж! Пусть ухищряется в поимке Лафайет, но помните, что Национальное собрание становится активным после такого народного волнения, оно даже может издавать хорошие законы после мятежа. Давайте воспользуемся этим, ибо, как только наступит спокойствие в Париже, Национальное собрание снова приступит к изданию пагубных законов.

Пятеро собеседников замолкли. Лоран Басе ел громко, капли падали у него с полей мокрой шляпы, волосы прилипли ко лбу, и сквозь тонкую рубашку, промокшую насквозь, проглядывали загорелые плечи и волосатая грудь. Камилл Демулен набивал табаком трубку, сдувая при этом пепел, горкой высыпаемый из трубки на угол стола. Робеспьер говорил:

— Бриссо бегает по Парижу, разыскивает очаги мятежей, происшедших на Сан-Доминго и, как всегда, выступит с половинчатой речью, не называя имен, опасаясь сказать полную правду, замазывая, запутывая, маскируя события. Кажется, все ясно: до тех пор пока в колониях не будет свободного труда, свободных людей, Сан-Доминго и Гаити будут очагами кровавых восстаний и убийственных мятежей. О чем нужно поднять вопрос? О прекращении спекуляции, о продаже по твердым ценам сахара и кофе со складов таких биржевиков, как Дельбэ, Данкрэ, Баскари. Бриссо никогда не додумается до этого, он никогда не нащупает настоящего очага восстаний.

Незадолго до рассвета буря утихла, пятеро сели в лодку. Через три часа в разных местах из лодки выходили разные люди. На песчаном берегу около моста Ошанж Марат и Симонна Эввар вышли на песчаную отмель. Лоран Басе завел лодку в затон и последовал за ними.



## 6. ЛЕГИСЛАТИВА

Овца поедает тарантула. Бюффон.

Национальное собрание кончило свою работу 30 сентября 1791 года. Оно создало конституцию, сломившую французский феодализм и утвердившую колоссальное неравенство граждан по имуществу. Буржуазия, решившая созвать Законодательное собрание только активных граждан Франции, провела тот принцип, что никто из членов Конституанты не может быть избран в Законодательное собрание, осуществляющее конституцию. В Легислативу и Законодательное собрание сошлись 264 депутата от буржуазной аристократии, 345 депутатов центра, всегда голосующих с правыми фельянами, и 136 якобинцев, которые заняли левые скамьи и самые верхние трибуны — гору: торговые города Бордо, Марсель, так называемые депутаты Жиронды, взяли в руки смычок первой скрипки, им вторил центр, но иногда их голоса прерывались, когда на всю страну раздавались крики с вершушки, с горы, когда якобинцы, монтаньяры вдруг объявили себя врагами Жиронды.

Третьего декабря 1791 года около входа в Национальное собрание дежурили спешенные драгуны свободы. Зябнущие лошади дрожали; пританцовывая, позванивая шпорами, ходили взад и вперед кавалеристы, как вдруг из-за угла, среди огромной толпы народа выступила толпа матросов. Загорелые, с острыми глазами, они катились волной по улицам и рассыпались шпалерами около ворот. На тощих клячах, в экипажах, оставлявших длинные следы по талому снегу, въехали в ворота семнадцать человек, богато одетых, здоровых, упитанных.

Робеспьер с любопытством вглядывался в их лица; он шел в Законодательное собрание с билетом простого гостя, ему хотелось слышать речь господина Бриссо, обещавшую на сегодня «большой день», но его чрезвычайно удивили въехавшие экипажи. Вот кучера, приготавливающие большую синюю карточку, удостоверяющую право на вход.

Робеспьер всматривался в лица пассажиров. Вот знакомый конторщик господина Массиака, вот счетовод сахарного спекулянта Дельбэ, а вот и знакомый человек в шубе, отороченной мехом рыжей лисицы, остроносый, с черной повязкой, закрывающей левый глаз, с большой тростью с набалдашником из зеленого камня. А вот еще знакомый — это приказчик колониальной лавки на углу улицы Генего. А вот капитан какого-то океанского корабля со зверским лицом и рыжими баками, с трубкой такого размера, что, кажется, в нее можно опустить грудного младенца, и вот остальные люди с выпученными глазами угодливых клерков, чиновников для письма, бухгалтеров — холопов господских цифр, с песьим оскалом голодных ртов, злыми, холодными, недоверчивыми глазками — верных сторожей хозяйского сундука.

«Это зверинец, — думал Робеспьер. — Кто эти люди? Что это за торжественное шествие мастеров бухгалтерии и актеров счетоводного ремесла?»

Робеспьер занял свое место. Заседание уже шло. Какой-то неизвестный человек, стоя на кафедре, кричал:

— Господин Болдуин, директор королевской типографии, раздает депутатам бывшего Национального собрания огромные тома стенограмм напечатанных ин-кварти. Вполне понятен протест нашего Законодательного собрания против этого навязывания на шею нации расходов в тридцать пять тысяч семьсот шестьдесят ливров для бывших членов бывшего

Национального собрания. Я предлагаю остановить эту раздачу.

— Нет ли возражающих? — спрашивает председатель.

Среди шума ничего не слышно. Председатель звонит в колокольчик и кричит:

— В порядке дня отчет колониального комитета. Я спрашиваю собрание, не хочет ли оно теперь же заслушать депутатов из Сен-Мало, приехавших сюда, чтобы говорить на ту же тему?

Робеспьер смотрит. Собрание решает заслушать депутатов немедленно.

«Ах, вот это кто! — подумал Робеспьер. — Как, эти приказчики колониальных магнатов, как, эти счетоводы сделались внезапно делегатами Сен-Мало? Еще немного, и они, пожалуй, превратятся в делегатов с острова Гаити».

Сзади послышался голос:

— Теперь понятно, почему нет сахара. До тех пор, пока не перережут всех негров и мулатов, восстания не прекратятся в колониях. До тех пор, пока колонии в агонии мятежа, Париж будет голодать.

Ему ответил второй голос:

— Если уничтожить рабов, то господа совсем перестанут доставлять сахар,

— кто же будет убирать плантажи?

Рядом с трибуной садятся депутаты из Сен-Мало. Человек с повязкой на глазу, споткнувшись, поднимается на кафедру.

— Входишь, словно на эшафот, — сказал он довольно громко, обращаясь к своим, сидевшим на скамьях.

— Практикуйся перед растратой! — крикнул ему один из бухгалтеров.

Человек с черной повязкой на глазу начал:

— Граждане, вам представлен вчера от господ комиссаров Генерального собрания Франции, партии Сан-Доминго, документ, рисующий картину ужасающей нищеты. Вы обрушились на эту часть французского владычества. Причина этих пожаров существует и поныне. Вам, сидящим здесь, во Франции, известны имена тех, что участвует в мятеже, чтобы уничтожить повсюду на земном шаре основу всякой власти. Говорю вам, что северная часть Сан-Доминго сплошь облита кровью белых и черных. В Париже есть друзья чернокожих, и если бы усилия этих друзей увенчались успехом, если бы им удалось осуществить свои пожелания, то мы снова увидели бы возобновление кровавых сцен людоедства. Предшествующее Национальное собрание поставило колонии и их владения под национальную охрану. Увы, это обещание нам не поможет. В настоящее время комиссары колонии прибегают к вам, просят вашей защиты и помощи от страшных бедствий и ужасов. Здесь сидят граждане из французского порта Сен-Мало. В нем разгружаются колониальные грузы, отсюда везут в Париж сахар и кофе. Граждане Сен-Мало не соблазнились ложной филантропией, они совсем далеки от абстракции лживой философии. В границах колонии эти граждане Сен-Мало видят людей, имеющих большое имущество и индустриальный талант. Граждане Сен-Мало знают господ офицеров, генералов и лейтенантов, стоящих, у власти в колониях. Граждане Сен-Мало уверяют вас, что они ручаются за этих людей, — французские военные власти отличаются справедливостью и оберегают интересы хозяев-колонистов. Помните, граждане, что шесть миллионов французов существуют, кормятся и дышат только благодаря

тому, что колониальные хозяева владеют своими плантациями, но не пеняйте, если эти шесть миллионов погибнут согласно позорному желанию, которое выразило ваше Национальное собрание.

— Что?» что? — раздались голоса. Шум и крики прервали оратора. Кто-то вскочил с места, выставив ноги вперед, встал на спинку нижнего кресла; кто-то высоко поднял руку вперед и машет красным колпаком.

Робеспьер узнал их: это Лекуантр, Пюираво. Они кричат:

— Остановите грубияна, это обвинение ложно, это клевета против Собрания! Если кто ищет у нас потерянных доходов, то, конечно, найдутся люди, готовые их слушать, — так заткните им глотки. Представители нации, вы покушаетесь на собственную честь, если дальше будете слушать колониальных истцов и клеветников.

На левой встает Лякруа. Показывая на звонок председателя, он кричит:

— Не звоните, призовите лучше к порядку и уважению истцов. Если они хотят, чтобы Законодательное собрание их слушало, не разрешайте им говорить иначе.

Человек с черной повязкой на глазу скалит зубы, грозно смотрит одним глазом по скамьям вверх. Председатель делает разочарованный жест, разводит руками и обращается к нему с каким-то выговором. Счетоводы, бухгалтеры, капитаны кораблей вскакивают с мест и кричат, пока, наконец, голос одного оратора не выделяется ясно:

— С Францией покончено, вы виноваты в том, что разразился ужасный крах со всевозможными последствиями. Вы распустили рабов.

Тут его снова прервали. Всеобщий ропот.

— Мы требуем самого необходимого, — вдруг загудел он, покрывая негодующие голоса депутатов, — мы требуем водворения мира в Сан-Доминго, мы требуем введения большой вооруженной силы, способной водворить спокойствие железом и кровью. Если Франция — наша родина — не придет на помощь хозяевам плантаций, то колонии будут разорены.

Законодательное собрание затихло. Человек с черной повязкой на глазу, учитывая момент, вдруг переменяет тон. Обстоятельно и сладко он произнес:

— Ваша мудрость продиктует те средства, которые предохранят французские колонии от разорения. Что касается нас, то мы обязуемся поддерживать те меры, которые вы сочтете необходимым предпринять.

Председатель встает с жестом, не лишенным патетики. Он произносит формулу, определяющую поведение собрания. Среди затихающего шума раздается его голос:

Законодательное собрание заслушало с самым горестным интересом повествования о несчастиях, поразивших наши колонии. Каково бы ни было расстояние, отделяющее Францию, каковы бы ни были океаны между нами и колонистами отдаленных островов, Законодательное собрание с непоколебимым усердием и мужеством предпримет все, чтобы помочь Несчастливым.

— Не слишком ли большие посулы? — крикнул Робеспьер.

Председатель не обратил внимания на этот крик, но отступил шаг назад и добавил:

— Только Законодательное собрание проницательным взглядом сумеет отыскать источник происшедших зол и несчастий.

Затем, сделав небольшую ораторскую паузу, он произнес:

— Собрание приглашает всех граждан, делегатов Сен-Мало, участвовать в заседании.

Раздаются аплодисменты, и вдруг на трибуне появляется не кто иной, как сам господин Массиак. Прерывающимся, охрипшим голосом он кричит:

— Вы заслушали истцов и уголовного прокурора в лице этих бесстрастных и доблестных офицеров, вы заслушали уполномоченных комиссаров от всех комиссаров колоний, и если вы хотите соблюдать ваш долг перед богом и людьми, то ускорьте решение всех вопросов, связанных с судьбой несчастных колонистов, докажите же этим умоляющим вас душам, что Франция не намеревается покинуть их в постигшей беде, что восстание рабов не будет покрыто еще большим преступлением — равнодушием метрополии к колониям-кормилицам. Я знаю твердо, что в этом городе, что в столице Франции... — голос Массиака сорвался: по рядам собрания пошел ропот. Массиак закончил: — ...я знаю, что в этом городе существует некий очаг клеветы, злодейства и бунта.

Массиак быстро сошел с трибуны. Слова его были настолько резки, а голос настолько сиплым, появление следующего оратора — настолько быстрым, что собрание не успело реагировать, тем более что Лякруа, громовым басом произнеся одну фразу, всех призвал к порядку.

— Я предлагаю, чтобы Законодательное собрание, отложив все остальные дела, посвятило внимание вопросу о колониях.

На трибуне появляется господин Верньо.

«Однако, — подумал Робеспьер, — Жиронда сыплет ораторами, как горохом. Какие бойкие люди, какие самонадеянные голоса!»

Верньо говорил:

— Невозможно допустить, чтобы колониальные комитеты делали сегодня свои отчеты Законодательному собранию. Граждане комиссары из Сан-Доминго вчера вечером читали вам свою длинную петицию, и в комитете возникла совершенно ненужная и лишняя работа, которая задержит представление полного отчета. Вместо того чтобы комитету говорить о принципах основанных колоний, ему приходится разбираться в бумагах, доставленных в большом количестве в комитет от колоний. Сведения приходят со всех сторон, и даже мне сейчас вручили индивидуальные петиции, имеющие, по-видимому, также какое-то отношение к колониатам.

Верньо зачитал несколько писем от пассажиров французских кораблей, прибывших из города Капа, с острова Гаити пароходами. Во Франции они были подвергнуты карантину, арестованы и схвачены по подозрению в принадлежности к мятежной организации колоний. Эти пассажиры океанских кораблей спрашивают: где же хуже, в революционном Бресте или на обломках Капа, охваченного пожаром восстаний?

Скомкав последнюю фразу, Верньо сошел с трибуны, и вот появился главный враг Робеспьера. Гражданин Бриссо, подслеповатый, сутулый, входит на трибуну с таким видом, как будто он родился государственным деятелем и законодателем.

«Вот герои нынешней политики», — подумал Робеспьер и крикнул с места:

— Бриссо, почему продаешь облигации Северо-Американских Штатов?

Бриссо не ответил, — победители великодушны. Он с видом спокойного достоинства начал свою речь:

— Я дал торжественное обещание к первому декабря найти и выдать вам зачинщиков мятежа в колониях. Граждане, я исполнил свое обещание...

Красноречивая пауза, Собрание затаило дух. Бриссо ораторски воспользовался этой паузой и, для того чтобы еще более напрячь внимание депутатов, кокетливо произнес:

— Я готов говорить, я спрашиваю Собрание, хочет ли оно меня слушать?

Аплодисменты были ему ответом.

Но заряд пропал даром. Председатель получил записку и, встав рядом с Бриссо, словно закрывая ему глотку ладонью, заявил Собранию:

— Поступило предложение отсрочить на десять дней обсуждение колониальных в опросов...

И опять сбоку вклинилась голова Массиака: не прося слова, он кричал петушком:

— Я имею честь уверить вас, милостивые государи...

При словах «милостивые государи» ропот пронесся по Собранию.

— Господа... граждане, — поправился Массиак, — я имею честь уверить вас, что отчет колониального комитета представляет собой тяжелую, длительную работу, что всякий доклад перед этим отчетом комитета будет умело обдуманым докладом. Я прошу вас, я умоляю вас во имя интересов Франции, чтобы вы уполномочили добиться у морского министра расследования, разыскали факты в официальных донесениях, которые скопились у него за время страшных мятежей и буйств цветнокожих колоний.

Гаран-Кулон, обменявшись знаками с Массиаком, добавил, несмотря на то, что колокольчик председателя готов был призвать непрошенных ораторов к порядку.

— Я не возражаю против какой бы то ни было отсрочки. Сведения, полученные комитетом колоний, сильно расшатали его работу. Конституанта издала декрет о правах цветнокожих такого сорта, что если в разных местах острова вздумают осуществить этот декрет, то ежеминутно может вспыхнуть новый пожар в колониях, — поэтому во всех работах Учредительного собрания мы категорически требуем, в целях предотвращения новых беспорядков, как можно скорее декретировать защиту колонистов. Ваша мудрость, граждане, должна подсказать вам содержание этого декрета.

— Довольно прений, — закричал Верньо, — довольно споров, мы хотим слушать Бриссо!

Собрание настораживается, депутаты садятся поудобнее, Бриссо начинает речь.

— Ужасные события повергли Сан-Доминго в отчаяние. Внезапно, как кровавая гроза, разразились восстания черных людей, самые страшные и самые грандиозные, какие только видел когда-либо мир. Медленные и неправильные меры предосторожности повели к тому, что раскол на два лагеря упрочился, мятежники росли в количестве, и в конце концов, ввиду неизбежной опасности, французские хозяева Сан-Доминго, увы, обратились за помощью к иностранным войскам, и после нескольких сражений, — которые, правда, в Европе были бы названы скорее перестрелкой, — те, кого вы считаете виновными, были принуждены просить пощады, и было восстановлено сомнительное спокойствие. Но при этом было разгромлено огромное количество сахарных и кофейных складов, убито или повешено от пяти до шести тысяч негров, перерезано от пятисот до шестисот белых. Печальны результаты, ужасное несчастье, отклик которых отзывается на балансе торговли и на частных состояниях. Я хочу найти источник этого зла, найти его причину и выдать его зачинщиков.

После первых трех лет составления и аннулирования декретов и противоречивых отчетов

положение наших островов оставалось еще неизвестным; это объясняется тем, что секрет был в руках людей, державших нити всех заговоров. Наконец, будет выявлена истина. Вместе с Ювеналом я скажу: пусть бледнеют те, души которых оледенели при воспоминании о стольких преступлениях. Но здесь вы не увидите оттенка партийности. Законодатель не должен брать за основу ссоры индивидуумов. Законодатель, подобно божееству, может быть оскорбляем в своем святилище, но, подобно божееству, он должен презирать оскорбления и мстить за них, продолжая делать добро. Следует, наконец, разорвать покров и сказать, что это было не только восстание черных, но также и восстание

белых, которых следует наказать, белых, которые, желая стать независимыми, одновременно желали освободить себя и от законов равенств

а, противоречащих их гордости, и от

долгов, мешавших их пристрастию к развлечениям, — вот что следует доказать.

Население Сан-Доминго состоит из четырех классов индивидуумов: белых колонистов, мелкопоместных белых, цветных людей и рабов. Белые колонисты представляют собой людей двух родов: не имеющих долгов, потому что они сумели внести порядок в свои дела, привязаны к Франции и любят цветных людей, которых они считают опорой колонии; колонистов-расточителей, ведущих рассеянный и непроизводительный образ жизни, которые не любят ни французских законов, ни цветных людей. Они не любят французские законы, потому что режиму свободы не известны просрочки векселей и всевозможные отсрочки. Они не любят цветных людей, потому что последние, не имея долгов и регулярно ведя свои дела, захотят выполнения законов. Таким образом, враги цветных людей оказываются также врагами нашей конституции, несмотря на то, что равенство не является ее базой; но, опрокинув деспотизм всякого рода, она все же сохранила деспотизм белой кожи. Этот род белых колонистов, желая продлить тиранию и избавиться от долгов, направлял колонии по пути к независимой аристократии. Хотите ли сразу узнать этих людей? Вот слова одного из них, обращенные к королю: «Государь, ваш двор полон креолами».

Он был прав; между ними и придворными существовало родство порока, аристократизма и деспотизма. (Аплодисменты.) Этот класс колонистов имеет очень сильное влияние на мелкопоместных белых, которые являются пасынками Европы и которые все свои надежды полагают на грабежи владений цветных людей. Цветные люди, требования которых внушают такой интерес, являются людьми, рожденными от белых и африканок. Они составляют собой третье сословие колоний. Этот полезный и трудолюбивый класс людей состоит из владельцев и ремесленников; они являются друзьями порядка и законов и желают жить под их властью, потому что проявление законной власти не ощущается людьми, руководимыми чистыми побуждениями.

Последним классом является класс рабов. Я не буду рисовать вам двойную степень рабства и жестокости. Услышав заколдованное слово «свобода», негр ощутил волнение, так как сердце черного также бьется для свободы. (Аплодисменты.) Что же произошло? Рабы спокойно остались в оковах, и они не пытались бы их разорвать без вмешательства ужасных людей, которых вы научитесь узнавать. Владельцы и богатые люди, желавшие получить хорошее колониальное правительство, предпочли мятеж контрреволюции. Цветные люди, пламеневшие справедливой надеждой к догмату равенства, с любовью думали о революционной Франции. Напротив того, колонисты-расточители отвергли ее. Эти люди, которые, как мы видели, служили слугами двору и вместе с тем народу, брали, оставляли, снова брали знаки деспотизма и национальных цветов.

При известии о революции администрация Сан-Доминго возбудила преследование против цветных людей и вызвала недовольство военных. На Мартинике поступили более умело: все классы были одновременно восстановлены друг против Друга, и контрреволюция произошла

при помощи соблазненных и введенных в заблуждение мулатов. В Сан-Доминго ею руководили белые. На Мартинике они служили только орудием борьбы.

Повсеместно необузданное население состояло на службе только колонистов-расточителей, ибо честные люди никого не покупали и не нанимали. Они деньгами колоний оплачивали свои мнимопатриотические отряды, так что каждому человеку приходилось по восемь франков и семь су. Понятно, каким образом этой партии удалось, несмотря на свою немногочисленность, покорить города, господствовавшие над деревнями.

Они покоряли города при посредстве штыков, состоявших у них на жалованье. Такова партия, которой мы должны приписать несчастья колоний. Контрреволюционеры Франции действовали с ней заодно. Одни хотели вырвать колонии из рук Франции, другие мечтали отнять их у революции; каждый толкал друг друга на восстание, потому что беспорядки были целью как одних, так и других.

Третьим проектом был проект независимости. Некоторые хотели отделиться от метрополии; этому должно было благоприятствовать восстание негров. Они стремились к независимой тирании, потому что тирания составляла их радость и потому что независимость могла погасить их долги. Я могу подтвердить эти предположения фактами. «Сан-Доминго никогда не был покорен, никогда не был приобретен, некогда был независим... Сан-Доминго самостоятелен; его зря называют колонией, — он представляет собой настоящее государство...»

Таковы выражения, которые можно найти во всех документах, опубликованных той нелегальной депутацией, которая предстала перед Генеральными штатами и которая еще более нелегальным образом руководила действиями Национального собрания в отношении к колониям. Последите за их поведением в ту эпоху. В письме от двенадцатого августа тысяча семьсот восемьдесят девятого года, послужившем началом всем смутам, один из них писал: «Здесь все пьяны свободой; следует привязать цветных людей»; словом «привязать» он хотел сказать «заковать». Из центра Парижа эти депутаты диктовали смертные приговоры, которые тщательно выполнялись комитетами, составившимися в колониях. Они советовали не допускать во Францию въезда ни одного из цветных людей, открывать и просматривать их корреспонденцию.

Руководясь все тем же духом независимости и опасаясь власти министерства, они восставали против того, чтобы в колонии были посланы войсковые отряды; они подбивали колонистов препятствовать их высадке, если бы таковые прибыли. Преследуя одну и ту же систему, они советовали министерству дать цветным людям титул граждан их владений, боясь, как бы иначе министерство не приблизило их к себе. «Если для них можно сделать какое-либо добро, то надо, чтобы это добро было сделано через нас», — говорили они. Если тайная цель независимости возбудила какие-либо сомнения, то было бы достаточно вспомнить все прежние их попытки. Они советуют комитетам и колониальным собраниям по своему усмотрению менять конституцию, которая им будет дана. «Сделайте так, — писали они, — чтобы колониальные собрания получили большее влияние, нежели исполнительная власть». Наконец, они с коварной ловкостью организовали систему терроров, которой они запугивали Национальное собрание и которая порождала смуты, предсказывая их.

Надо ли вам напоминать о знаменитом декрете собрания в Сен-Марка двадцать восьмого марта тысяча семьсот девяностого года? Надо ли вам напоминать о схватках этих двух собраний, которые, будучи соперниками в заговоре против метрополии, имели совершенно различную судьбу? Одно из них было наказано и покинуто, другое получило похвалу и награду, потому что общим желанием было иметь одну партию и потому что большинство страдало болезнью статуй. (Аплодисменты.) Повсеместно колонисты грозили разрывом, говорили вслух о том, что они хотят общаться только с королем и что от Национального собрания они примут только торговые законы, которые могут войти в силу лишь после того,

как о них будет сообщено колониям. Таким образом, Франция могла истратить миллионы на поддержку и покровительство жадным и расточительным колонистам, которые, будучи жестокими и дерзкими господами, насмеялись над человечностью, унижая рабов. Они овладели бы вскоре даже их торговыми отношениями; они перенесли бы их туда, куда хотели, и этим лишили бы торговой и промышленной помощи те шесть миллионов французов, которых они как будто хотят приобщить к своей судьбе. Нет, никогда судьба свободной Франции не будет зависеть от колоний; она будет зависеть только от нее самой и только от самой Франции.

То же самое поведение проводилось на Мартинике, и граждане Моро де Сен-Мери и Диллон, избранные без голосования, то есть нелегально нелегальным собранием, не говорили Национальному собранию, что колония «не хотела никакого иного общения с королем, кроме того, которое могло бы обеспечить ей право „veto“, по выражению гражданина Дебух, президента колониального собрания.

Посмотрите на постановление этого собрания, которое открывает свои двери всем иностранцам. Посмотрите на этих колонистов, которые хотели обратить в пепел город святого Петра, чтобы похоронить под развалинами все акты метрополии. Нельзя не слышать этого концерта, который по последнему анализу всячески устремлялся к освобождению и независимости.

Декрет двенадцатого октября тысяча семьсот девяностого года застал колонии готовыми к вспышке. Существовавшая общественная сила мешала мятежникам. Ожидались новые солдаты, которых надеялись легко ввести в заблуждение. Патриотизма не существовало нигде — ни в собрании Сен-Марка, ни в сердцах Модюи и Пейнера, ни среди членов западного комитета. Независимые агитаторы на мгновение надели на себя его маску; батальоны Нормандии и Артуа были введены в заблуждение; Модюи потерял голову, собрание Сен-Марка снова завоевало большое влияние, и система независимости увеличила надежды и средства.

Декретом двенадцатого октября собрание Сен-Марка приносилось в жертву мелкой мести, а цветные люди — собранию Сен-Марка. Колониальный комитет полагал, что сможет двусмысленной речью послужить и нашим и вашим; ему не удалось удовлетворить ни одну из них. Наконец, декрет пятнадцатого мая тысяча семьсот девяносто первого года дал права активных граждан цветным людям. В неистовом злопамятстве колонисты обратились к Англии и ее судам с призывом напасть на наши острова; одни из них отправились в Лондон, другие поехали в колонии и проявили в наших портах горячность, превосходившую всякие ожидания. Депутаты Национального собрания воздерживались от посещения его заседаний, и подписанное ими письмо представляло собой акт разрыва. Сам колониальный комитет заявил, что он приостанавливает свои действия, но он сохранил свое опасное, парализующее влияние на министерство. Министр и руководимая им партия сочли, что сделали достаточно, послав на острова «Почтальона из Кале», в то время как туда отправлялись огромные грузы всевозможного рода пасквилей, агитирующих за разрыв.

Один великодушный мулат некоторое время проживал с товарищами из-за океана во Франции, где колонисты следили за всеми их поступками. Выданный ими капскому комитету, он бежал в тот момент, когда был произнесен его смертный приговор; он уехал, чтобы просветить своих братьев, о несчастиях которых он узнал, когда вышел с корабля в испанской части Сан-Доминго. Там он присоединился к небольшой воинской части негров и мулатов-повстанцев; он написал генералу, что будет уважать мир, если будет выполняться закон. Это письмо было принято за объявление войны; его принялись преследовать, он искал убежища у испанцев, и испанцы выдали его палачам. Этот блистательный и великодушный мулат вам известен. Имя его Винсент Оже! (На скамьях волнение. Возгласы: «Как? Оже! Он?») Отвратительный приговор объявляет Оже и его сообщников виновными в воровстве, грабежах и пожарах; ведь необходимо вменить преступления тому, кого хотят умертвить



мечом справедливости. Оже умер мучеником за свободу и законы, ибо все было для него человечностью, справедливостью, декретом.

Конкордат отомстил за него, позор более не пятнает его святого имени; пусть же он навсегда запятнает имена его тиранов! (Аплодисменты.) Все мулаты должны были испытывать чувство самого живого отвращения, их ярость предвидели; с ними стали обращаться все хуже и хуже, их обезоружили, их сделали подлыми, низкими даже в глазах их собственных рабов.

Декрет пятнадцатого мая появился второго июля отпечатанным в «Moniteur universel»; он привел в отчаяние белых, а мулаты не без страха отдались радости, внушенной им поздней справедливостью, хорошо зная, однако, что это будет вменено им в преступление. В Сан-Доминго раздались крики и угрозы белых и их проклятия против конституции: было сделано предложение расстреливать на улицах цветных людей, которые убегут из городов и укроются в деревнях, в домах своих друзей и в лесах. Наконец, к ним обратились с прокламацией; но им вменили в закон обязательство оказывать белым уважение и подчинение. Они вернулись, чтобы стать свидетелями новых насилий; вслух делались предложения вешать капитанов французских кораблей; постановлялось просить помощи у Англии; в качестве знамени была принята черная кокарда; делались предложения оказать сопротивление отрядам и национальным гвардейцам, которые, как говорили, должны были прибыть из Франции с миссией упрочить выполнение декрета; надеялись на прибытие пятнадцати линейных английских кораблей; эта химера была разрушена, и губернатор Ямайки ответил посланным Национальным собранием, что он был далек от мысли посылать отряды для борьбы против декрета и что он пошлет их только в случае восстания рабов.

Эта система независимости, укреплявшаяся подобными попытками, ясно видна во всех актах Колониального собрания. В них можно прочесть следующее предложение: «Если король утвердит санкцию, колонии получают свою долю; если будет покушение на их прерогативы, они сумеют удержать их за собой».

Прерогативы колоний?.. Уж не думают ли они, что владеют короной? Мятежный дух административных собраний царил также и в собраниях приходских. Но, однако, главная масса умов не разделяла эти экстравагантные предложения и яростные выпады. Негоцианты чувствовали, насколько нелепо и опасно было бы порвать с метрополией. После нескольких дней волнения умы успокоились; это спокойствие разочаровало мятежников. Нужен был предлог, чтобы позвать англичан: для этого было необходимо поднять вооруженное восстание негров. Ни один заговор не записывается, но его можно отыскать во мнениях и поступках; путем сопоставления мнений и поступков я доказал существование системы независимости, теперь же я перейду к другим фактам, которые я должен показать вам.

Мятежники вошли в состав вновь организованного Колониального собрания. Из Сен-Марка оно было перенесено на Кап, который был местностью, наиболее расположенной к независимости. И тогда они перестали скрывать свои проекты: они стали торопить усиление укреплений в достаточно укрепленном городе; национальная кокарда была отвергнута, торжественным актом гражданам было дано разрешение носить другие. Сам президент колониального собрания появился с черной кокардой, очевидным знаком разрыва с метрополией и союза с Англией. Правда, что вскоре после этого в народе поднялись протесты. Тогда Колониальное собрание переменило свой знак на черный шарф; провинциальное собрание приняло красный шарф, и повсюду, даже в общественных местах, исчезли слова, знаменующие собой единение французских подданных: «Нация, закон и король». На их месте появился новый лозунг, крик независимости: «Свобода острову Сан-Доминго!»

Наконец, двадцать второго числа августа месяца было возведено восстание негров, в тот самый момент, когда было получено известие о бегстве короля. То было просто восстание нескольких ремесленников, и достаточно было послать против них несколько отрядов, чтобы

все успокоить, — это не давало бы хода восстанию, — и двадцать пятого оказалось: нельзя было послать за отрядами к губернатору Ямайки. Почему, в самом деле, вместо того чтобы пойти прямо на мятежников, храбрый генерал окапывается в уже укрепленном городе и составляет правила для своих отрядов, когда он должен был бы их вести в сражение? Говорили, что опасаются того, что в городе могут быть укрывшиеся черные. Но ведь генерал мог увеличить свою силу, очистив деревни и уничтожив мятежников, которые, по его собственным словам, были в три раза менее сильны, нежели он. Это поведение дало пищу многим размышлениям, но достоверно то, что тот, кто дал совет запереться в городе, был причиной разорения колоний. Сражение, происходившее в течение часа, уничтожило один из лагерей мятежников, несколько пушечных выстрелов рассеяли другой. Кавалерия орлеанских драгун топтала тысячи голов людей, зарытых в землю до самых зубов.

Негры были в количестве пятидесяти тысяч, если верить наименее преувеличенным рассказам. Почему же двадцать четвертого числа генерал совместно с Колониальным собранием забавлялся писанием депеш, чтобы просить помощи у Соединенных Штатов, у англичан и испанцев? Но в то время они еще не знали врага, и когда сотни разбойников угрожали жилищам, было ли необходимо посылать за помпами в Филадельфию, чтобы затушить пожар? Эта смешная депеша предназначалась для того, чтобы замаскировать депешу Ямайки: надо было скрыть, что, хотя просили помощи у трех властей, эта помощь была желательна только от одной.

После первой депешы от двадцать шестого августа генерал посылает вторую депешу англичанам, страдая в то же время оттого, что Колониальное собрание, презирая наши конституционные законы, сообщается с иностранной властью, в то время как только один генерал имел на это право. Идя на столь странные попытки с целью получить неопределенную помощь, опасность которой была бы осознана всеми верноподданными французами, он не смел и подумать о легкой и верной помощи в борьбе с вооруженными мулатами.

Это еще не все. Двадцать восьмого августа восстание негров было еще неизвестно в Леогане и во всех частях Западной и Восточной провинций, которые могли дать серьезную помощь; в то время как уже двадцать седьмого Ямайка знала об этом и получала душераздирающие известия о положении северной части, они справедливо опасались патриотизма своих сограждан; они боялись также силы, которая ожидалась из метрополии. Двадцать третьего августа, когда стали известны лишь некоторые подробности восстания, они считали недостаточными укрепления Капа; они говорили о возможной необходимости приготовиться к отплытию, что могло бы оправдать общее стремление, занять место на корабле.

Почему же было не отправить во Францию судно, которое приняло бы на себя не больше тридцати человек? Зачем было дурно обращаться с капитанами, которые громко кричали о том, что надо предупредить Францию? Почему это необыкновенное замедление депеш с Ямайки? Почему письмо губернатора Бланшланда было задержано в течение восьми дней? К чему было это ласковое письмо колонии к министру Англии? К чему та мягкая и слабая манера защиты от подозрений, которых было невозможно не иметь, применявшаяся посланными Колониального собрания? Как могло случиться, что кровь французов не закипела от негодования, когда их обвинили в измене родине? Вместо этого добродетельного негодования вы слышали лишь странное оправдание, в котором наносилось оскорбление самому собранию упреком за то, что оно сеет раздор; и этот упрек послужил предпосылкой к лозунгу независимости. Они не говорят нам о том, что Колониальное собрание, устанавливая таксы, проводя административные меры, устраивая суды и сажая людей в тюрьмы, имело дерзость установить таксу и на французские товары, овладело звонкой монетой, бывшей на борту судов, арестовало и рассадило по тюрьмам пассажиров. Девятнадцать человек этих несчастных томилась еще девятнадцатого октября в тюрьмах Капа, среди ужасов оков и голода. Таким образом, с французами обращались не только как с иностранцами, но как с врагами. Будет ли Колониальное собрание отрицать, что на его заседаниях раздавались

следующие крики: «Франция для нас больше ничего не значит; почему у нас нет Буйе? Почему он не дал нам короля? Он бы мог отсюда разрушить собрание, которое является причиной несчастья Франции».

Надо закончить характерной чертой: будучи спасены мулатами, колонисты дали им торжественное обещание, а их депутаты здесь умалчивают об этом обещании и их признательности. Они еще надеются лишить своих благодетелей справедливости, предложенной в виде награды, они не возобновляют и не утверждают перед вами того соглашения, которое оказало бы честь Локку и Монтескье. Ах! в колониях не существует более доверия, но оно еще существует во Франции, оно имеется в сердцах всех добрых французов! (Аплодисменты, возобновляющиеся несколько раз.) Хорошо организованная политика должна была бы подтвердить это соглашение, ибо всякий народ, владеющий многочисленными стадами рабов, нуждается также и в многочисленных сторожах, а мулаты представляют собой мужественных и преданных сторожей. Катилина также опирался на восстание рабов, и если рабство ранее сыграло роли во время революции в Сан-Доминго, то благодарить за это следует отнюдь не колонистов.

Вам рассказывали факты, заставлявшие вас содрогаться от отвращения, но Филарис не говорил о кинжалах, выставляемых против него варварством. Нам приводили черты жестокости. «Но дайте мне, — говорил Мирабо, — тупое животное, и я сделаю из него хищного зверя». Белый человек первый бросил черного в пылающую печь, раздавил сына на глазах его отца, заставил раба есть его собственную плоть: именно этих чудовищ следует обвинять в варварстве восставших негров. Миллионы индейцев погибли на этой кровавой земле; вы на каждом шагу наступаете на кости местных жителей, которых природа дала этим местам, и вы содрогаетесь при рассказе о поступках их мстителей! (Аплодисменты.) Ах, господа, в этой ужасной борьбе преступления белых больше всего остального вызывают отвращение. Они были порождены деспотизмом; ненависть к рабству и жажда мести являются причиной преступления черных. Следует ли в данном случае обвинять философию? Требуем ли мы вашей крови? Мы говорим вам: братья, будьте справедливы, будьте добры, и вами будут дорожить. Вечное рабство должно быть вечным источником преступлений, ибо рабство является величайшим преступлением. Отделите от него по крайней мере слово «вечность», так как невыразимая печаль должна породить отчаяние. Подводя итоги, я скажу: причина всех зол кроется в характере жителей жаркого климата, в коррупции судей и судов, в отсутствии справедливости и правосудия между правительством и управляемыми; она кроется главным образом в системе независимости колонистов, колониальных комитетов и провинциальных и колониальных собраний; она кроется в дерзости мятежников, которые придумали эту систему, чтобы противопоставить свою аристократию и свою тиранию министерской аристократии; она кроется в слабости, не сумевшей оттолкнуть их, в испорченности, обеспечившей им безнаказанность, в увертках декретов и их вариантов, в наградах, присуждаемых одному собранию, в то время как другое подвергалось наказанию, не будучи виновным. Это зло можно найти в причинах, создавших декрет двенадцатого октября, который, принося в жертву цветных людей, вооружал против них белых; его можно найти также в преследованиях цветных людей, в оскорблениях, которые им пришлось испытать, в тюремных заключениях, которые они перенесли, в отвратительной клятве, которой они обязались оказывать уважение белым, в убийствах тех, кто этому не подчинился; наконец, в резне их братьев и их защитников; это зло кроется опять-таки в невыполнении декрета пятнадцатого мая и в разоружении мулатов.

Виновными являются те, кто захотел стать независимым, которые заявили, что не будут подчиняться декрету, которые отняли у острова его наиболее прочную опору, которые пригрозили отдаться во власть иностранцам, призвали их суда, приняли их цвета, которые установили таксу на французский товар, наложили запрещение на выход наших судов из гавани. Это те, которые оскорбляют философию, свободу и Декларацию прав в самом храме философии и свободы.

Да, Франция обязана оказывать белым покровительство, охрану, правосудие, но она обязана давать то же и цветным людям. Франция обязана оказывать покровительство тем, кто охраняет общественный порядок; она дает охрану тем, кто уважает общественный порядок; она должна оказывать правосудие всем, она должна давать его виновным, она должна проявлять его также и в торговых делах, она обязана оказывать его себе самой, и это правосудие будет установлено. (Аплодисменты возобновляются.) Я должен был прочесть проект декрета в десяти статьях, с несколькими замечками о его развитии, но я прошу собрание отложить это чтение.

Г-н Гюаде. Вы безвозвратно потеряете колонии, если вы допустите уход отрядов, которые должны привести в исполнение декрет двадцать четвертого сентября; вы их сохраните, если вы утвердите соглашение. Итак, я прошу, чтобы вы либо отложили до субботы проект господина Бриссо, либо чтобы вы установили *status quo*, то есть отложили бы выполнение декрета от двадцать четвертого сентября. (Аплодисменты.) Г-н Дюбейе. Я никогда не буду восставать против меры, которая требуется для общественного процветания; но мне кажется, что собрание слишком хорошо убеждено в том, что истинная причина несчастий колоний заключается в противоречивых намерениях декрета и в предубеждениях тех, кто его составлял; поэтому его решения не представляются созревшими. Вы не хотите, чтобы опыт был для вас потерян; вы не хотите уступить опыт, который может быть дан новыми прениями; я вовсе не возражаю против сделанного вам предложения, но я прошу, чтобы собрание не пускалось в его обсуждение, не заслушав проекта декрета, о котором говорил господин Бриссо, а также и отчета Колониального комитета.

Бриссо. Я думаю вместе с господином Дюбейе, что достоинство собрания восстает против временных мероприятий; но дело можно отложить до субботы, в надежде, что до тех пор министр не отправит отрядов для приведения в исполнение декрета.

Верньо. Мы можем согласовать колониальный интерес с законом и с достоинством Собрания. Мера, предложенная господином Гюаде, согласна с интересами колоний. Ошибки, совершенные во всем этом деле, происходят оттого, что, стоя между двумя мисками, было обращено внимание только на одну из них. В то же время никто не говорил: белые не будут слушаться, если будет проявляться справедливость относительно цветных людей; мулаты не будут слушаться, если к ним будут несправедливы. Побуждаемые любовью к свободе, ненавистью к угнетению, они, если их довести до отчаяния, сделают попытку вырвать силой то, что они должны были бы получить по справедливости; эта двойная опасность не была еще учтена одновременно. Соглашение (конкордат) предупредило в западной части несчастья, разрушившие север; но и в этой провинции мулаты с большим великодушием начали с того, что предложили белым свою кровь, сказав им при лом: мы подождем того, чтобы мы вас спасли, и тогда потребуем своих прав. Все пункты конкордата необходимы для сохранения колоний. Если бы белые после прибытия отрядов перестали выполнять соглашение, если бы они изменили священному обещанию, данному в виде награды за полученную ими услугу, — возмущенные цветные люди захотели бы, вероятно, в своем отчаянии и чтобы утолить свою месть, похоронить себя под развалинами колоний. Утверждая соглашение, подписанное белыми, вы ничем не задеваете декрет двадцать четвертого сентября. Таким образом, инициатива будет проведена в жизнь не собранием, а самими белыми, согласно закону. (Аплодисменты.) К тому же, если я хорошо понял Гюаде, речь идет о временной мере, и вы этим не отнимаете у колонистов права выражать свои пожелания в легальном собрании. Повторяю, самая настоятельная необходимость требует выполнения соглашения. (Аплодисменты.) Запрошенное собрание последовательно и единогласно декретирует напечатать речь и проект Бриссо, так же как и соглашение, отложить до субботы обсуждение предложений Гюаде и Верньо и чтение проекта декрета Бриссо.

Заседание закрывается в четыре часа.

Робеспьер вышел. Зимнее солнце бросало длинные косые тени от решетки тюильрийского

сада. Зябнувшие каштаны вырисовывались на тусклом, белесоватом зимнем небе. По лестницам слышались голоса, около ворот стояли толпы. Общее неудовлетворение было на лицах. Бриссо, начавший высоким тоном, не сумел удержать внимания, и в то же время чувствовалось, что Гора побеждена Жирондой, что в общем испуге перед какими-то надвигающимися грозами, перед темными тенями, перед шепотами и шорохами где-то назревали негодование и гнев одних и затаенная настороженность других.

«Пусть поет этот певец, — думал Робеспьер, оценивая речь Бриссо. — К чему свелись его гуманные намерения, — вот сплошное человеколюбие! — но Бриссо боится дойти до конца».

Неизвестный человек высокого роста тихо подошел к Робеспьеру и вручил ему небольшую тетрадь. Это была сводка четырех секций. Из провинций сообщали, что нойонские крестьяне, вооруженные пиками, вилами и алебардами из помещичьих усадеб, составили двадцатитысячную армию. Они останавливают по реке Уазе баржи, груженные хлебом, и делят их, взяв на себя обязанности продовольственной армии округа. Группа национальных гвардейцев в деревнях Канталя, Ло Доржоньи, Коррез, Гари уничтожает замки эмигрировавших дворян, сжигает дворянские архивы. В Дюнкерке все телеги с хлебом не дошли до дебаркадеров, с которых велась погрузка на английские корабли, и местные рыбаки вместе с нормандскими крестьянами на огромном пространстве по дороге остановили хлебные обозы и начали дележку хлеба.

В бретонских лесах, в глухих местах, появился отряд Жана Шуана под лозунгом: «За бога и короля».

На небе Франции появилось зарево, заставившее Робеспьера забыть о речи Бриссо.

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КРАСНАЯ ФРАНЦИЯ

### 7. КОНВЕНТ И ГАИТИ

Берегись, минутная стрелка твоего брегета режет тысячи голов на циферблате истории. Бомарше-Часовщик. «Письма к сыну».

Еще несколько дней, и низложенный король будет осужден, как простой предатель. Десятое августа обновило Революцию.

На острове Сен-Луи, в одном из глухих кабачков Парижа, эти события обдумывал молодой остролицый человек, все манеры которого показывали принадлежность к сословию военных людей. «Что произошло за какие-нибудь полгода! — думал он. — Началась война. За войну были господа Бриссо, Верньо, Кондорсе, вся Жиронда. Против войны Робеспьер и крайние якобинцы. И вот самое замечательное: король оказался тоже на стороне войны. Так или иначе, война объявлена!» — думал молодой человек, но мысль его прервал удар по плечу.

С ним рядом сел за маленький изрезанный и изрытый от времени деревянный столик новый посетитель кабачка. Поздоровался, потребовал вина, яичницу с луком.

Трактирщик, зная одного, с любопытством воззрился на другого единственным уцелевшим

глазом, отошел, ворча про себя:

— Богатые люди всегда могут заказывать себе богатые кушанья. Господа офицеры не боятся, что после богатого ужина их ограбят в переулке.

Молодой человек, о котором трактирщик говорил как об офицере, облокотился на стол и подбородок положил на ладони. Спокойные и успокаивающие холодные глаза он устремил на своего соседа.

То был человек с бронзовым лицом, с профилем римского сенатора, с черепом почти обнаженным, с горбатым носом и горячими глазами, в которых порода была ключом, заливая индивидуальное сознание своего представителя. Этот человек тускло улыбнулся в ответ на пристальный взор офицера.

— Я принес чертежи, — сказал он, чтобы начать разговор, и вынул из-под плаща папку с кипой иллюминированных кроков, на которых были занесены десятки планов, чертежей владений, домов, расположения этажей; все это безмолвно выкладывалось перед молчаливым офицером.

— Во сколько оценен вот этот? — спросил офицер.

— Вы знаете, что правобережные ценятся дороже. Со времени декрета все дома подорожали. Я могу вам устроить перепродажу любого из тех, что вы видите перед собой, — все зависят от того, насколько вы обеспечите меня самого.

— А как думаете вы, граф, — вдруг резко перебил собеседник, — во что ценятся собственные ваши имения? Уверю вас, что не больше вашего титула — графа де Сен-Симона.

Сен-Симон вспыхнул, слегка откинулся назад, но потом, быстро овладев собой, сказал:

— Послушайте, лейтенант Бонапарт, я неоднократно просил вас воздерживаться от свойственной корсиканцам грубости. Если вы хотите пользоваться моим бедственным положением, если вы применяете мои силы, мои старые связи для улучшения ваших коммерческих дел, если вы скупаете за бесценок и продаете за баснословные цены дома моих друзей и моих родственников, если вы сдаете купленный у меня дом актеру Тальма и запрещаете мне самому ходить в этот дом, — так это вовсе не значит, что я бесконечно способен сносить ваши унижения, встречаясь с вами по кабакам и притонам Парижа.

Молодой Бонапарт улыбнулся холодно и сказал:

— Успокойтесь, я позабыл, что нельзя вас называть. Не тратьте много слов, я выберу вот эти четыре дома. Сколько вам сейчас нужно на расходы?

Потомок герцога граф Анри де Сен-Симон вычислил что-то на листке бумаги и показал листок Бонапарту. Тот метнул взглядом, проверил цифры и, спрятав листок в кожаную сумку, достал пачки ассигнатов.

— Не давайте корсеты, эти несчастные пятилировые ассигнаты теперь ничего не стоят, — сказал Сен-Симон.

— Они мне стоят столько же, сколько вам, — ответил Бонапарт жестко, — прощайте.

Не проверяя, Сен-Симон быстро спрятал деньги и, не прощаясь, отошел от стола.

Офицер Бонапарт допил кружку вина, оставил деньги под опрокинутым стаканом и быстро вышел спешащей, довольно гневной походкой, свойственной ему лишь с 20 апреля 1792 года, то есть со дня объявления войны герцогу Брауншвейгскому, обещавшему сжечь Париж,

когда эта походка стала модой армейских патриотов.

Было 2 сентября, ясное небо перед закатом просвечивало сквозь аллеи. На острове Сен-Луи до самого моста, по мостам Мари и Порт-о-Бле почти не было движения. Приказчицы из магазинов, парикмахеры и девушки ночных профессий плясали под звуки уличной музыки. Несколько насмешек брошено в сторону офицера, мрачного человека в черном плаще, вошедшего на мост.

Занятый своими мыслями, Бонапарт не заметил и не ответил на насмешливые возгласы девушек. Темно-синие, лиловые облака принимали самые причудливые очертания. Там, где над западом Парижа, казалось, кончался мир и в зеленоватом небе плавали очертания далеких роц, безветренный вечерний день парижской осени был полон тишины. А здесь солнце, деревья, улицы и дома сияли спокойной ясностью, никак не отвечая на то, что тревога была в каждом сердце, что где-то на границах Франции захватили Лонгви, что соединенные войска европейских монархов вместе с армиями принцев врезались клином, не нынче-завтра угрожают подступом к Парижу, и проклятый королевский двор из четырехсот семей, и проклятый дворянский строй и тридцать тысяч дворян снова начинают впиваться в тело двадцати пяти миллионов народа, выпивая девять десятых того, что сделано его крестьянами и его ремесленниками, его деревенскими и городскими руками. Не лучше ли смерть, чем такая покорность судьбе? Но солнце не было с этим согласно, не были согласны с этим птицы, не были согласны с этим облака, таявшие над краем земли: они безразлично смотрели на тревоги каждой личной судьбы, на массовую тревогу клокочущего Парижа.

Бонапарт взглянул на часы: скоро заходит солнце; идти в кафе Манури небезопасно, ходить по улицам — утомительно, возвращаться домой, где бестолковый Бурьенн опять начнет рассказывать о выступлениях Робеспьера в Парижской коммуне, — это не менее скучно и утомительно. Что из того, что, помимо Законодательного собрания, выбранного якобы всей Францией, есть еще Коммуна Парижа, выбранная всеми парижскими ремесленниками в сорока восьми секциях, что из того, что главная и секционные Коммуны ведут свою парижскую политику и стремятся навязать ее всей стране! Эта борьба продлится долго. Коммуна гордится тем, что ее вмешательство решило участь короля. Однако вооруженный ремесленный Париж не осмелился тронуть Легислативу. Ремесленник оказался зачарованным пением жирондистских соловьев. Бонапарт тихо засмеялся:

— Сбывается миф о том, что под музыку Орфея волки ложатся с овцами и тигры с телятами. Хватит ли духу жирондистам-музыкантам продолжать эти песни без передышки?

Вдруг вспомнил по дороге, что предстоит большой платеж в этот вечер. Предложение обедневшего графа на перекупку одного из богатых эмигрантских домов совершенно нарушало платежный план. Что-нибудь одно: или состоится перепродажа этого дома, и тогда бедному офицеру в Париже можно будет полгода существовать сносно, осуществить кое-какие затеи; или сегодня же пойти расплатиться с кредиторами, и снова весь барыш прошлой недели вместе с дымом камина улетит в трубу. Решение было мгновенно: «Что из того, что эти два ростовщика, Жозьер и Цюбал, подождут еще три-четыре дня, — разве они не берут сатанинских процентов?!»

Высокий массивный портал Нотр-Дам де Пари вырисовывался впереди. Бонапарт остановился около берега Сены в раздумье. Не нынче-завтра отъезд в армию, не нынче-завтра продвижение союзных войск в направлении Верден — Париж, и все это в день, когда безумие охватило Францию, когда заколебались прочные достатки, земля переходит из рук в руки, — ни знатность, ни богатство не спасают человека. За решеткой, среди желтеющих листьев сквера Нотр-Дам, там, где в каменном шестиугольнике возвышается готическая башенка со статуей мадонны внутри, два человека оживленно разговаривали, прогуливаясь взад и вперед по тропинкам, заросшим травой. Запущенный сквер был одним из тех пустырей, которыми изобиловали сады и церковные дворики Парижа.

Бонапарт остановился около решетки и на мгновение прислушался к разговору. Одного из говоривших он знал: это был юноша в круглой шляпе с узкими полями, в светло-голубом сюртуке с большим черным бархатным воротом; ботфорты с желтыми крагами, серые штаны и хлыст в правой руке; черты лица необычайно правильные, похожие на рельеф греческой медали, глаза мечтательные и нежные, совсем не мужественные, — это был поэт Андре Шенье. Он говорил горячо и громко, сбивая хлыстом головки чертополоха. Рядом шел спокойный старичок маленького роста, без шляпы, в сером парике, держа кожаную книжку и зажимая указательным пальцем недочитанную страницу.

«Вот какой этот доктор!» подумал Бонапарт, услышав, как поэт Шенье обратился к своему собеседнику, называя его «уважаемый доктор Гильотэн».

Доктор и поэт, очевидно, спорили давно. Старик, не разжимая маленькой книжки, указывал ею на головки чертополоха, падающие под ударами хлыста, и говорил:

— Она гораздо милостивее вас. Ваше поэтическое движение хлыстом сшибает головки ни в чем не повинного чертополоха, а моя машина режет головы тому бурьяну, который растет на человеческой ниве. Вы вашим ударом подламываете половину стеблей, а моя машина режет быстро и чисто, и уверяю вас, что страх смерти — это глупый и нелепый страх, так как моя машина дает человеку секундное ощущение освежающей прохлады, не причиняя при этом ни малейшей боли.

— Вы чудовище! — говорил Шенье. — Тратить так много времени на такую отвратительную машину можно только нося в душе ад, и если бы я знал, что вы говорите правду, будто мои стихи были вам отдыхом в промежутках вашей варварской работы, я никогда бы не написал ни строчки. Я чуждался встречи с вами.

— Вы неблагодарны, — сказал Гильотэн. — Я сдал один чертеж машины в Национальное собрание двадцать восьмого ноября тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Я никогда не занимался этим вопросом специально. В одной старой миланской хронике я нашел чертежи скотобойни герцога Сфорца. Это были хорошие мясники, прекрасные ломбардские скотоводы, — я только улучшил чертежи старой миланской машины. Национальное собрание не обратило должного внимания на мой чертеж, людей не избавляли от жизни, а калечили прежним варварским способом. Теперь для спасения отечества нам нужно или открыть школу палачей-великанов, или пускать в ход мою машину, с которой справится малый ребенок.

— Не говорите мне этого! — кричал Шенье. — Второй раз встречая вас в сквере Парижской богоматери, я чувствую себя отравленным вашим присутствием. Вы хвастаете вашим адским изобретением, а между тем молва приписывает вам страшные неудачи. Ваши ножи мяли человеческие тела, давили из них кровь, вместо того чтобы облегчать человеку переход в иной и лучший мир.

Собеседники вдруг остановились, глядя друг на друга. Гильотэн улыбнулся кроткой и застенчивой улыбкой.

— Здесь вы правы, — сказал он, — столяры, плотники и кузнецы — ненадежный народ, в ущерб своей собственной пользе, от очень плохо исполнили первую машину, — в декабре она была построена на конюшнях Шарля Ламет. Действительно, она работала плохо; она прекрасно остригла головы тридцати баранам, но только на время придушила огромного негра, от которого тайком захотел отделаться господин Ламет. Это уже не моя вина, у этого чернокожего позвонки оказались крепче стали. Потом, когда господин Ламет пожелал испробовать мою машину над головой быка, животное разорвало путы, сорвало станки и испортило мне все дело. Но если бы не пробовали негра и быка...

— Остановитесь, — закричал Шенье, — я не могу вас больше слушать!



— Однако вы в раздражении сбиваете головки чертополоха! Но ведь вы знаете, что господин Сильвестр де Саси вместе с молодыми арабскими учеными утверждает, будто растения также имеют душу...

— Меня не интересуется душа чертополохов, — ответил Шенье.

— ...Да, кроме того, — продолжал доктор, — секретарь хирургической академии, мой товарищ, доктор Луи внес в конструкцию значительные улучшения. Вместо плоского длинного ножа он посадил на шарниры тяжелый треугольный топор. С тех пор дело пошло как по маслу, и вы сами знаете, что двадцать четвертого мая этого года бандит Пеллетье был казнен так чисто, что, по-моему, он успел только «облегченно вздохнуть».

Шенье вздрогнул и с невольным поворотом в сторону Гильотэна положил свою левую ладонь себе на затылок.

— Вот почему вашу машину зовут «Луизеттою», — сказал Шенье.

— Зовут по-разному. Парижские острословы называли ее «гильотиною».

Бонапарт прошел дальше. За последний месяц он с жадностью впитывал в себя впечатления Парижа. Ненависть к французам, возраставшая в нем с каждым днем, перешла в чувство холодного любопытства. Он как наблюдатель носился от решетки Тюильрийского дворца к площади Карусель, он с жадностью прислушивался к говору парижской толпы, он холодно вычислял, сколько выстрелов и в каком направлении нужно было сделать в час осады королевских покоев и ареста Людовика XVI для того, чтобы водворить спокойствие.

«Какой дурак!» — восклицает Бонапарт, видя, как Людовик XVI появляется в красном фригийском колпаке.

Десятки верных патриотов подозрительно посматривают на этого офицера с холодными глазами, железным лицом, ввалившимися щеками и длинными космами волос, падающих на плечи. Так, чужими глазами глядел он на все потрясающее зрелище революционного Парижа, пробегая из кофейни в кофейню, врываясь ночью в притоны на улице Луны, толкаясь в клетки домов подозрительного вида, взбираясь по лестницам, замыкающимся небольшими решетками. Или, запасшись хорошим спутником, он целыми часами выслеживал в притоне старинного нищенства, так называемом «Дворце чудес», как продавцы рыбы, солонины, доходя до поножовщины, играли в карты, наполняя воздух руганью, запахом пота, пьяной икотой и политическими сплетнями, внезапно, как молния, освещавшими перед Бонапартом истинную картину настроений простолюдинов.

Этому человеку с чужими глазами, с ненавистью к Франции за порабощение родной Корсики, с безумным клокотанием горячей итальянской крови в жилах и с холодным расчетом математически устроенного, четко работающего мозга предстояло принять командование французским отрядом где-то на северо-востоке Франции, защищать интересы той самой революции, которая вызывала в нем простое любопытство. Ему предстояло весь мир событий иметь перед собою, как чужую картину, смотреть и ждать того часа, когда этот чуждый мир станет его собственностью,

станет игрушкой его способностей, ибо «что такое теперешняя Франция, как не блистательная арена борьбы за жизнь и власть?»

С такими мыслями Бонапарт вошел под своды собора и по левой боковой лестнице стал подниматься на свинцовые парапеты и галереи, с которых открывалось зрелище вечернего Парижа, — зрелище, способное увлечь даже самого равнодушного человека. По правому и левому берегам Сены теснились здания, позолоченные лучами вечернего солнца. Затихающие шумы и стуки, пыль — словно одно дополняло другое — поднимались над

кровлями домов в этом вечерющем воздухе; это производило впечатление сизого, дымчатого, играющего голубоватыми и розоватыми тенями облака, говорящего полужвуками.

Бонапарт перешел на северную башню, встал над свинцовой складчатой кровлей гигантского недостроенного собора. Перед ним была узкая башня, длинным шпилем уходящая к небу; короткие загнутые шипы на отдельных коньках, на ребрах тонкого шпиля производили впечатление шипов чертополоха на тонкой, острой, жалящей небо игле. Слева и справа на ступеньках, на маленьких готических пьедесталах неуклюже примостились, глядя в разные стороны, неподвижные продолговатые фигуры старинных святых, смотрящих на Париж с огромной высоты под дождем, снегом и зноем пяти столетий.

На балюстраде соседями корсиканского офицера были чудовищные птицы в монашеских капюшонах, с горбатыми носами, выпуклыми глазами, во много превышавшие человеческий рост, застывшие в вековечном каменном сне. Впиваясь каменными когтями в свинцовые и каменные балюстрады, эти химерические видения безумцев XIII века устремляли свои мертвые, каменные зрачки на беспредельный Париж, полуоткрыв уродливые рты с отбитыми каменными челюстями, а иногда с горбатым носом хищного ястреба, с нелепой застывшей идиотической улыбкой полуживотного-полуптицы под монашеским капюшоном. Каменная чешуя крыльев, каменные перья хвостов, растопыренные каркающие птичьи пасти и в безумном сарказме закинута за спину птичьи головы, на которых безумному скульптору удалось выдавить из камня идиотический хохот птичьей головы, смотрящей на площади Парижа. А дальше чудовища с голыми ребрами и космами волос на груди, с вывихом вместо плеч и локтей, с перепончатыми лапами вместо рук, с озлобленным оскалом, хищными улыбками, с длинными острыми ушами, с глазами, посаженными на виски, с длинными острыми мордами, с носом, упавшим на верхнюю губу, и дико закрученными хвостами.

На самом углу, рискуя выпасть из пилястра, исступленный монах, закутанный с головы до ног, с шапочкой вроде тамбурина на затылке, закатив глаза под самые брови, лежа в полтуловища над Парижем, раскрыл огромный рот в застывшем над столетиями безумном крике, и только птицы, прилетая и касаясь верхних зубов этого монаха-гиганта, садились ему на нижнюю челюсть. Дальше — горгоны, крылатые пантеры, пумы и леопарды, кошки и тигры с крыльями коршунов, с подбородком, уходящим в самую глотку, и еще дальше — «задумчивый дьявол», смотрящий на Париж, уродливый, мрачный, с печатью злого и таинственного гения на отвратительном, недобром и грустном лице. Ухо изваяния было отбито, очевидно, недавно: камень в свежем остром ударе производил впечатление более свежей породы, чем поверхность всей статуи.

Кое-где погасала красная черепица. Внизу, под самым собором, поднимая клубами пыль, проезжал эскадрон «драгун свободы». Ехали по трое, и перед каждым отделением в двенадцать человек, несколькими шагами впереди, выделяясь серебром аксельбантов, ехал начальник. Зоркий глаз Бонапарта, совсем слившегося с химерами, смотревшими на Париж, увидел при повороте отряда в переулок, навстречу солнцу, как засверкали серебряные аксельбанты и погоны на мундирах молодых людей. Это было в тот день, когда Коммуна издала строжайшее распоряжение о том, чтобы офицеры Национальной гвардии и драгуны свободы не позволяли себе никаких лишних украшений.

Бонапарт не улыбался. Положив подбородок и щеки на обе ладони, облокотившись на широкую балюстраду, почти улегшись на нее совсем, этот недавно окончивший военную школу офицер Оксеннского гарнизона погрузился в молчаливое созерцание Парижа, который стал городом его личной судьбы. Почти безродный, он думал сейчас о тяжелой судьбе наиболее родовитых офицеров.

Не без презрения вспомнил он своего отца Карла Бонапарта и всю его родню — бесконечных нотариусов и синдиков разных корсиканских местечек и городов. С холодным любопытством он стремился воспроизвести и понять черты характера своей матери. Летиция Рамолино, —

мелочная, расчетливая, как крестьянка, чуждая какой бы то ни было красоты и утонченности, почти неграмотная, — носила своего сына под сердцем в самый разгар французского нашествия на Корсику. Под угрозой неожиданного нападения и расстрела, беременная, она, с ребенком в утробе, верхом спасалась от оружейных выстрелов в гористых ущельях и в самых диких местах острова. «А потом, — думал Бонапарт, — тридцать тысяч французов, которых эта поганая страна изрыгнула на наши берега, залили потоками крови престол корсиканской свободы. Вот героический побег моей матери в Боканьяно, где я родился. Паоли — тот, кто мог бы спасти корсиканскую свободу, — был выдан головой, и, увы, его адъютант, мой отец, был в числе тех, кто стоял за мир и за передачу Корсики французам». Бонапарт обдумывал свои чувства, как всегда стремясь расплавленную лаву своего возмущения перелить в отчетливую и сжатую формулу, пригодную для действия.

Что было потом? Потом военная школа и королевская стипендия, испрошенная отцом Карлом Бонапартом, а потом все докатилось до 10 августа этого года. Побег того самого короля, на деньги которого Бонапарт был в школе. Что было за это время? В избирательном собрании корсиканский депутат Буттафуоко, тот самый, который привел к порабощению Корсики, получает от Бонапарта письма, полные ненависти и сарказма. В то же время изгнанник аббат Рейналь получает от того же Бонапарта восторженные мальчишеские письма по поводу его прекрасной книги о политике европейских учреждений в обеих Индиях. И вот он, Бонапарт, делит весь свой досуг между военными занятиями, бешеным изучением математики в приложении к артиллерии, каким-то страстным блужданием со свечой в одной руке, с карандашом в другой руке по огромной английской карте, разложенной на полу в антресолях школьного дортуара, — среди всего этого колоссального напряжения мысли, когда каждая минута суток посвящена науке и тщательному изучению артиллерийского искусства, географии и коммерции, когда усталый и пожелтевший, с воспаленными веками он встречал утреннюю зарю над Парижем, гасил свечу и вымерял циркулем по карте расстояние между реками и горными хребтами, между городами и вершинами гор, прикидывал в уме всевозможные комбинации атак, нападений, месяцев осады и долголетних оборонительных войн. В минуту, когда на заре после бессонной ночи смежались веки, он находил свой отдых в новой работе, он писал историю свободной Корсики. Перед ним лежали письма аббата Рейналя, одобряющего его побуждения к этой работе и выражающего согласие принять посвящение книги молодого автора. Если бы аббат Рейналь знал, что делает этот пятнадцатилетний мальчишка, если бы он прочитал все восторженные тирады, в которых красноречие Руссо лишено сентиментальности, а безудержная многоречивость рейналевской тирады окончательно лишилась своих берегов, — как посмотрел бы этот атеистический аббат, этот проповедник колониальных восстаний цветных и черных рабов, на своего молодого ученика из Бриеннской военной школы, на королевского стипендиата, сына корсиканского нотариуса Бонапарта?

«Что будет с Францией? — думал Бонапарт. — Откуда я буду брать деньги, когда все это полетит к черту? Хоть бы поскорей настала власть Робеспьера».

И вдруг сразу — ясная, хорошая, деловая мысль.

В Ницце, на лазурном берегу, при сильном морском ветре, он был по командировке парижской военной школы; там он впервые увидел Робеспьера-старшего, его сестру Шарлотту и Максимилиана Робеспьера-младшего — нынешнего диктатора Коммуны, некоронованного короля буржуазной французской республики, по собственной вине не попавшего в Легислативу и, однако, вместе с Маратом страшного всему Парижу. Братья уехали, Шарлотта осталась в Ницце. Все произошло страшно быстро и просто, он получил ее без отказа на морском берегу. Но, никогда не позволяя себе проводить с женщиной в постели больше получаса, он через неделю принужден был скрываться от Шарлотты Робеспьер.

«Если теперь задержать ее на лишние полчаса в объятиях, — думал Бонапарт, — то...» Но тут его мысль оборвалась; он понял, что игра не стоит свеч.

Переходя от балюстрады к балюстраде, он увидел скопление народа на дальних улицах; ему казалось, что это ремесленники собираются у булочных и пекарен для получения вечернего хлеба, но толпы были слишком плотны, а около площади, ведущей к дворцу Правосудия, они загружали улицы целого квартала. И вдруг в осенней тишине замирающего вечера ударил гулкий, низкий, усталый и матовый колокол; ему ответили сразу в тринадцати кварталах Парижа, и через мгновение все сорок восемь секций гудели, перекликаясь переливчатым, судорожным, бубнящим и наполняющим волнами гула весь город звоном. Волосы на голове Бонапарта вдруг зашевелились. Все задрожало кругом. Бонапарт понял, что над головой и рядом запел могучим басом колокол Нотр-Дам-де Пари. Повернувшись, Бонапарт увидел в оконце, как шестнадцать кузнецов в кожаных фартуках били тяжелым молотом в колокол Нотр-Дам, и понял, что не церковное празднество заставило этих людей с разъяренными лицами выйти на улицы Парижа, наполненного звоном и гулом бешеного набата.

Бонапарт почувствовал знакомый огонек любопытства и холодящий ледок на сердце. На Париж надвинулась буря, гулко звенели колокола, набат призывал секции предместья. Нужно было спуститься и вмешаться в толпу.

В этот час граф Сен-Симон, раздевшись на чердаке и зашив в подушку деньги, полученные за комиссию от продажи домов, беспокойно спрашивал единственного оставшегося друга, старого слугу Диара:

— Послушайте, Диар, в честь какого святого так бесшабашно раззвонился наш старый Париж?

— Измена, господин, измена! Новые хозяева Парижа испугались предательства бывших людей. Говорят, что генерал открыл границы, говорят, что в Париже по тюрьмам сегодня избивают всех заговорщиков. Внизу у кузнеца пруссаки убили сына. Отец, надев кожаный фартук и взяв молот, час тому назад пошел, сказав, что будут чистить тюрьмы.

— Ошибаешься, Диар, — возразил Сен-Симон. — Ты не понимаешь, друг, что наступило новое столетие и что если я, потомок герцогов и графов Сен-Симон, все принес на алтарь свободы, равенства и братства, то это не значит, что кто-то выдумал свободу, равенство и братство по своему капризу. Знай, старый друг, что пути истории жестки и прямолинейны. Клио — это такая муза веков, на которую обижаться могут только глупцы. Сдержись, мой друг, — быть бедняком несколько не позорно. — Но очень неприятно, — сказал небритый Диар, разводя руками перед нетопленной печкой и держа перед графом Сен-Симон противень с угольной пылью. — Вы думаете, дорогой господин, что вы сделали большое дело, отказавшись от титула? Знаете ли, там, в зале Ипподрома, заседает Законодательное собрание, ораторы говорят непрерывно до тех пор, пока у них на председательском столе не погаснет последняя свечка. Там господин Бриссо и господин Верньо произносят прекрасные речи, о которых мы читаем в «Дебатах» или в «Мониторе». Они, глупцы, не знают, что всеми делами ворочают двое, — Диар понизил голос, — если хотите, трое, если хотите, четверо, если хотите, пятеро. Парижем управляет парижская городская Коммуна, выбранная всеми: ремесленником в кожаном фартуке, слесарем с щипцами и молотом, сапожником с шилом и ножом, виноделом из предместья, извозчиком со двора Мессажери. Все они идут за этой тройкой, четверкой, пятеркой.

Сен-Симон потянулся на скрипящей кровати, закрыл глаза и отвернулся к стене, Диар продолжал:

— Всем этим ремесленным людом Парижа вертят господа Сен-Жюст, безногий Кутон, летающий по улицам Парижа в кресле на колесах, Дантон, головастый, огромный, лобастый, как племенной бык, а потом, — тут Диар заговорил шепотом, — господин Марат и самый страшный — господин Робеспьер.

Сен-Симон повернулся и, с усмешкой смотря на Диара, сказал:

— Дорогой друг, вот ты говоришь, что эти люди вертят ремесленным Париже, а я смею тебя уверить, что ремесленный Париж заставил этих людей говорить лучшие слова, которые когда-нибудь слышала земля. Будь справедлив, ибо если ты ошибаешься, то получишь ущерб, хотя будешь прощен, а если ты обманываешь, то помни, что историю обманывать нельзя.

Диар не унимался, а Сен-Симон, жестом останавливая его, говорил:

— Помни, что если бы не было высоких духовных качеств Робеспьера, то он не мог бы не только вооружиться доверием, но и быть проводником затаенных желаний и прекраснейших мыслей, которыми наделила природа сословие угнетенных тружеников, которые, только теперь поднимая голову, начинают говорить языком человеческого достоинства. Трудящийся, тот, кто волю превращает в труд и жизнь превращает в созидание, — это благороднейшее сословие из всех, которые когда-либо создавались человеческими обществами. Говорить от его имени — высокая честь, и не всякий чувствует себя ее достойным. Вот почему, несмотря на уговоры, я отказался быть мэром, когда весь округ Парижа избрал меня на эту почетную должность. Но я не тоскую: еще недавно владея миллионами, я стал бедняком; за пять лет военной службы в войсках Нового света я получил патент полковника, а вернувшись, я был комендантом крепости Меца. Знаешь, Диар, не обижайся, я сделал ошибку, выбрав Редерна вместо тебя поверенным во всех делах графского рода. Этот негодяй разорил меня. Пусть я живу в нищете и перебиваюсь чем угодно, — если бы ты был на месте Редерна, я, может быть, остался бы богачом. Теперь, с потерей миллионов золота, я получил миллиарды идейных сокровищ.

— Попробуйте поджарить картофель на ваших сокровищах, — проворчал Диар, бросая пустой противень перед печкой. — И неужели же вы не могли при мне не вспоминать этого негодяя Редерна? А то, что вы хвастаете потерей титула, так вот вам: почтенный герцог Орлеанский, позабыв свое имя и титул «высочество», написал неведомо ради чего письмо в парижскую Коммуну с просьбой дать ему новое имя. Ну, те ему ответили, что господин герцог Орлеанский будет отныне называться гражданином «Филиппом Эгалитэ». Извольте-ка радоваться, хорошая фамилия — «Равенство»! Портной сделал ему черную одежду, будто для клерка, а парикмахер подстриг его так, как теперь стригутся приказчики парфюмерных магазинов Сент-Оноре.

Римское бронзовое лицо Сен-Симона вдруг исказилось гримасой ярости и гнева; он даже слегка привстал.

— Послушай, Диар, зачем ты сравниваешь меня с разными дураками? Что общего между мною — потомком Карла Великого, явившегося мне совсем недавно во сне и сказавшего мне, что я буду так же велик в человечестве трудящихся, как он в своем мире рыцарей и героев, — что общего между мною и этим несчастным Капетингом, родственником Людовика Капета? И что говорит о равенстве его новая фамилия? Если недавно говорили: каждому по рождению, то теперь говорят: каждому по способностям, а я сказал бы: пусть каждый получает по потребностям. А потом настанет время, когда народы земли создадут такое общество, в котором каждый будет иметь по количеству доброй воли, внесенной в общий труд, и по количеству своих достижений. А сейчас я хочу спать, Диар, прекрати свою ворчню, хотя колокола, врываясь голосами во все щели, все более и более меня тревожат. Да, я понял, в чем дело: вот, не забудь, Диар, что сегодня воскресенье второго сентября, значит...

— Значит... — прервал Диар, — значит... по-вашему — значит, а по-моему

— не значит! Уверяю вас, что сегодня вовсе не воскресенье, а всеобщая парижская смерть, и, судя по тому, как разгорается зарево, боюсь, что сон ваш будет беспокойным.

Парижские толпы двигались по улицам и вдруг остановились перед окнами Пале-Рояля. На балконе появился герцог Орлеанский, получивший теперь фамилию Эгалите. Любовница герцога Орлеанского мадам Бюффон и несколько собутыльников спокойно ужинали, невзирая на колокольный набат. Мадам Бюффон последовала за герцогом. Раздались крики толпы, и над головами людей в красных колпаках, в кожаных фартуках, с пиками, кольями и топорами, с молотками, щипцами и дубинами высоко на пике на уровне балкона показали герцогу голову принцессы Ламбаль, его невестки. Любовница герцога отшатнулась, в полуобморочном состоянии вошла в комнату, в то время как герцог с невозмутимым видом приветствовал толпу парижан, разгневанных слухом об изменах, парижан, мятущихся в стремлении спасти Париж от внутреннего взрыва контрреволюции. В своем хаотическом движении эта мстящая напуганная парижская толпа, боявшаяся за жизнь своих детей, за свои собственные головы, которым угрожали пули и штыки герцога Брауншвейгского, боявшаяся за свои жилища, которым грозил пожар и уничтожение, объявленные манифестом контрреволюционной армии, — эта парижская толпа убивала, не желая убивать, судорожно сдавливала пальцы на горле своих многочисленных жертв и стремилась возможно скорее очистить тюрьмы, в которых явные изменники и предатели в силу подкупа и защиты в Легислативе были пощажены одновременно с несколькими случайными посетителями страшных парижских тюрем. Судорожное движение толпы, несмотря на страшную разъяренность каждого входившего в ее состав, производило впечатление напуганной самозащиты, а не нападения.

Мадам Бюффон сказала своему любовнику:

— Вот так понесут мою голову на пике.

Герцог сел за стол и мрачно сказал:

— Бедная женщина! Если бы она мне верила, ее голова по-прежнему была бы цела.

Его мрачность скоро рассеялась при мысли о том, что наследство принцессы удваивает его капитал. Герцог просчитался, так как прошло очень немного времени перед краткими, молниеносными событиями, сделавшими излишним всякий капитал для обезглавленного туловища гражданина Эгалитэ. Передовой человек, поставивший у себя на шелковых фабриках первую паровую машину во Франции, захотел быть передовым человеком в революции, но легко было поднять и тяжело нести. Парижская толпа, которую почти никогда не обманывает власть, которая всегда прекрасно понимала Марата, которая всегда с обожанием смотрела на Бабефа, а в Робеспьере видела «пламенного защитника до известной поры», — эта самая неуклюжая ремесленная толпа — суровая, недоверчивая, изменчивая масса парижских ремесленников — сразу раскусила господина Филиппа Эгалитэ. Само наименование, данное ему парижской Коммуной, показывало своим подчеркиванием, что «равенство нарушено и никогда не восстановится».

Под утро толпы народа собрались у тюрьмы Шатле и у ворот Консьержери. Молодой желтолицый Бонапарт холодными глазами рассматривал людей, не принимая ни в чем участия; он только смотрел. Революционный комиссар из Коммуны быстро вывел из тюрьмы около двухсот человек, арестованных за долги и за мелкие гражданские дефекты, и потом толпа ворвалась в ворота и стала извлекать из камер роялистов и тех швейцарцев, которые перестреляли столько парижского простонародья в день 10 августа, перед низвержением короля Людовика XVI. Огромными буквами на стенах тюрьмы вырисовывались плакаты:

«ГРАЖДАНЕ, ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ!»

Еще за день перед этим та же толпа внесла в Законодательное собрание серебряную статую святого Роха, и безвестный депутат, указывая на малое количество вооружения для революционного народа, произнес замечательную речь:

«Различные братства являлись при прежней власти звеньями жреческой цепи, способствовавшей закабалению народа. Мы разбили эти звенья и присоединились к великому братству свободных людей. Мы призывали святого Роха против политической чумы, так сильно опустошившей Францию: но он не внял нашему зову. Тогда мы подумали, что его молчание зависит от его формы, и вот мы принесли его вам, чтобы вы превратили его в звонкую монету. В этой новой форме он безусловно поможет истребить зачумленную расу наших врагов».

Быстрый трибунал приговорил к смерти швейцарцев, стрелявших с тылу, со ступеней Тюильри. Командир этих наемных, палачей революции, майор Бахман, кутается в свой красный мундирный плащ и равнодушно смотрит на толпу парижан, пожирающих его взглядами ненависти. Бахман попадает на гильотину, двести двадцать его спутников подвергаются иной казни под пиками сент-антуанских рабочих. Толстый, здоровенный, плечистый поп, аббат Барди, монархист, братоубийца и содержатель притонов, выскочив из камеры, отшвыривает могучими руками своих конвоиров и вступает в единоборство с толпой. Разрывая сутану, подбрасывая тяжелым сапогом то одного, то другого из нападавших на него парижан, он пускает в ход локти, надкусывает горла, расшвыривает людей ногами. Через минуту около него было свободное пространство, но вскоре длинная пика вонзилась ему под нижнюю челюсть, и он упал навзничь, все еще не подпуская никого и судорожно обороняясь ногами.

Бонапарт, взглядевшись внимательно, заметил человека в сером плаще и серой шляпе, он, также не принимая участие, выступал в роли созерцателя этой борьбы. Ретиф де ля Бретонн жадно смотрел и слушал. Рядом с ним стоял молодой рабочий и говорил:

— Не нынче-завтра пруссаки ворвутся в Париж и штыки Брауншвейгского герцога будут нанизывать нас, как каштаны на вязальную спицу. Надо как можно скорее очистить тюрьмы от попов, контрреволюционеров и аристократов, иначе вся эта орава завтра же раздавит наш рабочий Париж.

Разъяренные контрреволюционные деятели, дворянская прислуга, которая после отъезда господ с успехом выполняла должности шпионов, быстро приспособилась, проводя свои лакейские замашки в политической конспирации, замашки, свойственные старым камеристкам, графским парикмахерам, счетоводам королевского парфюмера, пострадавшего после прекращения колоссальной выделки пудры на сумму в двадцать четыре миллиона ливров ежегодно. Служки епископов, монашки-сплетницы, сводни-комиссионерки, сводившие и разводившие молодых и старых господ «хороших семей», — вся эта многочисленная орда ханжей и лизоблюдов, кормившихся у господского стола, теперь продавала революционную Францию оптом и в розницу, разыгрывая из себя «угнетенных старого режима». Эти люди быстро организовывали тайные союзы, превосходящие революционностью своих воззрений вождей Якобинского клуба и старых рабочих секционеров, бывших комиссаров фронтовых частей. Они вообще проявляли чрезмерную лояльность по отношению к революции. Но, однако, эта лакейская сволочь ухитрилась выгнать из округов мэрий, коммунальных учреждений и народных трибуналов честнейших и беднейших граждан, бескорыстно служивших делу революции. Они, соединяясь втроем, писали доносы на четвертого, создавали дела из ничего, запутывали народные суды, компрометировали его ложными шагами до тех пор, пока огромное чутье парижского простонародья из Сен-Марсо или обитателей подвальных этажей Сент-Антуанского предместья не сажало в тюрьмы сотни этих паразитов, вцепившихся крепко в тело революционной Франции. Тогда поднимались вопли, тогда кричали о безграмотности суда, о безжалостном терроре и «кроважидности всех этих Маратов и Робеспьеров».

В 1792 году, в год войны, в год тяжелого продовольственного кризиса, эта контрреволюционная шваль все чаще и чаще наполняла тюрьмы, и вот в Бисетре, в тюремном заведении, названном по имени кардинала Винчестера, владевшего когда-то этим

мрачным и обширным кварталом Парижа, ко дню сентябрьской расправы накопилось три с половиной тысячи людей такого сорта. Двери тюрьмы, обычно открывавшиеся с той легкостью, которая так вводила в досаду бесновавшихся парижан, в этот день оказались необычно туго и крепко заперты. Исчезли сторожа, и начальник тюрьмы находился неведомо где. Затаенная и мрачная бисетрская тюрьма, казалось, вымерла, ибо никто не отпирал на стук, на крики, на многотысячный вой собравшихся парижан, желавших проверить состав заключенных. Тогда, по приказу секций, к воротам Бисетра была привезена пушка, и ядро, гулко ударив в ворота, перебило замок. Гвозди дождем посыпались из пазов и щелей старых тюремных дверей. Казалось, наступило время освобождения — так бурно и быстро ломались замки, двери слетали с петель, гнулись решетки. Один раз было так, что люди, перед которыми насильно открывались двери, отказывались пошевелиться из-под дощатых нар и сломанных матрацев. Заключенных вытаскивали на двор, опознавали и убивали тут же.

Парижский мэр Петион, выждав надлежащий момент, явился в тюрьму и уговаривал остановить истребление контрреволюционеров до организации более длительной формы суда. Знал ли он сам в этот день свою судьбу — свой волчий побег из Парижа, когда было открыто его предательство? Загнанный в бесконечные пустыри бордосских ландов, он был найден еще теплым среди стаи волков, пожиравших его мертвое тело. Сантер, организатор двухтысячного отряда копейщиков, только на третий день пошел уговаривать толпы, несмотря на приказ, изданный Роланом — жирондистским министром внутренних дел.

Бонапарт, встретившись взглядом со старым Ретифом, наблюдал за тем, как выражение ужаса заставляет его меняться в лице и переходить от одной окраски в другую; вдруг новое зрелище отвлекло его внимание.

Максимилиан Робеспьер и Тальен появились вдалеке, они медленно шли по улице с таким видом, как будто в Бисетре ничего не происходит.

— Гражданин Тальен! — закричал один ремесленник. — Эти дни муниципалитет должен оплатить обычным тарифом.

Тальен кивнул головой и сказал:

— Вы принесете мне списки.

Бонапарт уловил слова Робеспьера. Тот говорил:

— Вы говорите об этом негодяе, полковнике Модюи в Сан-Доминго? Если происходят страшные события в Вандее, которая имела несчастье восстать во имя бога и короля, то помните, что мы точно такую же Вандею имеем и в Антилиях, где жестокости вызвали восстание черных людей и мулатов, где глупость Бриссо не сумела понять, что как раз в ту минуту, когда после гибели шестисот плантаций колонисты пошли на мир с мулатами и признали декрет пятнадцатого мая тысяча семьсот девяносто первого года, как раз в это время Барнав, с тупостью настоящего жирондиста, уничтожил все значение декрета и поставил цветные племена в положение худшее, чем до революции. А кто такой Модюи, этот королевский офицер, как не яростный сторонник короля, как не противник революции, как не руководитель сан-домингской Вандеи? Разве после этого тебе кажется странным такое зрелище?

Бонапарт обернулся в ту сторону, куда кивнул Робеспьер и где среди криков гневной толпы, среди шума, беспрестанного бега, ударов и воплей он увидел черного человека с курчавой головой, с черным лицом и черной волосатой грудью, в разорванной рубахе. Белые зубы улыбались страшным оскалом, он держал в руках выщербленный старый кусок алебарды и потрясал неправильно отрубленной, искрошенной головой. К нему подводили одного за другим, он резал, рубил и ударял без усталости и без перерыва.



То был негр Делорм, мститель за свое племя, появившийся неизвестно откуда, искавший по тюрьмам предателей, когда-то истребивших делегатов с острова Гаити. Чтобы облегчить себе эту задачу, он не отказывался ни от чьих поручений; он рубил, резал, крошил и кромсал всех, кого ему подводили, и только на третью ночь, найдя в катакомбах заставы Сен-Жак молодого лакея Массиака и конюха, служившего Шарлю Ламету, он связал их обоих и, погоняя бичом, ночью подвел их к самому Кламарскому рву. Он долго и ожесточенно говорил им что-то ломаным английским языком и потом, развязав их правые руки и надев кандалы, соединившие обе левые руки его врагов, приказал им вступить в единоборство, заявив, что тот из них, кто победит, будет им отпущен на волю. Но оба, и лакей и кучер, мгновенно загорелись одним намерением: они бросились на Делорма с ножами, которые он же им вручил. Хитрый негр это предвидел, он отскочил в сторону; легкий помост, на который прыгнули оба разъяренные его противника, провалился под их ногами, и оба они попали в клоаку Кламарского рва.

Ретиф де ля Бретонн так описывал эти события:

«Я заперся у себя дома на остальной день 3 сентября, думая, что убийства прекратились за недостатком жертв, но вечером я узнал, что ошибся, — они были приостановлены всего на несколько минут. Я не верил рассказам о том, будто восемьдесят заключенных в тюрьме Ла Форс ушли в подземелье, откуда стреляли в нападавших, и будто их собирались задушить с помощью дыма от смоченной соломы, положенной у входа. Я отправился туда. Убийства продолжались, но спасенных было больше, и мне показалось верным то, что говорилось о ворах, будто бы спасавших своих товарищей. Но был и обратный способ действия. Все фальшивомонетки заставляли, наоборот, убивать своих товарищей, делая в то же время вид, что хотят их спасти... Убийства прекратились в Аббей, в Консьержери, в Шатле, где никого не осталось.

Вечером все направились в Бисетр. Там вывели «конурочников» (тех, которые сидели взаперти в темных конурках); но их судили менее правильно, чем в обычных тюрьмах. На них едва взглядывали, по двум причинам: надзиратель в тюрьме Бисетр, убитый раньше других, не мог дать список заключенных, а затем вообще было известно, что то были поголовно отвратительные субъекты, которых революция не могла освободить. Они были расстреляны во дворе. Заключенные в тюрьме Ла Форс в первом этаже, во дворе темных конурок, пробовали защищаться, вооружаясь; но они были уничтожены. Вот что произошло в этой тюрьме, весьма некстати присоединенной к госпиталю.

Оставалось еще одно дело, которое особенно радовало негодяев и разбойников. Я узнал, что его отложили на четвертое, по возвращении из Бисетра.

В тюрьме существовала одна несчастная — Дерю (вдова известного отравителя), которую, после долголетнего заключения, во время которого она родила ребенка, — по слухам, от Ладиксмери, — наконец, наказали плетью, заклеив ей белые плечи, как недавно графини Ламотт (графиня де Валуа Ламотт — героиня дела с ожерельем королевы), и посадили в Ла Форс при Сальпетриере на весь остаток ее жизни. Эта женщина, по слухам, была главной причиной этой экспедиции на женщин госпиталя... Про нее говорили, что она была красавица, но в то же время интриганка, озлобленная, способная на все; не раз говорила, что была бы счастлива увидеть Париж, залитый кровью, или поджечь его... Но меня всего более удивляет то, что все знали об этом проекте и что никто ему не помешал. Наоборот, на следующий день в семь часов утра разбойники выступили в сопровождении двух людей «с шарфами через плечо» — во избежание беспорядка, как говорили.

Пришли. Какой-то простолудин закричал среди двора во все горло:

— Начальницу, начальницу! С нее надо начинать!

Это не входило в планы. Явившаяся начальница и сестры высказали страх, внушенный им этим человеком.

— Подождите, — сказал один марселец (последующее передаю буквально со слов свидетеля-очевидца), — я вас от него избавлю. — И рассек ему череп ударом сабли, потом отбросил его к стене.

Приказали открыть дверь женского отделения тюрьмы Ла Форс. Женщины затрепетали от радости (как прежде бывало в тюрьмах), думая, что пришли их освободить. Здесь следовали списку. Их вызывали по старшинству. Читали причину заключения, выводили из одного двора и убивали на другом. Вдова Дерю оказалась четвертою или пятою и оповестила всех остальных об ожидавшей их участи ужасными криками, так как разбойники, забавляясь, обращались к ней с непристойностями. Ее труп не был от них избавлен и после смерти. Сорок женщин были убиты здесь.

Пока эта кровавая сцена происходила в одной части Ла Форс, по другим бегали распутники и негодяи всей Франции или даже всей Европы. Прежде всего сутенеры выпустили всех проституток. Надо было видеть эту сцену. Она не была кровава; но едва ли можно было увидеть нечто более непристойное. Все эти женщины предлагали своим освободителям, равно как и каждому первому встречному, то, что они называли любовью...

Но оторвем наши взоры от этой картины и направим их на другую, которая не будет ни более пристойною, ни более успокоительною, ни более нравственною, но которая по крайней мере не явится изображением двойной испорченности.

Сутенеры и чернь бросились в женскую тюрьму. Другие распутники проникли в приют для девиц, приют «домашних служанок», то есть тех, которые там воспитывались.

Несчастные ведут там печальную жизнь. Вечно за школьными занятиями и под страхом розги учительницы, обреченные на вечное девство, на плохую и невкусную пищу, они не ждут иного счастья, как только чтобы кто-нибудь пригласил их в прислуги или на какую-нибудь тяжелую работу. Да и тогда что за жизнь? При первой жалобе несправедливого хозяина или хозяйки их берут обратно в приют для наказания... Нетрудно почувствовать, насколько эти существа унижены и несчастны...

Вот к этим-то забитым и униженным существам, которые, будучи случайно брошены в общество, остаются в нем всегда презренными, — ворвалось все, что было наиболее распутного и наиболее злодейского в Европе... Негодяи обежали все дортуары, в то время как молодые девушки вставали. Они выбирали из них тех, которые им более нравились, и овладевали ими тут же, на глазах у подруг. Ни одна из этих девушек не была изнасилована, так как ни одна не сопротивлялась. Доведенные почти до униженного состояния рабынь-негритянок, они повиновались малейшему приказанию. Некоторые честные молодые люди, находившиеся в толпе в качестве любопытных, спасали девушек, уводя их из этого места...

Так как среди девушек есть много дочерей бедных родителей, то часто у них оказываются братья и сестры в предместьях или в деревне. Один молодой пивовар бродил по спальням, кого-то разыскивал. Наконец, он увидел молодую девушку, оказывавшую некоторое сопротивление и отбивавшуюся от немца, замахнувшегося, чтобы дать ей пощечину. Молодой пивовар бросается на немца и оглушает его дубинкой. Вся толпа восстает против его поступка.

— Ах, боже мой! — восклицает пивовар. — Это моя сестра. Неужели вы хотите, чтобы я допустил целовать ее на моих глазах?

Тогда все приняли его сторону, и он увел девушку.

Другая сцена произошла, на глазах у моего свидетеля. Одну из наиболее красивых девушек преследовал парень из мясной. Он уже поймал и схватил ее, как вдруг девушка обернулась.

— А, мой братец! — воскликнула она, глядя ему в глаза.

Мясник остановился и вслед за тем ушел, уведя с собой сестру. Одна из девушек, впрочем, оказалась удачливой. То была молоденькая блондинка, быть может единственная безусловно красивая девушка в приюте. При виде разбойников она заклеила себе лицо пластырем и вымазала его грязью. Среди входивших она заметила мужчину лет сорока, внушившего ей некоторое доверие. Гиацинта Гандо — так звали девушку — вытерла лицо и бросилась к нему с криком: «Отец, спасите меня!» Мужчина накрыл ее своим плащом и увел, говоря: «Это моя дочь!» Придя в его дом. Гиацинта бросилась к нему на грудь со словами: «Делайте со мной что хотите, но только никогда не отсылайте меня обратно в приют». Мужчина привязался к ней, найдя в ней, кроме красоты, и добрый нрав. Что было дальше? После того как у нее родился сын в начале мая, он на ней женился...

Эта история меня несколько утешила... Событие в приюте «домашних служанок» завершило разгром Сальпетриер. Простимся с этим несчастливым сентябрем, который когда-нибудь займет такое видное место в нашей истории».

Господин Шатобриан вернулся после полугодичных скитаний по Америке. Савиньена де Фромон сидела с ним в маленьком притоне, что у самого выезда из Парижа в Венсенскую рощу. Она слушала его бесконечные рассказы об американских лесах, о восхитительных таинствах южноамериканской ночи, но слушала рассеянно, и в голове у нее неустанно бродила одна и та же мысль: «Когда же этот болтливый путешественник заговорит о деле?» Но Шатобриан, увлекшись своей поэтической фантазией, продолжал:

— Я думал отдохнуть на лоне девственной и могучей природы. Когда в непроходимом лесу, перебегая от дерева к дереву по берегам многоводных рек, я почувствовал, что здесь не ступала человеческая нога, я вдруг понял и оценил великое учение Руссо о естественном человеке. Париж со страшной бойней, с неизвестностью завтрашнего дня, это ад по сравнению с тем, чем должно быть человеческое общество, основанное на общественном договоре. Но, увы, в этот самый момент, когда я увлекался видом первобытного леса, в эту минуту слух мой поразили странные, неприятные и слишком знакомые звуки. Я понял их происхождение: на поляне под звуки плохонькой скрипки плясали индейцы, а маленький француз-парикмахер, напудренный, в парике, играл им польки и кадрили.

— Ну что же, это очень мило, — сказала Савиньена де Фромон, тихонько нажимая туфлей на носок сапога Шатобриана. — Мой друг, вы заставляете меня терять время, — продолжала она, — поберегите ваше красноречие до того утра, когда вы сможете опять с полным правом перед восходом солнца сравнивать мои покрасневшие щеки на подушке с расцветающим небом, — не в пользу последнего, как вы неоднократно мне говорили. А теперь помните, что вы задолжали мне за прошлый раз пятьсот ливров золотом, а сейчас, если дело успешно пойдет, вы получите паспорт и возможность беспрепятственного побега через границу только при условии немедленной уплаты, вот сейчас, перед нашей разлукой, пятисот тысяч ливров золотом.

Шатобриан вскочил как ужаленный:

— Боже, где я их возьму?

— Но, мой друг, у вас молоденькая жена с очень старым состоянием.

— Да, дорогая, — раздраженно ответил Шатобриан, — я должен был очень сильно истратиться, чтобы в дни сентябрьской резни выручить из тюрьмы мать и сестру.

— Напрасный труд, напрасный труд, — сказала Савиньена, — они вас только свяжут по рукам и ногам.

Шатобриан едко улыбнулся, махнул рукой и сказал:

— Я не стану разъяснять вам, как и чем связываете меня вы. Впрочем, если все это вас так затрудняет, я могу отказаться, — я просто явлюсь в секцию и скажу, чтобы вас арестовали.

— Ах, вот как! — вскричала женщина и, вскакивая со стула, резким движением уронила кружку вина, залив камзол и панталоны господина Шатобриана.

— Аристократ и проститутка дерутся, — вдруг громко произнес кто-то в углу.

— Ты сам аристократ, — ответил Шатобриан.

Он для виду бойко и с любезным видом предложил руку Савиньене. Около рожи Шатобриан быстро скользнул в заросли и, прежде чем Савиньена де Фромон успела его догнать, он уже сидел верхом, а вторая лошадь нетерпеливо била копытами, имея в седле старика, не без удивления смотревшего на женщину, повисшую на стремях молодого Шатобриана.

— Как? Ведь вы же обещали мне карету! — кричала женщина. — Неужели я пешком пойду в Париж?

— Как! Ведь вы же обещали мне паспорт! — иронически дразнил Шатобриан.

— Неужели я пешком пойду через границу?

— Будь проклят, негодяй! — закричала женщина. — Мы еще встретимся!

— Надеюсь, что нет, — крикнул Шатобриан, ударяя хлыстом по лицу взбешенной женщины.

## 8. САНТОНАКС

Под этим благостным небом, под вечным солнцем и пленительными эфирами Гаити во всех садах и плантациях дарит человеку голубые и розовые цветы алоэ, ваниль, кофейное дерево, пряности, хлопок, и огромные сахарные тростники покрывают остров. Юнивер Питтореск.

Терпение — это самое редкое растение, оно произрастает далеко не в каждом саду. Английская поговорка.

Пьер Леон Модюи, один из полковников, вскоре генералов, находившихся в распоряжении губернатора Сан-Доминго Перонье, был по существу человеком, лишенным какой бы то ни было злобы, однако к полному отсутствию собственной моральной физиономии он присоединял полное неумение разбираться в людях. Если бы генерал Модюи имел возможность слышать слова Робеспьера о том, что он является «организатором колониальной Вандеи», то был бы немало огорчен: он всегда считал себя просвещенным

человеком, был почитателем Вольтера и Руссо, и однажды за дружбу с Дювалем Дюпременилем, бастильским узником, который не испугался противодействовать королевским министрам, Модюи был волею короля удален из Парижа. Это положило начало тому изменению взглядов, которое кончилось полной ломкой всех воззрений Модюи. Он подал прошение на королевское имя, в котором, распинаясь в верноподданических чувствах, коленопреклоненно просил короля вернуть ему право пребывания в Париже. Это право он получил на короткий срок. Он стремился поддержать связь с депутатами Национального собрания, но, не получив доверия ни там, ни здесь, провалившись вместе с провалом королевского проекта о постройке новых четырнадцати военных судов, он принужден был искать себе убежище в первой попавшейся должности и уехал, получив военное назначение на остров Гаити. По его предположению, это могло доставить ему почетное положение, большие деньги, и вдруг оказалось, что возможно еще одно приобретение — военная слава.

Супруга господина Модюи писала в Париж:

«Когда европейцы пришли на острова, там царил природа во всем диком величии своей роскоши. С гребней гор спускались перевитые ползучими лианами беспредельные леса, соединявшиеся с саваннами и тянувшиеся, подобно длинным прядям волос, до моря. Задерживавшиеся над вершинами этих лесов облака постоянно сообщали им влажность, которую любят сочные растения этого климата, а с большей еще высоты к ним лились потоки солнечных лучей. Таким образом, питаемые всеми испарениями океана и всем тропическим жаром, острова стали добычей обильной растительности, которая, не останавливаемая зимними морозами, заглушала и пожирала сама себя, для того чтобы возродиться в еще большем изобилии. Тогда-то со всех сторон началось чрезмерное разрушение. Топор и огонь зараз пущены в ход в этих девственных лесах, а саванны утратили свою вековую тень. Прибывшие из Африки суда начали высаживать на эти берега негров. В настоящее время сахарный тростник покрывает золотоносные берега по всей поверхности колонии. Лучшие земли отошли под шестьсот сахарных плантаций; кофейные плантации заняли пригорки; таким образом разделенный остров имеет восхитительный вид. Это волшебный сад.

Повсюду взор с восторгом останавливается на выполотых и разделенных на квадраты тростниковых полях, за которыми ухаживают, точно за цветником; тропинки между плантациями сходятся со всех концов в виде розетки к саванне, посреди которой высится дом владельца. Там ее сердце; оттуда исходит жизнь, кровь разносится словно по венозным сосудам. В ста саженьях от дома плантатора расположены хижины негров, образующие деревню от ста пятидесяти до трехсот душ в каждой плантации. Время жатвы, начинающейся в январе и заканчивающейся в июле, — это ни с чем не сравнимая в мире картина, которая представляется с возвышения: вид вертящих свои крылья мельниц по всему острову, пропадающих вдаль сахарных плантаций; покров острова, ежеминутно меняющий вид и цвет; работы по уборке, веселый огонек, точно убегающий все далее и далее, и выходящий из труб сахарных заводов дым. Со всех саванн раздается пение, запах горячего сахара поднимается к небу. Наступает вечер: мельницы останавливаются, негры выстраиваются в ряд перед домом хозяина для общей молитвы, которую слушают с обнаженными головами плантатор со всей своей семьей; затем каждый отправляется к себе в хижину и разводит огонь, чтобы приготовить ужин. Двое негров, назначенных для этого по очереди, помещаются тогда в шалаше вблизи дома хозяина, разводят костер и, вооружившись ножами, готовятся охранять жилища. Все двери запираются, все другие огни гасятся, и ночь опускается на окрестности. Белые в Сан-Доминго делятся на два класса. Одни, будучи привязаны крупной земельной собственностью ко всем выгодам и пользе плантаций, имели бы основание жалеть о гибели своей собственности в случае уравнивания прав черных и цветных людей с белыми. Другой класс состоит из сволочи французских эмигрантов, бежавших от королевского гнева, выходцев из низкой толпы неаполитанских мятежников, карбонариев, бежавших из своих провинций. Здесь есть исступленные женеvские республиканцы, бежавшие из Франции в дни Людовика Солнца. Все они, пользуясь начавшейся смутой, нападают на богатейших белых и

охотно идут на приглашение черных банд, собирающихся в горной и лесистой части острова, куда не проникают французы из боязни страшных лихорадок и откуда выселились случайные испанские колонисты. Могу заметить, что те философские системы нашего времени, которые так пленяли, нас в нашем когда-то прекрасном Париже, имеют следствием самое губительное воздействие на умы негров и простолюдинов вообще. Прекрасные правила философов, будучи приведены в действие, сопровождаются величайшими бедствиями для благородных сословий. Я слышала об одном негре, выходец из плантажа графа Ноэ. Это плантаж Бреда, находящийся на расстоянии одной мили к северу от Кап-Франсеца. Я тебе напишу имя этого негра. Моя старая повариха-негритянка сообщила мне, что здесь ходит легенда о том, что какой-то гений вдохновил этого негра, научил его читать и писать и пристрастил его к чтению губительной французской философии еще в те дни, когда он был пастухом, мальчиком Бреда. Очевидно, бывший ваш управляющий, который ныне управляет бредским плантажем, именно г-н Байон де Либерта, не отличается зоркостью, ибо, зная о сношениях этого негра с бунтовщиками, убитыми в Париже, а также с неграми Биассу, Букманом (голова которого недавно была на пике для устрашения площади и даже мертвая смотрела на всех живыми горячими глазами) и Жаном Франсуа, Байон де Либерта оказывает столь странную доверенность этому опасному черному, философу. Конюшни и пастбища Бреда, судя по словам моей поварихи, сделались местом каких-то таинственных сборищ, на которых происходят, как говорят, таинственные обсуждения французских событий и чтение кит безбожного аббата Рейналя. Негры называют эти книги «белым кодексом черных людей». Как жаль, что в Париже мало знают о том, что здесь происходит... Знает ли нечестивый Рейналь о том, какие ядовитые плевелы принесли его посева?»

Пьер Леон Модюи увидел другую картину: посадив своего брата Николая Модюи в контору табачной фабрики, он имел возможность близко соприкоснуться не только с вопросами быта черных рабов и цветных племен, но и с тем, что больше всего интересовало его супругу, — с вопросом о суммах барышей, получаемых плантаторами, французскими колонистами. Это вызывало зависть в душе обнищавшего дворянина. Он согласен был переменить свои воззрения на праздных буржуа, получающих колоссальный барыш, переменить, но по одному их слову, если они научат его быть богатым. В колониях были немногочисленные французские войска, но очень многочисленные и вместе с тем превышавшие французов нерегулярные армии гаитийских маронов, рабов, из числа тех, которых совершенно легально доставляли французы и англичане и которые не вынесли режима и бежали в недоступные части острова.

Благочестивые негры, собирающиеся вечером на молитву, для того чтобы вместе с милостивым ласковым господином возблагодарить создателя за прелести восемнадцатичасового дня работы, зачастую убегали в саванны, организовывали там большие и малые отряды, и хотя эта армия нигде не была зарегистрирована и не вела списка своих батальонов, полков и бригад, но Модюи скоро узнал, что отряды маронов, скрывающихся в совершенно недоступных частях Гаити, гораздо значительнее, нежели думают в Париже.

Первое, что сделал господин Модюи, это написал генералу Лафайету о том, чтобы тот озаботился подкреплением колониальных войск. Он не получил ответа, и, как увидел впоследствии, это письмо сыграло самую решительную роль в определении его личной судьбы. Он очень неосторожно отозвался о пятнадцати тысячах мулатов, которые, будучи свободными и владея небольшими домиками, пожелали стать совершенно свободными, то есть участвовать в законодательных органах страны. Модюи просто приравнял их всех к числу восставших рабов и, помня уроки отца Николазика из классической древности, писал Лафайету, что:

«Во избежание зрелищ восстания нового Спартака необходимо как можно скорее избавиться от воцарения негров и мулатов, ибо если они сделаются господами острова, то он ничего не будет в состоянии сделать с другим, гораздо более опасным движением, которое есть среди

безродных плантаторов, „господ, выскочивших из бедноты“, неблагородных по крови и способных отложиться от Франции, если она будет оказывать покровительство идеям свободы среди мятежно настроенных цветкокожих и черных людей».

По Черному кодексу, надо уничтожать всех маронов, ибо каждый из них «трижды заслужил пытки перед смертью и смерть после пыток». Но так как у них много сторонников среди небезавших негров, работающих на плантациях, факториях, на фабриках и заводах, то в карательном порядке придется уничтожить такое количество людей, что плантации могут обезлюдеть.

«При теперешней дороговизне, когда англичане колоссально подняли цену на негров, это вызовет серьезный убыток. Не лучше обстоит и в других областях. Господа, привыкшие жить в невероятной роскоши, о которой не смели мечтать принцы и принцессы королевской крови, пожалуй, захотят отложиться от Франции и устроить из острова Гаити самостоятельное государство. Помните, что даже негры на плантациях курят такие сигары, которых мы с вами, или во всяком случае я, бедный французский генерал, не мог бы во Франции купить ни за какие деньги. Наши королевские чиновники слишком уже замкнуты, они зачастую спорят с местными плантаторами, которые заинтересованы в делах самоуправления колоний. Смотрите, дорогой маркиз, как бы нам не оказаться между молотом и наковальней. Надо все сделать для того, чтобы богатые люди имели максимум прав; надо все сделать, вместе с тем, чтобы население из белых людей, осевших на острове, — из итальянцев и французов, хотя и не дворянского происхождения, но составляющих основные массы белого населения, в виде ремесленников, купцов, матросов торговых кораблей и мелких торговцев, — получило бы гражданские права, если они аккуратно уплачивают свои налоги. Желательно было бы, чтобы вы как первый министр определили, следует ли вообще устраивать Законодательное собрание на острове, или Сан-Доминго должен выбрать своих представителей для отсылки в Париж. Вместе с тем, дорогой маркиз, уведомляю вас, что богатейшие колонисты сен-маркского кантона собрались в Сен-Марке и объявили себя приходским национальным собранием. Ответьте, пока не поздно».

Лафайет не ответил. Модюи не писал Лафайету, что уже давно новый губернатор Сан-Доминго, Бланшланд, через подставных лиц занимается куплей и продажей негров, что он сам не прочь бы принять участие в этих операциях. Он частенько подумывал, что его племянник, мэр города Бордо, мог бы в тысячу раз больше разбогатеть, если бы он, Модюи, сам мог направлять караваны в южные гавани, ибо «как-никак Бордо по справедливости назывался Антильскими воротами Франции». Через Бордо и его главные конторы антильские пряности поступают не только в Париж, но и во всю Европу. Тростниковый сахар шел не только на французское хозяйство, он служил серьезнейшим подспорьем английскому ввозу сахара на континент Европы.

Скоро новые события коренным образом переделали воззрения Модюи. Однажды после полудня к нему явился человек с благородным лицом, синеватыми ногтями, просто одетый, слегка ожиревший. Он никак не хотел сказать лакеям своей фамилии.

Модюи заинтересовался. Просунув голову в дверь, он вдруг увидел, что никакой тайны нет, что перед ним просто старый мулат Цюбал. С улыбкой, с униженным видом Цюбал, увидав господина, немедля проскочил в дверь и, перебирая всевозможные титулы, существующие и несуществующие, заговорил:

— Я не смею рассчитывать на эту честь, но, быть может, вы навестите меня, будет такая честь? Мой скромный обед, мой дом, мои слуги, мои негры

— все в распоряжении генерала.

Цюбал был самый спокойный и уважаемый мулат округа. Модюи хотел обойтись с ним

высокомерно, как подобает французскому генералу, но вдруг неожиданно не понятное ему самому любопытство сменило первоначальное решение.

«Я всегда успею обругать этого человека, — подумал Модюи, — но надо узнать, чего он хочет».

Обращаясь к мулату, он спросил:

— У тебя что: свадьба, похороны, семейное торжество? Что вынудило тебя звать меня, французского генерала?

— Ваше превосходительство, вечером, после захода солнца.

— Вечером, после захода солнца, — повторил Модюи. — Хорошо, кто же у тебя будет?

— Никто, кроме генерала, — сказал Цюбал.

Когда мулат ушел, Модюи подумал: «Один из моих предков дружил с арабскими вождями, по преданию занимавшими когда-то лесные склоны Дойинэ. Отчего бы мне не посетить этого почтенного мулата?»

И он посетил «почтенного мулата». Наступил вечер, спадал зной. Супруга господина Модюи ушла к соседям: она сидела уже давно на кампешевом диване креола Шапотена с его дочерьми и красивой креолкой-хозяйкой, которая прекрасно произносила слова, установленные по креольскому обычаю: «Мой дом

— ваш дом, генеральша».

Госпожа Модюи слушала мелодичные креольские песни, которые пели молодые дочери Шапотена на удивительном языке, в котором смешивался родной язык Шапотена с языком испанских креолов, в котором смешивались мелодии знойного древнего острова карибков с причудливыми, простыми и словно во сне звучащими звуками Люлли и Рамо: нежный, тихий, какой-то пчелиный звук, похожий на жужжание, который клавесин дарил вечеряющему антильскому воздуху, смешивался с чудными голосами молодых девушек.

На столиках, на скатертях, на шитье лежали деревянные вещицы, сделанные неграми местной мастерской из кокоса и пальмы. Желто-белое молочное дерево пальмы почти ничем не отличалось в полировке от слоновой кости. Креолки любили брать в руки эти вещицы, играли ими во время разговора. Из этого же самого белого дерева были сделаны почти прозрачные белые ложки, которыми хозяйка клала из баночек всевозможные дульчи — креольские варенья, намазывала их на белые плоды хлебного дерева, льяне. Кокосовые вилочки, тонкие, похожие на деревянные лопаточки с кружевными узорами на ручках, стучали по краям тарелок гостей. Подавались пататы, сладкие длинные бананы разного приготовления, желе из мараньонов, цапоты, ниспэросы и другие местные лакомства.

Негрятя, маленькие, прекрасно сложенные, в белых фартуках, белых камзолах и белых жабо, синих шароварах и кожаных туфлях с загнутыми носками на босу ногу, числом двенадцать, прислуживали за столом. Это были любимцы господина Шапотена, взятые к столу еще в детском возрасте, когда нет ни удивления, ни стыда, когда нет еще созревшей дружбы и того презрения товарища, которое останавливает молодежь от целого ряда неосторожных поступков. Эти молодые негры в большинстве случаев довольно рано привыкали презирать неудачников, относиться к ним со своеобразным пренебрежением, но зачастую, не рассчитав своего взлета, они падали, заслужив презрение тех, кого они сами презирали. Их встречали товарищи, привычные к побоям и не знавшие барского двора.

После кофе, когда спала жара, креолки с белоснежными лицами, с глазами блестящими и



черными, с великолепными волосами, спадавшими почти до колен, потанцевав немного для увеселения генеральши Модюи, посадили ее в воланту

— экипаж чрезвычайно удобный, так как можно принять любое положение, не вставая и даже не поднимая ног, и выехали на прогулку. Генеральша была немало удивлена, когда увидела по дороге на Макорис, как ее супруг выходит из экипажа около дома Цюбала у самого берега моря на горе и как Цюбал вместе со своими сыновьями встречает его почтительно и нежно у ворот, украшенных гирляндами цветов. Генеральша проехала по дороге, ее супруг вошел в покои мулата.

Мулаты редко приглашают к себе белых. Поработавшая черных, они всю тяжесть своей ненависти переносили на белых поработителей, происходя в первом поколении от смешения крови, которое не знает ни белых, ни черных, которое ломает перегородки сословные, классовые; они были живым доказательством протеста природы против классового устройства общества, и, однако, никакие их усилия, никакие усилия собственной мысли не давали им возможности выйти из того страшного тупика, в который загнал их освежающий грозовой, громоподобный вихрь французской революции. Перед одними были перспективы колоссальных возможностей, другим рисовался тот страшный гнет, который являлся результатом напуганного воображения колонистов и белых людей на Гаити, ибо если одни требуют свободы, то другие удваивают рабство.

В гостиной, украшенной сообразно европейским обычаям, Цюбал встал перед французским генералом и, рассыпаясь в раболепных выражениях, просил его оказать честь десяткам кушаний, расставленных перед французом на маленьком круглом столе.

Модюи огляделся. Двери, обитые тонкими полосками сантала почти малинового цвета, были затворены; ни одного вздоха не слышалось за ними.

— Дорогой генерал, — сказал Цюбал, оглядывая золотые нашивки на синем мундире Модюи, — я долго обдумывал свое намерение, и, для того чтобы вы не думали обо мне плохо и оценили мою преданность в полной мере, я, пока вы кушаете, не предлагаю вам вина, потом и мне, старику, разрешите выпить за ваше здоровье, — а сейчас скажите мне одно: не согласитесь ли вы взять в дар...

Модюи смотрел с любопытством и тревогой.

— ...вот этот небольшой кусок земли, на котором стоит мой дом. Он довольно удобен, обширен, как все земли вокруг. Здесь родится лучший кофе во всей стране, здесь созревают лучшие ананасы, у меня восемь сахарных плантаций, одна табачная, одна ванильная, четыре хлопковых. Я должен уехать, я становлюсь стариком.

— Куда же ты уезжаешь? — спросил Модюи, ошеломленный этим предложением.

— Я стар и достаточно богат, я хочу на покое прожить остаток дней. Вы знаете, какие времена. Если я сейчас начну продавать мое имущество, мне за него дадут так мало, что разговор о продаже будет стоить гораздо больше для моей печальной старости, и, кроме того, я могу продать только мулату, которые вообще страшно скупы. Если я выдам вам расписку в получении от вас платы за мои земли, вы нисколько не пострадаете, и я смогу спокойно выехать, оказав таким образом знак малого, но сильного внимания благородному французскому властелину, вступившему на землю Сан-Доминго.

— Так ты за этим меня звал? — вдруг вставая, произнес Модюи.

— Да, генерал, — твердо сказал мулат. Меня беспокоят ваши артиллеристы. Они начали подкоп моего виноградника с моря карабкаются матросы к маленькой табачной сортировочной, которая для меня очень дорога, потому что я на опыты с табаком потратил

лучшие силы моей юности... Ваши чудачки-французы называют табаком это растение, которое все мы называем «петтон». «Табак» в старицу называлась трубка для курения этой травы... Дело совсем не в том. Мне стало беспокойно жить в близости к столице острова. Господин Никот преподнес вашей королеве Екатерине Медичи в тысяча пятьсот шестидесятом году это растение. Вот этот Никотов табак я улучшил тем, что получил самые замечательные сорта. Вы будете их владельцем, — только потребуйте, чтобы прекратили с моря и с суши подкопы под мою усадьбу, владейте ею сами. Презирующие нас матросы не осмелятся подкапывать имущество французского генерала.

С этими словами Цюбал налил в чистую стопку коричневый, густой, тягучий и наполняющий комнату запахом напитков.

Модюи вдруг оживился. Он поднял стопку до уровня глаз, выпил ее залпом и сказал:

— Хорошо, я согласен. Когда ты едешь?

— Когда прикажете, генерал, — спокойно ответил Цюбал.

Наутро артиллерийские работы во всех имениях Цюбала были прекращены. Через неделю генерал въезжал полновластным собственником одного из богатых имений, и уже в качестве собственника он руководил организацией войск против восстания Оже.

Не показываясь нигде сам, он через подставных лиц проделывал неслыханные жестокости. Он восемь тысяч негров закопал в песок в десяти туалетах от Макориса, потом, разогнав по этому огороду из человеческих голов, еще дышащих и смотрящих в небо, одиннадцать эскадронов французской конницы, он смотрел, как она крошила копытами лошадей человеческие черепа. Генерал Модюи все чаще и чаще прибегал к коричневому напитку, оставленному в погребах Цюбала. Он окончательно провозгласил себя сторонником французской монархии, и в то время как мулаты и свободные негры требовали уравнивания в правах и участия в Законодательном собрании Гаити, генерал Модюи был сторонником того, чтобы разогнать всякие выборные собрания и уничтожить всякую память о французской революции.

Белые колонисты, не принадлежавшие в числу богачей Сан-Доминго, владевшие небольшими факториями почти у самой горы, на заре внезапно были разбужены трубами французских горнистов. Конница генерала Модюи пересекала кратчайшим путем фактории, но эти люди вдруг с музыкой бросились в атаку на стада, пасшиеся в прериях Гаити.

Этот безумный поступок довершил изоляцию Модюи. Удивлению колонистов уже не было границ. Начались безумства французского генерала. Не было удержу его затеям. Но вот однажды, в день казни Букмана, когда генерал Модюи соскакивал с лошади у собственного дома, неизвестный негр, встав у стремени, ударом кривой шашки снес голову генералу Модюи, вскочил на его лошадь и ускакал.

Так кончилась карьера владельца цюбаловского имения, самого либерального генерала французской армии, вольтерьянца и почитателя идей Руссо, корреспондента «Монитора», бежавшего за границу и продававшего Францию.

— Какие газеты выходят в Париже?

— Да очень много, господин Лавуазье.

— Ну, например?

— «Старый Кордельер», «Революция Франции и Брабанта», «Национальная газета», или «Всемирный указатель», ну, потом «Легограф», ну, потом «Патриотические анналы», потом «Отец Дюшен» и еще...

— Хорошо, но где же опубликовано о том, что я вышел из откупов? — спрашивает Лавуазье.

— Право, не знаю, нигде не опубликовано, — был ответ.

— Знаете, — заявил Лавуазье, — я становлюсь похож на птицу из стаи в осенний перелет. Десять лет проходит, как охотник убил одну на берегах Сены, и с тех пор вся стая при перелете из Скандинавии в Африку огибает Париж. Что мне делать?

— Что вам делать? — отвечал собеседник, доктор Кабанис. — Ну, принимайте Дюрандовы капли и успокойтесь. Я не понимаю разницы в том, заявили ли о вашем выходе из откупов до или после их ликвидации.

— Ах, вы меня не понимаете! — сказал Лавуазье. — В феврале этого года меня снова призывали, предлагали занять должность директора Режи-де-Пудр, я отказался. Ну где мне быть директором пороховых заводов! Я продолжаю свою работу, но мне все труднее и труднее дышать.

Кабанис взял его за руку, нащупал пульс и сказал:

— Великий Гарвей говорил, что вполне можно обойтись с одной третью той крови, которая дана человеку. Сделайте себе кровопускание; посмотрите, как надулись жилы у вас на висках.

— Я не закончил, — сказал Лавуазье, не отнимая левой руки. — Комиссар секции произвел обыск в Арсенале, опечатал все мои документы, опечатал все мои научные работы, а без некоторых формул я не могу проделать самое интересное, что я считал делом своей жизни: плотность воды я считаю единицей веса, мы хотим установить универсальный метраж согласно природе. Великий Руссо учил, что она является нашей матерью, а нет ничего лучшего, как воздать должное виновникам своей жизни. Природа указывает новой Франции способ учредить новые меры.

— Как бы они не стали виновниками вашей смерти, — проворчал Кабанис. — У вас повышенное давление крови, сосуды полопались у вас в глазах, вы выглядите плохо.

— Так вот я говорю, — перебил его Лавуазье, — мой помощник Лефоше застрелился, это был невиннейший человек. Бумаги мои опечатаны. Как я могу перед началом нового века дать французам и всему человечеству новые единицы мер и веса?

— Я бы на вашем месте уехал.

— Что это поют? — вдруг вскочил Лавуазье.

— Как что? — со смехом сказал Кабанис. — Это боевая песня марсельского батальона. Офицер Руже де Лиль на фронте сочинил эту песню, Гретри написал на нее музыку, нежный Гретри, автор оперы «Ричард Львиное Сердце». Представьте себе, дорогой Лавуазье, это сочетание: юный офицер с лицом девушки и старый композитор, автор королевских пасторалей, музыкант во много раз лучше, нежели какие-нибудь нежнейшие и сладчайшие Рамо и Люлли, вдруг соединили свои голоса, чтобы сочинить вот эту песню.

Волонтеры, проходившие мимо Арсенала, пели:

Вступаем мы в кровавый путь,  
Когда отцы в лучах денницы  
Принуждены навек уснуть,  
И мы украсим их гробницы,

И ночью мы найдем их след Сквозь бури лет и сквозь бураны Несем мы на алтарь побед Свободы лучший первоцвет.

Так трепещите же тираны!..

Лавуазье и Кабанис стояли у окна. Молодежь в новых мундирах, со штыками на ружьях громко пела; доносились еще слова:

Людовик — деспот кровожадный, Но вы сообщники Кондэ...

Кабанис улыбался маленькой, хитрой, лисьей улыбкой и говорил, успокаивая Лавуазье:

— Вот посмотрите, сочинил песню — и сам испугался. Я подробно знаю из Комитета двенадцати, что когда господин Карно приехал в Рейнскую армию и сообщил господам офицерам о низложении короля, тогда этот самый автор Марсельезы, красная девица Руже де Лиль, сорвал с себя эполеты и швырнул их в лицо генералу Карно.

— Ну и что же? — спросил оживленно Лавуазье.

— Что же, — повторил Кабанис, — что же? Убежал в штаб Дюмурье и потом скрылся в Эльзасе.

Лавуазье вдруг засмеялся:

— Ну, стоило ли писать такую песню?

Кабанис сказал:

— А стоит ли вам говорить о ваших формулах? Вы как будто очень взволнованы. Да что, вы в переписке с эмигрантами, что ли?

— Нет, — ответил Лавуазье, — я считаю это бесчестным, я сторонник революции, но меня беспокоит непонимание толпы.

Кабанис улыбнулся едко.

— А вы ее понимаете? — спросил он.

— Важно, чтобы она меня понимала, — ведь во мне французские интересы.

— А она думает — важно, чтобы вы ее понимали.

— Мы не сойдемся, — сказал Лавуазье.

— Ничего, сказал Кабанис. — Простите меня, старика: если вы не сойдетесь, вас сведет машина доктора Гильотэна, которую вчера неведомо кто построил на заре перед самым зданием Отель-де-Вилль.

Раздался стук, в дверь вошел слуга и сообщил:

— Господин Пинель.

Кабанис улыбнулся тонкой звериной улыбкой. Трудно было понять, смеются ли его глаза, или его губы складываются в усмешку. Видя колебания Лавуазье, он вдруг с лихорадочной быстротой заговорил:

— Слушайте, академик, примите его. Ведь это же страшно интересно! Если какой-нибудь господин Месмер оказался просто шарлатаном и сукиным сыном, то ведь Пинель — это же

ведь гений перед ним, это же лучший лекарь заболевания духа!

Но Лавуазье и без агитации Кабаниса распорядился жестом принять Пинеля, которого очень уважал.

Пинель был у Лавуазье месяц тому назад. Он принес в пробирке тонкий белый порошок с просьбой дать качественный анализ этого странного зелья, только что привезенного с Антилий комиссаром Законодательного собрания Сантонаксом. Этот порошок был отобран у двух матросов, которые на палубе корабля «Артемида» в полубреду закололи капитана, скинули семерых матросов за борт, со страшной силой и бешеными криками захватили штурвал рулевого и компас в капитанской каюте и, выхватив шомпола мушкетеров, заклепали двенадцать орудий на борту корабля. Лавуазье больше не знал ничего. Пинель вкратце сообщил эти сведения и оставил состав у химика. Пинель вошел в комнату, где стояли Кабанис и Лавуазье. Пинель, очень спокойный, круглолицый, с улыбкой горечи, которая, опуская его губы, странно противоречила выражению веселых, почти смеющихся глаз, сказал:

— Ну вот, дорогой Лавуазье, я, кажется, не опоздал. Ко мне пришел некий пикардиец, господин Демулен из города Гизе, тупоумный старик и скряга, верноподданный его величества бывшего короля. У него все в голове перепуталось! И знаете, с чем он ко мне пришел?

Кабанис вежливо встал и, обращаясь к Пинелю, сказал.

— Я не помешаю великому лекарю души в беседе с великим знатоком вещества?

— О нет! — сказал Пинель. — В моей науке нет секретов. Чем больше фонарей светит в этот бездонный погреб, тем лучше.

— Так, — сказал Кабанис, — наука любит тайны.

— Наука любит свет, дорогой Кабанис, — вдруг отозвался Лавуазье. — Так что же, дорогой Пинель, — спросил он, — что привело к вам отца Камилла Демулена?

— Прежде всего, — спросил Пинель, — какой это Камилл Демулен? Это тот самый, который издавал «Революцию Франции и Брабанта»?

— Да, да, тот самый, — ответил Кабанис. — Все дело в том что этот юноша только что женился на богатейшей невесте Парижа Люсиль дю Плесси. Эрот яростно вмешался в политику, и мальчик Демулен не знает, оставаться ли верным революции, или своей жене, одной из прекраснейших женщин, которых я когда-нибудь видел.

— Да, они друг друга стоят, — сказал Лавуазье.

— Так Знаете, с чем явился этот старик отец? Он требовал, чтобы я властью начальника Сальпетриера и Бисетра, двух домов умалишенных, освидетельствовал его сына и признал его безумным матереубийцей.

— Как? — воскликнули оба, Лавуазье и Кабанис.

— Да так; старик сообщил, что в силу присоединения сына к партии мятежников, уничтожающей законную власть во Франции, его мать заболела и потеряла мензулы от испуга.

Кабанис засмеялся.

— Дважды женщина теряет мензулы: первый раз, когда ей нужно родить, второй раз, когда

приходит климакс. Сколько же лет этой старухе?

— Не знаю, — улыбаясь, сказал Пинель. — Судя по возрасту мужа, и ей пора готовиться с покорностью к возрасту климактерии и не роптать на судьбу. Революция тут ни при чем. Я сказал сумасшедшему старику, что я не только не могу помочь в отвратительном деле объявления его сына безумным, но что я даже тех, кого безумие королевской власти посадило в дома умалишенных ради отобрания богатого наследства, и тех освободил и выпустил на волю. Я пригрозил ему революционным судом, я сказал ему, что он на плохой дороге. Если революция сбила цепи с третьего сословия, то я, психиатр Франции, впервые пошел в Бисетр, в больницы и тюрьмы, чтобы снять с несчастных душевнобольных цепи, наложенные преступниками и невеждами. Можете ли вы себе представить, что среди двухсот тридцати семи больных пятьдесят, закованных в цепи как безумные, оказались совершенно здоровыми. Их речь, их ясное сознание, их способность на все отвечать разумно показали мне, что истинные преступники — это те, кто осмелился надеть на них цепи.

Лавуазье слушал, склонив голову. Пинель продолжал:

— Вы помните восьмибашенную Бастилию? В каждой из восьми башен помещались пять восьмиугольных камер. И подвалы и так называемые «камилавки» — сводчатые чердаки башен — ставили человека то под удары страшного зноя, то под конвульсии безумного холода. Офицеры Бастилии сами не знали, кто сидит в этих камерах. Какой там был воздух! Вы помните, металлические прутья решеток пропускали через себя только отвратительную вонь главной клоаки улицы святого Антония. Тиканье больших крепостных часов с освещенным циферблатом преследовало каждого заключенного. Около циферблата — две кариатиды, обвитые стальными цепями: мужчина и женщина из бронзы, привязанные этими цепями к коробке часов; эти стальные цепи позванивали при всяком проезде экипажа ржавой сталью. Я посмотрел списки арестованных. Там оказались, как теперь мне совершенно ясно, люди, объявленные безумными за «бунтовские слова» против королевской блудницы, маркизы Помпадур. Там сидели двадцать семь человек за то, что «они были меланхоликами», там сидели восемь человек, пострадавших от преследований интендантов и откупщиков.

Лавуазье вздрогнул. Пинель заметил это и сказал:

— Могу вам точно сообщить, что по вашим откупам никто никогда не сидел в Бастилии.

Лавуазье мрачно произнес:

— Я вышел из откупов, несмотря на ссору с женой.

— Так, — продолжал Пинель, — там сидела некая женщина просто за приступ падучей болезни. Герцог Неверский отправил в Бастилию своего брата, потому что не мог поделить с ним его красавицу жену, и тот действительно, по-настоящему сошел там с ума. Господин Териссон, пытавшийся продать за границу рисунки лионской шелковой фабрики, был арестован и сошел с ума. Кажется, только Вольтер вышел из Бастилии, не только сохранив, но еще больше заострив свой едкий и глубокий ум. Я не перечислю всех старух, молодых женщин, стариков и молодых мужчин, которые сидели в Бастилии за сношение с дьяволом, за колдовство, за магию и чародейство еще совсем недавно. По существу это были обычные отравители, которые, смазываясь на ночь сочетанием вполне известных им ядов, до безумия доводили экстазы своего воображения. Их рассказы были достаточным поводом для королевского суда, для ареста и даже для предания сожжению.

Кабанис кивал головой; он был строгим материалистом, и эта система воздействия химией на воображение была ему известна до тончайших деталей, но ему никак не хотелось ссориться с парижским духовенством. Как ученый он одобрял Пинеля, признавал его правоту, но как политик и бывший королевский врач он думал, что осторожнее держаться на двух якорях, и

молчал во время молодой, гордой и сильной речи Пинеля.

— Так как же? — спросил Пинель, обращаясь к Лавуазье. — Мой опыт рассчитан на четырнадцать порций.

Лавуазье сделал движение удовлетворения. Пинель засмеялся.

— Да, четырнадцать, — сказал он, — получился полный успех. Как ваш?

— Тоже, — сказал Лавуазье. — Этот порошок представляет собой то, что среди цветных племен Америки называется «ниоппа». Это порошок, который аборигены Караибских островов втягивают с маленьких глиняных тарелок через очин птичьего пера в ноздри. Он приводит их в состояние блаженного безумия, а частое и чрезмерное употребление этого порошка может привести их в состояние длительного безумия, сопровождающегося кровавыми стычками и проявлением вражды. Сантонакс не первый привез это средство из-под тропиков, и кажется мне, что тропики травят Париж и Париж травит тропики одновременно.

Лавуазье, Пинель и Кабанис перешли в лабораторию. Восемьдесят четыре пробирки стояли на деревянных штативах с держателями из проволоки. Лавуазье показал все стадии своего анализа. Пинель, улыбаясь, сказал:

— Благодарю, я тоже произвел анализ в целях моей науки, но я сам был этим рядом стеклянных сосудов и я сам на себе пережил весь опыт этого безумия. Мой помощник Латур был приглашен мною в свидетели. Я разделил на четырнадцать порций яд, привезенный Сантонаксом, и испробовал его на себе.

Кабанис скептически наморщил брови. Лавуазье вздрогнул:

— Как? Что? — спросил он. — Вы знаете, что это такое?

— Теперь я знаю, — сказал Пинель. — Я выходил из самого себя и снова вошел в себя. Вернуться к себе было трудно, тем более что я принял три смертельные дозы. Но разве, мой дорогой Лавуазье, вы не помните, как вы ради опытов с разложением света долгие месяцы провели в абсолютной темноте и не остановились перед риском потери зрения?

— Да, это был тяжелый опыт, — сказал Лавуазье.

— Так же и я, — сказал Пинель, — погрузил свой разум в полный мрак, рискуя не вернуться к свету.

— Ваш опыт вам будет стоить пяти лет жизни, — вы забрали у природы на пять лет вперед, — сказал Кабанис, обращаясь к Пинелю.

— На ком же мне было его произвести? — ответил Пинель. — Я сам отвечаю за свои опыты, пусть знают, чего стоит наука. Люди, умирающие сейчас от прусских пуль, когда еще не утихла канонада под Вальми, платят дороже за то, чтобы их дети знали, что такое свобода. Известно ли вам, что Лазарь Карно, определяя движение ядер и вычисляя их траектории, пользовался боевой обстановкой, — рискуя жизнью, он наблюдал падение германских ядер. Так возникли самые его замечательные математические работы. Господа Гальвани и Вольта, в своих открытиях животного магнетизма и нервной жидкости, разве они не прибегали к опытам, повреждающим здоровье? Не могу сказать, чтобы все это делалось без труда. Средства, которые я испытывал как источник многих человеческих безумий, есть, к сожалению, те же самые средства, которые фигурируют в процессах колдуний в тысячах случаев, когда инквизиция умерщвляла людей, якобы летавших на шабаш. Они страшно действуют на воображение, и в то время, когда человек лежит в полуобморочном состоянии,

ему грезятся дьявольские сцены. Он испытывает увлекательное саббатическое безумие и просыпается в совершенном изнеможении, думая, что все это происходило наяву. Находящийся сейчас на моем попечении маркиз де Сад — человек, гораздо более невинный, нежели о нем говорит молва, обезумел благодаря длительному применению шариков, сделанных из этого порошка. Но его увлечение не было бескорыстным: он не ставил никакого научного опыта и потому сделался рабом и жертвой бездушного вещества; он позволил себе ради забавы покинуть здоровое состояние духа с такой же легкостью, с какой путешественник отправляется путешествовать, запирая на ключ дверь своей комнаты. Но вот однажды в этой опасной дороге ключ оказался потерянным, вернуться было некуда. Маркиз де Сад бродит сейчас около того жилища, которое являлось обителью ясного сознания, но не может переступить порога. Отсюда мрачная меланхолия и состояние полной потерянности.

— Вы правы, — сказал Кабанис, — я воспользовался бы старым сравнением, которое я слышал неоднократно от Кондильяка и которое по существу вы можете найти в диалогах Дидро и д'Аламбера. Помните, статуя, которой добавляют и у которой отнимают свойства? Ваш сумасшедший маркиз есть статуя, у которой вынули весьма существенное свойство. Все вещества определяют мысль; пища, питье создают равновесие и неравновесие тела.

Лавуазье встал, подошел к книжному шкафу и вынул небольшую книжку в переплете из красного сафьяна, принадлежавшую его жене. Он прочел вслух:

— «Любопытный метод Дидро для объяснения жизни как результат определенной организации материи, в других сочетаниях лишенной жизни».

— В диалоге между д'Аламбером и Дидро мы находим следующее, — добавил Лавуазье:

«Д'Аламбер. Я хотел, чтобы вы мне указали, в чем вы видите разницу между человеком и статуей, плотью и мрамором.

Дидро. Сравнительно в немногом. Из плоти делается мрамор, из мрамора — плоть. Что делаете вы, когда вы едите? Вы уничтожаете препятствия, которые противодействуют активной чувствительности нищи, — вы ассимилируете ее, претворяете в плоть, делаете ее живой, чувствительной. И то, что вы делаете с пищей, я могу выполнить над мрамором. Раньше, чем мать одного из величайших геометров Европы, д'Аламбера, прекрасная и преступная канонисса Тенсен достигла половой зрелости, раньше чем солдат Латум стал юношей, — молекулы, которые должны были образовать моего геометра, были рассеяны в молодых и хрупких механизмах каждой из них, плавали в лимфатической жидкости, участвовали в кровообращении, пока, наконец, не соединились в сосудах, предназначенных для их слияния: в семенниках отца и яичниках матери. Редкий зародыш сформировался, наконец спустился по Фаллопиевой трубе, согласно общему мнению, в матку; скреплен с ней длинной соединительной связкой; постепенно рос и превратился в человеческий зародыш; наступил момент его выхода из тесной тюрьмы: родился, был подброшен на паперть церкви св.Иоанна, в честь которого назван; взят из яслей на прокормление доброй госпожой Руссо; вырос, окреп духом и телом, стал литератором, механиком, геометром... Как все это совершалось? Благодаря еде и другим чисто механическим операциям. Тот, кто пожелал изложить перед Академией процесс образования человека или животного, не нуждался бы для этого ни в чем, кроме материальных агентов, в результате действия которых последовательно образуется существо инертное, чувствующее, мыслящее, разрешающее проблему предварения равноденствий, возвышенное, чудесное существо, затем стареющее, дряхлеющее, умирающее, разлагающееся на свои составные части и возвращающееся, наконец, в прах».

— Совершенно верно, — сказал Кабанис, когда Лавуазье кончил. — Вот почему человек должен искать какой-то гармонической связи с веществом, ибо, порывая эту связь, он ускоренно ведет себя к уничтожению. Но, — сказал Кабанис, обращаясь к Пинелю, — меня



собственно интересуется, что побудило вас взяться за этот страшноватый опыт? Следует ли на опыте узнавать все виды человеческого безумия? Ведь так мы придем к необходимости испытать состояние утопленника, испытывать состояние сгоревшего человека, мы будем проверять на опыте вред пожаров?

— Я не иду так далеко, — сказал Пинель, — меня интересует только одно: какие побочные явления возникают у человека, охваченного действием ниоппы. Я убедился, что первоначально человек обладает повышенной чувствительностью ко всем явлениям действительного мира, потом действительность вытесняется призраками воображения, ибо я совершенно ясно помню — и это подтверждено моим ассистентом, — что до шестой дозы я разговаривал с ним, когда он действительно присутствовал в лаборатории, потом я продолжал разговор с ним, словно видя его перед собой, в то время как он вышел уже из кабинета, и, наконец, между одиннадцатой и четырнадцатой порциями я довольно длительно спорил с моей матерью, реальность присутствия которой не могла быть ничем доказана, так как она умерла два года тому назад. Вот вам причина бунта матросов Сантонакса, вот вам причина безумия целого ряда деревень и сел Флориды, вот вам причина слабости многих восточных племен, принимающих в обильных дозах маковые наплывы, которые в обработке дают опий и которые обрекают целые племена и народы на медленное вымирание. Мой опыт раскрыл мне двери понимания целого ряда душевных болезней, источник которых до сих пор оставался неизвестен. Вместе с тем я теперь не считаю ошибкой предположение, что целый ряд наблюдавшихся по деревням безумий связан с применением так называемых любовных напитков. Для меня ясно, что целый ряд нарушений духовного равновесия определяется временным характером. Для меня совершенно ясно, что только революция может поставить правильно вопрос о человеческом здоровье и только наука — отнюдь не религия — может осветить человечеству его ясный и хороший путь. Рабство и невежество идут рука об руку, истинная наука совершенно свободна и всегда революционна.

— Вы правы, — сказали оба, Кабанис и Лавуазье, — ваш опыт далеко не бесполезен. Но, однако, дорого же обходится человеку его знание!

— Да, — сказал Пинель, прощаясь. — Я думаю, что будут какие-то другие ассоциации ученых, помимо Академии. Без большой солидарности науки, без дружеской руки, протянутой друг другу учеными разных областей, невозможно создать единого знания. Вот без помощи Лавуазье я не мог бы произвести анализа этого сложного растительного яда: у меня нет тех колоссальных возможностей, которые предоставлены великому химику его шестнадцатью лабораториями.

Лавуазье устало посмотрел на Пинеля и, вручая ему протокол анализа, сказал:

— Только мое огромное состояние позволило мне так широко поставить опыты. Предшествующие столетия не давали ученому и его друзьям столь богатых и разнообразных средств, потраченных на достижения одной цели. Теперь я уже лишен возможности тратить так много, я уже не откупщик, — но не жалею об этом.

Пинель посмотрел серьезно и сказал:

— Еще раз благодарю. Я горячо убежден, что Конвент, собравшись, вскоре будет обладать возможностью улучшить состояние наук во Франции. Конвент даст вам неизмеримо большие средства, чем давали ваши проклятые откупа.

Лавуазье отвернулся и, глядя в окно, произнес:

— А вам не кажется, что я уже отчитался перед человеческим миром в тех средствах, которые мне давала Франция?

Пинель горько улыбнулся и, тронув Лавуазье за локоть, сказал:

— Вы предлагаете ваш вопрос таким тоном, как будто сами сомневаетесь в себе. Ведь только слепой или злодей может отрицать неизмеримость ваших заслуг перед людьми!

— Увы, — сказал Лавуазье, — не только слепой и не только злодей. Не проходит дня, не проходит часа, чтобы я не чувствовал на себе всей тяжести людского непонимания. Люди слепы, им кажется вздором вся программа научной работы химиков будущего века, они видят во мне только богача, их глаза горят бешеным огнем, звериной завистью. Никогда не чувствовал я себя столь покинутым и столь окруженным врагами, как теперь.

Пинель, казалось, не слушал; он произнес как бы в воздух:

— Комиссар Законодательного собрания Сантонакс рассказывает очень много интересных вещей о происшествиях в Сан-Доминго. Вы, кажется, имели отношение к «Обществу друзей чернокожих»?

— Да, — сказал Лавуазье.

— Прочтите журнал Сантонакса, — сказал Пинель. — Это даст вам ключ к пониманию событий.

Простились. Пинель обещал Лавуазье прислать тетради дневников Сантонакса, написанных по пути из Гаити во Францию. ЖУРНАЛ САНТОНАКСА«Z» 1792

Штиль кончился, «Колдунья» идет под полными парусами, капитан Босек повеселел. Жалею, что не вел журнала в течение восьми штилевых дней. Противоречивые чувства сгладились, но события кажутся более грозными. Теперь, когда берега Гаити так далеко, можно считать себя уцелевшим от борьбы столь противоречивых стихий. Вывод один: нет ни одного сословия, нет ни одного класса в Антилиях, которые были бы довольны Францией. Богатые колонисты ненавидят метрополию санкюлотов и жаждут возврата королевской власти. Бедные европейцы: французы, испанцы и англичане стремятся лишь к одному — овладеть избирательным правом, чтобы не допустить ни одного закона, который нарушал бы их и без того нарушенные интересы. Мулаты, первоначально такие спокойные, после речи Барнава и безобразий, допущенных Бланшландом и Модюи, пришли в совершенную ярость. Неудача первого восстания, внезапный поворот белых, принявших мулатское население в свою среду, и потом опять низведение свободных мулатов на степень рабов — все это издергало людей, создало неуверенность в завтрашнем дне и окончательно подорвало доверие к Франции. Не нынче-завтра произойдет самое страшное: мулаты начнут искать соединения с маронами. Негры ходят на сходки глубокой ночью. Я наблюдал две деревни, которые до утра казались неживыми. Под утро мужское население вернулось. Где они были? «X» 1792

Кто такой покойный Модюи? Убитый полковник купил у мулата Цюбала его имение. Мой двоюродный брат Моро де Сен-Мери рассказывает, что человеческая кровь состоит из 128 белых частей у европейцев и 128 черных у негров; средняя — это 64, мулат составлен из 64 белых и 64 черных частей. Моро де Сен-Мери говорит, что таково учение великого Франклина. Все прочие племена — квадроны, гриффы, актеропы — идут вправо и влево от этой линии в 64 равных части. Если бы Модюи был жив, я, комиссар Законодательного собрания Франции, должен был бы его арестовать. Не знаю, в каких отношениях Модюи состоял с мулатом Цюбалом, но цюбаловское имение было в руках Модюи. За неделю до нашей поездки на борту «Колдуньи» мои агенты выяснили, что табачный домик Модюи, снесенный бурей, был построен над каменным берегом. Я приказал оцепить дом Модюи, я поставил часовых у входа, и когда расчистили почву под табачным домиком Модюи, то обнаружили большую каменную кладку с выходом на море. Эта каменная кладка, глубокая и древняя, заканчивалась амбразурами в сторону моря, и против них были обнаружены в полутемных нишах четыре английские орудия. Этот преступник Модюи, очевидно, в уговоре с мулатом Цюбалом охранял целый английский форт, приютившийся неподалеку от столицы и

готовый ежеминутно четырьмя пушечными жерлами не только раскидать фашины, закрывавшие амбразуры тайного форта, но в каждые три минуты выпускать смертоносные ядра против французских кораблей.

Погода прекрасная. Пена у кормы и на гребне носовой волны одинакового цвета — значит, еще три дня пройдем, не меняя парусов. Птицы давно исчезли, океан без островов, и только изредка марево на горизонте дает впечатление суши. Опрокинутый красный круглый остров с пальмами целый час мучил сегодня матросов, как видение, на западе. Четыре матроса наверняка заболели. Перед вечерней молитвой на палубе у них наблюдался приступ невероятной болтливости, ночью они бредили, один другого поранил кухонным ножом.

Что ждет меня во Франции? «А» 1792

Чем больше размышляю о протекших семи месяцах, тем более теряюсь в догадках. В первый месяц я не умел привыкнуть к сияющему небу, к ландшафту, к жизни, которая нисколько не похожа на жизнь Европы. Ночные тени, длинные, прозрачные, необычайно подвижные, пугают решительно всех приезжих. Растения, все превосходящие своей буйностью...

Сведения, сообщенные мне перед отъездом господином Бриссо, не подтвердились. Оже считал себя только проводником спорного права. Молодой мулат, красивый, он был больше французом, чем креолом; он был воспитан в Париже, и обстоятельства вынудили его оставить там свою невесту. Он служил в Германии, знал и посещал многих тамошних людей и принадлежал к «Обществу

друзей черных », в которое ввели его аббат Грегуар, господин Кондорсе и господин Лавуазье. Будучи агентом общества, он, вернувшись в Сан-Доминго, окружил себя надежными мулатами; он успел собрать около Большой Ривьеры, в пятнадцати милях от Капа, отряд в триста человек, согласных умереть или победить. Отряд Модюи принудил его укрыться в испанской части острова, там выдали его французскому правосудию. Оже и его двенадцать товарищей были колесованы на площади перед собором. Кем был бы Оже, оставшись в Париже? Молодой человек с такими блестящими задатками, образованный, живой, оригинальный, он мог бы сделать честь любому министерству в Париже, а вместо этого он попал под ножи колесовальной машины и куски его плоти с брызгами крови разлетелись по площади перед собором, где еще недавно как святыня хранилась гробница Христофора Колумба. Как это странно — древнее караибское население когда-то при встрече с великим открывателем земель Христофором Колумбом было обречено этим последним на рабство. Уже Колумб предлагал европейским монархам начать работоторговлю, но это было остановлено весьма забавною вещью. Когда один христианский священник долго пытался объяснить караиbam новую веру, первые мушкетеры Колумба алчно вытаскивали золото отовсюду, тогда на помощь неумелому поповскому языку пришли глаза караибов; они взяли слиток золота, пришли к Колумбу и сказали: «Мы поняли — вот настоящее божество белых людей. Возьмите его, мы ему не поклоняемся». «Л» 1792

Сегодня легли в дрейф. Паруса не убраны, они висят по мачтам и реям и не шелохнутся. Два креола поют песни на корме. Босек играет в карты с моим помощником. Огромные рыбы появляются по ватерлинии, почти примыкая к обшивке, покрытой раковинами. Никаких птиц, небо чисто и безоблачно, солнце злое. Хочется спать...

Что представляют собой негры? Англичане ежегодно привозят их в числе сорока тысяч, они торгуют дешевле французских капитанов. Напрасно думают, что все они одинаковой породы; негры либерийского побережья совсем не то, что негры Слонового Берега, негры Слонового Берега совсем не то, что эфиопяне. В последней партии прибыли остролицые, сухие, черные люди, с небольшими острыми бородками, с суровыми умными глазами и походкой принцев. Креолки заглядывались на них на пристани. Корабль «Клеопатра» был предметом общего внимания. Почему-то он подошел к порту Акюль, и губернатор никак не хотел

объяснить мне причины этой странной остановки. Некоторые племена приносят в Гаити замашки своей страны, они верят в колдунов, которых называют оби. «S» 1792

Поймут ли во Франции мой доклад, отпустят ли меня снова с теми полномочиями, каких я хочу просить? На плантации Ноэ я видел очень странного негра: маленький, худой, с бесконечно грустными глазами, он принадлежал к имению Бреда. Я не помню его местное прозвище, по-французски звали его Туссенем, ибо он родился в день всех святых. Я не помню, как завязалась наша беседа; он спрашивал, как идут дела в Париже, потом вдруг перешел к вопросу: «Что дороже: человек, работающий над сахаром, или сахар?» Когда я, не поняв вопроса, переспросил, он объяснил:

— Речь идет о том, чтобы французский закон освободил черных и цветных людей. Во Франции говорят, что от этого повысятся цены на сахар, а мы говорим, что мертвый человек и раб дешевле сахара, а живой человек и друг французской свободы может сделать так, что все вещи этого мира станут дешевле.

Он со смехом сказал мне:

— Бедные люди Парижа не станут есть сахар, если он смочен человеческой кровью.

Если так думают многие негры, то они умнее многих французских министров. Что представляют собою нынешние партии в Сан-Доминго? В Сен-Марке собрались самые упорные и самые злые колонисты, они назвали себя Общим собранием французской части Сан-Доминго. Они провели целый ряд решений, по которым декреты Национального собрания, присланные из Парижа, принимаются только в том случае, если они одобрены постановлением собрания в Сен-Марке. Однако не все колонисты согласились с этим решением. Те, кто объявил себя сторонником метрополии, надели шапки с белыми бантами, сформировали

«партию белых помпонов». Противники сформировались также и назвали себя

«Красными помпонами». Началась гражданская война в колонии, положившая отпечатки на все действия колониальных комитетов. Я усматриваю источник больших несчастий для Франции именно в том, что ни одно распоряжение, ни декреты Национального собрания и ни одно письмо от Легислативы не приходят в Сан-Доминго в своем виде: все бывает искажено произволом «Красных помпонов» или их тайной организацией, которая намерена уничтожить самый признак свободы, — организацией, которая пойдет на все, лишь бы сохранить колоссальные барыши, получаемые рабовладением, и уничтожить своих соперников. Я ничего не мог с ними сделать. Последнее двусмысленное выступление гражданина Барнава и письмо господина Бриссо не рассеяли тумана, чтобы облегчить мою задачу.

Со смутным чувством еду во Францию. Вновь крепчает ветер, трудно писать. Бьют склянки, бегут песчинки в стеклянных часах, слетают узлы за узлами под кормой. Еще немного — конец океанскому безлюдью. Во время дрейфа одного матроса подвергли килеванию; двое, опьяненные ниоппой, заклепали пушки шомполами мушкетонов и едва не вызвали возмущение всей команды.

Босек уже не играет в карты; за два дня дрейфа он пожелтел; по его приказу произвели обыск у всех матросов. Ниоппа найдена; я приказал снести ее ко мне в каюту. На корабле становится противно. Босек рассказывал историю «Леопарда». Он смеялся по поводу того, что адвокаты в Национальном собрании берутся не за свои дела.

«Разве могут провинциальные люди, боящиеся переплыть с одного берега Жиронды на другой в лодке, решать вопрос о том, как наказывать матроса громадных океанских шестидесятипушечных кораблей? Самое смешное вот что, — сказал Босек. — Когда господа „Красные помпоны“, самые богатейшие плантаторы севера Гаити, прибыли в Брест на

„Леопарде“ после побега от ярости мулатов и негров, они первым делом разыграли из себя мучеников свободы, они жаловались на всех и прежде всего на людей, остановивших их колониальные зверства. Плантаторы-богачи на „Леопарде“ заявили, что губернатор Сан-Доминго Пенье едва выпустил их из гавани, намереваясь пушками обстрелять свои же французские корабли. И так целый месяц корабль „Леопард“ именовался „Спасителем нации“, а восемьдесят три богатейших буржуа были приняты брестскими моряками как жертвы и спасители свободы. Только приезд двух комиссаров Национального собрания выяснил, кто такие эти защитники свободы».

Босек смеялся, смеялся больше всего не тому, что обманули они легковверных брестских матросов, захотевших на примере «Леопарда» заработать смягчение жестокостей Морского кодекса, — он смеялся тому, что депутат Гренобля Барнав перепугался, как бы в самом деле экипаж «Леопарда» не оказался революционнее Национального собрания. Но он успокоился, он нашел плантаторов, почти роялистов, и комиссар Национального собрания быстро принужден был освободить их из-под ареста и с почетом перевезти в Париж. Босек смеялся, а меня охватила ярость, ибо

не только управлять, но даже понимать сложные связи племен, людей и имуществ в колониях невозможно из Париж

а . Таков мой доклад Легислативе.«W» 1792

Разница между матросами. На «Колдунье» работают негры, французы и голландцы. Голландцы хуже всех. Между матросами французами и неграми неожиданная дружба. Недавно я слышал собеседование негра Коффи и французского матроса, кажется его фамилия Дартигойт. Оба говорили о новых и старых законах. Негр рассказывал, что в районе Сан-Доминго при клубе колонистов содержат питомник в две тысячи собак; их кормят негрским мясом.

— Откуда берут негрское мясо? — спросил Дартигойт.

— Покупают у негрятенок больных детей, — ответил Коффи, — а также отдают на съедение псам провинившихся негров. Две тысячи собак откармливаются и дрессируются только для одной работы: они разыскивают бежавших негров. По Черному кодексу, бежавший негр приравнивается к вору, ибо он украл у хозяина свою рабочую силу.

Дартигойт качал головой. Оба они, не видя меня, говорили нелестные вещи по адресу Франции. Дартигойт говорил:

— Матросский кодекс не лучше вашего Черного кодекса. Матросы французского флота — такие же рабы. В Париже уже четвертый год заседают купцы и адвокаты, никому не стало от этого легче. Что король, что купец, что офицер, что адвокат, все равно они все за богатых и за власть имущих. Бедноте всегда живется плохо.

Почему Легислатива не знает о таких разговорах? Эти разговоры не единичны. Действительно, обращение с матросами чудовищное. Килевание — это обычное страшное наказание, при котором матрос, схваченный канатами с носа и помещенный под килем, не всегда живым вытаскивается на канатах из-под кормы. Самые лучшие пловцы и те говорят — килевание можно выдержать только один раз в жизни. Дартигойт выдержал его дважды. По второму разу он лежал на палубе, запихивая обрывки «концов» к себе в ноздри, пока не остановилось страшное кровотечение. После этого его все-таки били. Я не знаю человека озлобленнее Дартигойта, он никому не верит, на всех смотрит волком. «D» 1792

Наконец я узнал, кто этот молодой человек, который едет с нами. Это полицейский агент господина Ролана с фамилией Рош-Маркандье. Он был секретарем Камилла Демулена, а теперь, имея поручение господина Ролана, занят составлением памфлета под названием

«История хищников». Памфлет имеет в виду главным образом Дантона, но Ролан хорошо платит за все, — там фигурируют и Демулен, и Марат, и многие другие. Рош-Маркандье производит отвратительное впечатление, это продавец чужих секретов. Мои впечатления сводятся к тому, что он имел какое-то тайное поручение в Сан-Доминго. Вполне возможно, что и я фигурирую в его секретных донесениях господину Ролану. Что же встретит меня в Париже?

Один из участников плавания французского корабля, очевидно много спустя, ревизуя Сантонакса, пишет на полях его журнала: «В явных противоречиях и несовместимостях французских донесений я не в силах разобраться. Пусть время и прозорливость последующих поколений судит Сантонакса и Туссена. Я же по чести и долгу республиканского офицера не осмелюсь произнести своего приговора».

Сантонакс прибыл в Париж 21 января 1793 года. Он не застал Легислативу, он застал самый разгар Конвента. В этот день, по приговору Конвента, голова короля Людовика XVI была отрублена гильотиной.

## 9. РОБЕСПЬЕР

Консул в сенате:

Тайну раскрой, римский герой,

В битвах бесстрашен и сдержан,

Так же без страха сейчас назови:

Кто виноват, что в гражданской крови

Ты, побежденный, повержен?

Полководец:

Счастлив был путь, жизнь весела...

В каждой победе Гомерова Троя...

Разве я знал, что тайком из угла,

В сердце ударив, Эрота стрела

Жизнь переломит героя?

Консул в сенате:

Римский сенат и римский народ

Путь твой хранили незримо.

Если ж твой меч похитил Эрот

И без ружья ты вышел в поход, —

Гибни от ярости Рима.

Приговор сената:

Излишен спор, есть уговор:

По ступеням Капитолия

Выйди в толпу, потупивши взор,

И две секунды не более,

Смоют позор.

После ухода героя:

Ляжешь, безвестный и строгий,

Там, на Сабинской дороге,

Не сыщут ни люди, ни птицы

Твоей безымянной гробницы.

Не зная коварства и страха,

Смежают герои ресницы,

А, боги, не зная коварства,

Стирают людские столицы,

Сметают древние царства,

Как горсточку пыли и праха. Латур «На смерть Дантона».

После речи Барнава Законодательное собрание раскаялось, что сгоряча, под влиянием Бриссо, послало некоего господина Сантонакса в колонии для выяснения положения цветнокожих и черных людей. Этот человек, при всех своих добрых желаниях, не располагал никакими полномочиями и поэтому попал в совершенно ложное положение, приехав в Сан-Доминго. Но прежде чем он успел выйти из этого положения, прежде чем он успел написать что-либо в Париж, в самом Париже развернулись обстоятельства чрезвычайной важности. Острая часовая стрелка на циферблате истории, как пылинки, смахивала человеческие головы.

Когда 10 августа 1792 года Париж второй раз совершил один из чудеснейших законодательных актов, давших образец революционной законности, он воспроизвел этим вторично неизгладимую картину взятия Бастилии. Теперь уже не разрушение мертвого камня, а живая Бастилия французского феодализма — Людовик XVI с семьей были объектом законной ярости парижского пролетариата. Совершая акт величайшего исторического правосудия, пролетариат, несмотря на стрельбу швейцарцев, взял приступом Тюильрийский дворец, разметав отряды швейцарцев, безжалостно стрелявших в толпу почти безоружных людей. Законодательное собрание не знало, что ему делать. Как Учредительное собрание не имело никакого отношения к взятию Бастилии, так теперь Легислатива не без некоторого ужаса отнеслась к тому, что еще недавно почти на ее глазах вышвырнули из дворцов целую королевскую семью со всеми «первыми и вторыми мороженщиками короля», со всеми

пятнадцатью «придворными врачами» на каждого члена семьи, со всеми «двадцатью семью камеристками» на каждую королевскую даму, со всем старинным феодальным обиходом, который чем дальше, тем больше производил впечатление нарочитой притупляющей ребячливости взрослых людей, стремящихся устарелой формой пышности одурачить огромные массы работающих на них людей.

Первое выступление парижского народа вспыхнуло 12 июля после горячих слов Камилла Демулена, когда, за два дня до взятия Бастилии, Демулен, только что выслушав политические новости в кафе Дефуа, призвал Париж к оружию словами:

«Двор и король сейчас нанесут удар народу! Не теряя ни мгновенья, предупредите изменников! Все в бой! К оружию, народ парижский! Кто с нами

— наденьте этот знак!»

Знак парижского пролетариата не был заказан ювелиру, Камилл Демулен сорвал его с одного каштанового дерева; это был листок, который он прикрепил себе на шляпу. К счастью, в Париже хватало каштановых деревьев, чтобы друзья могли по этому знаку соединиться в совместных усилиях, когда сотни и тысячи людей ринулись на мрачную крепость, внушавшую ужас со времен средних веков.

Если в событиях 14 июля играл роль Камилл Демулен, то в событиях 10 августа и в сентябрьских казнях прямыми вдохновителями были Марат, Дантон и Робеспьер.

Камилл Демулен родился в 1760 году, Дантон — в 1759. Марат, Дантон и Демулен были основателями Клуба Кордельеров. Клуб выступил на арену борьбы в те годы, когда политические события сложились более отчетливо. Кордельеры не претерпели тех изменений, которые пришлось перенести якобинцам. От умеренного, смешанного состава якобинцы шли все более и более налево, до тех пор пока, наконец, дали в Конвенте главенство Горы, отчетливую и сильную партию монтаньяров.

Уроженец Шампани, Жорж Дантон, рябой, с разрезом на верхней губе, человек огромного роста, шумный, бурный, крикливый, с громоподобным голосом, который можно было слышать за пределами здания, — имел темперамент бойца, выносящего краткие вспышки и потом успешно уходящего из боя. Казалось, в жилах его кипит, играет и искрится неперебродившая влага шампанских виноградников. Детские бои с быком, от которого пострадала рассеченная верхняя губа, мстительное чувство к другому быку, который переломил ему переносицу, ребяческий налет на стадо свиней, которое опрокинуло мальчишку Дантона и перекрошило ему грудную клетку, — все это говорило о темпераменте безудержном и неукротимом, о некоторой стихийности порывов, о величайшей искренности и в то же время о странной неразборчивости.

Дантон жил в округе Кордельеров. Низенькая лавчонка в нижнем этаже скрывала в себе тайную типографию Марата, а во дворе находился сарай, в котором Марат, Дантон и Камилл Демулен вместе с доктором Гильотэном смотрели, как на овцах пробуют новую машину-головорубку.

Безалаберность Дантона в целом ряде случаев заводила его в неверные тупики. Организуя вместе с парижской Коммуной 10 августа сентябрьскую самозащиту парижского пролетариата от заговора бывших людей и будучи прямым ее вдохновителем, Дантон был все же несколько повинен в том, что по Парижу ходили слухи о странных связях его с королевским двором, — о том, что «если он не получает от короля такие большие деньги, как покойный Мирабо, то лишь в силу того, что ему нечего предложить за более высокую цену». Но это были только слухи, слухи носились о каждом, и чем ярче был человек, тем темнее были слухи. Коммуна им не верила, она еще любила Дантона. Единственно, что не нравилось суровым парижским ремесленникам и молодым республиканцам вольного Парижа, это чрезвычайные кутежи



Дантона, для которых нужно было иметь много денег. Но и об этом пока молчали.

Законодательное собрание шаталось и проявляло чрезвычайную медлительность. Оно тонуло в мелочах, оно разбирало вопрос о том, следует или не следует уничтожить статуи старинных французских королей. Два депутата тщетно предлагали Национальному собранию отказаться от уничтожения статуй, Робеспьеру удалось потребовать от имени Коммуны, чтоб закрыли стенное изображение Людовика XVI «Декларацией прав человека», а в другой раз, при грозном реве парижской толпы. Законодательное собрание принуждено было провести мероприятия о переливке колоколов и бронзовых статуй на пушки и медную монету.

Волонтеры в Вогезах уже кричали: «Да здравствует нация без короля!» Рашельские судьи кончали заседания криками, обращенными в толпу: «Народ-самодержец, и больше никакой власти!» Якобинцы города Страсбурга кричали: «Долой короля, да здравствует равенство и республика!».

Вот в этой обстановке Законодательное собрание все больше и больше чувствовало себя лишним, и 3 сентября 1792 года, под давлением провинциальных коммун и Коммуны города Парижа, были произведены выборы в Конвент. Когда отозванный Сантонакс, разочарованный и не умеющий применить своих сил, возвращался из Сан-Доминго в Париж, тогда уже заколебалась Жиронда. Господин Ролан, ее министр, господин Бриссо, господин Верньо трепетали. Компас Франции указывал ей левую дорогу, и Франция свернула на этот путь. Жирондистам было не по пути. Они торопливо обиделись на историю, но не отказались от сопротивления.

Госпожа Ролан писала: «Алмазы из короны короля украдены Дантоном». Жирондисты пустили по Парижу этот слух, и Дантон молчал, не отвечая на выпады. Когда он говорил с трибуны, с задних скамей ему кричали: «Кому продал бриллианты?» Дантон молчал. Его хотели заставить заговорить, а он упорно «уклонялся от этой темы» и этим подливал масла в огонь.

Увы, не на этом кончилась карьера Дантона. Профессиональные воры из Гард-Мебель были найдены, но как вначале Дантон злился, а не печалился, молчал, а не оправдывался, так теперь он бурлил и бранился, но не предавался младенческой радости по поводу того, что клевета миновала, как грозная туча.

Весь Париж, вся Франция напряженно думали об одном: о будущем Национальном Конвенте. Все граждане голосовали на выборах. Правда, выборы были двухстепенные, но это не меняло их значения в той мере, в которой хотелось использовать эту двойственность жирондистам. Борьба перешла в Конвент и началась с новой силой. Все должны были показать перед лицом Парижа, перед лицом Франции, перед лицом всего человечества — кто и как желает осуществить «Декларацию прав» .

Истинное лицо французской революции, ее мировой экзамен мир увидел за тридцать семь месяцев работы Конвента. Ясно стало, что могла сделать Франция, что она хотела сделать и чего не умела сделать. Даже Конвенту, при всем его напряжении, не удалось решить коллизии свободы и собственности, если этой «собственностью становится человек».

Однако, пока борьба еще не разгорелась, пока еще не собрался Конвент, депутаты Жиронды в своем беспокойстве поспешили по-своему «открыть ему ворота», то есть обеспечить себе победу на выборах. Они кричали о новой тирании парижской Коммуны, не называя имен, имея в виду Дантона, Марата, Демулена, и «сеяли ветер слухов, не зная, что сами будут пожинать бури крови». Они кричали с трибун, посылали письма, они писали:

«Южные провинции Франции встанут на защиту свободы, попираемой страшными людьми в красных колпаках, сидящими в здании Коммуны города Парижа».

Каждое разоблачение Марата они встречали криками ярости и негодования. Тайные отряды шныряли по Парижу, разыскивая типографию Друга народа, листки Демулена. Страшные строчки Марата, которые, как ночной фонарь, искали по следам парижских улиц дорогу скупщиков хлеба, ловили тонкие струйки сахара, сыпавшегося из мешков по дороге из Колониальных домов в какой-нибудь подвал, какой-нибудь сарай, — все эти страшные строчки Друга народа жирондисты называли клеветническими, бросая в воздух прекраснейшие слова о свободе и справедливости.

Камбон от имени жирондистов кричал с трибуны:

— Если презренные клеветники сделались в силу нашей слепоты хозяевами положения, поверьте мне, что благородные граждане юга, поклявшиеся быть на страже свободы и равенства, в одно прекрасное время кинутся на спасение угнетенного Парижа, а если, к несчастью, свобода будет поражена, если злодеи отбросят южан от подступов к Парижу, то знайте, что не вам, ремесленникам, сидящим в Коммуне, овладеть неприступными домами городов французского юга и что в этих домах мы найдем себе приют, ускользнув от топора тысячи новых тиранов, из которых каждый страшнее римского диктатора Суллы.

Эти письма и эти речи делали свое дело. Южные города, города федералистов были готовы подняться контрреволюционным движением. Издали трудно было разобраться: все «говорили о свободе» и все кричали о защите «прав народа», но сам народ, посылая своих детей на защиту французских границ, стонал, недоедая и недосыпая.

Париж был под ударом, надо было спасти Париж. Новая форма гражданской войны была опытом самозащиты жирондистов против революции. Обвиняя Дантона, Марата и Робеспьера, депутаты с берегов Жиронды забыли, что они сами сеют федерализм как форму гражданской войны, что они рвут Францию на части, лицемерно проповедуя единство. Но вот когда разорвался фронт, когда угроза Парижу стала реальной, жирондисты перешли к новой, гораздо более тонкой формуле: если нельзя спасти Париж как столицу, то спасем Легислативу как центр законности,

переселим Законодательное собрание и учреждения Франции на юг . Бордо или Тулуза станут нашим местом, откуда мы будем декретировать, откуда будем производить мобилизацию си

л . Так адвокаты, красноречивейшие в мире купцы, фабриканты южных городов, люди крупной коммерческой хватки, люди больших барышей и широкой торговой инициативы, считавшие себя солью земли, решили спасти свои бархатные голоса, свои холеные головы на юге Франции. Одним выстрелом хотели убить двух зайцев, дважды себя спасти: спасти себя, переселившись подальше от герцога Брауншвейгского, и спасти себя от Коммуны города Парижа, предоставив парижским сапожникам, столярам, слесарям, пивоварам и хлебопекам самим повозиться с герцогом Брауншвейгским, предвещавшим в грозном манифесте сожжение мятежного Парижа.

«В самом деле, — писали они, — во Франции восемьдесят три департамента, главный город каждого департамента имеет свою коммуну. Почему Коммуна города Парижа должна иметь авторитет больший, нежели в размере 1/83 доли своего нынешнего авторитета?» Правда, тут есть мелкие события: взятие Бастилии, ликвидация королевской власти, сентябрьские бои, события, после которых как-то внезапно улучшались для народа декреты законодательных органов, события, которые были сделаны сердцем, мозгом и кровью парижской толпы, события, которые сделаны энергией и политическим разумом вот этих самых «клеветников» вроде Марата и Робеспьера, о которых так звонко, заливисто и музыкально пели и журчали жирондистские соловьи!

В решительный момент проект увоза Легислативы на юг — этот удар по Коммуне — смутил

всех, но вдруг 10 сентября 1792 года в «Патриотических анналах» беспокойный молодой и горячий Анахарсис Клотц написал:

«Французы! Вам никогда не придет в голову запрятать нас в южные горы. Ведь это значит ускорить нашу гибель, это значит привлечь к вашим избранникам внимание всех тиранов Европы и поставить нас под удар даже мадридского султана. Разве можно отдавать Париж, — Париж, город французов? Гибель столицы будет началом гибели всего политического организма Франции. Не отдадим Париж!»

Вечером 10 сентября госпожа Ролан отдала приказ не пускать в ее гостиную господина Анахарсиса. Она была в полном бешенстве, она боялась, что этот голубоглазый молодец услышит проект организации

специальной департаментской гвардии, на котором настаивал Бриссо. Господин Ролан, давая клятвы, уверял собравшихся, что

Марат, Дантон, Робеспьер и Камилл Демулен изменили Франции, они стали слугами герцога Брауншвейгского

о .

И вот 17 сентября жирондисты выпустили на кафедру Законодательного собрания Ласурса, который, якобы от имени Комиссии двенадцати, преподнес удивленному Парижу полоумный бред старика Ролана. Мрачным голосом Ласурс заговорил:

— Существует страшный проект помешать Конвенту собраться...

Не называя имен, он клялся и божился перед лицом французского народа, что говорит правду, что верхушка левых продалась интервентам, — и даже осторожный и осмотрительный Верньо в этот раз поверил клевете. Сама Коммуна была озадачена, и, пользуясь этим смятением, быстро на следующий же день, по предложению депутата Гадэ, Законодательное собрание провело декрет о перевыборе революционной Коммуны Парижа, о восстановлении Петиона мэром города Парижа, о предоставлении права ареста только мэру и его помощникам. Набат и вестовые пушки могли зазвучать по Парижу только с воли и согласия Законодательного собрания.

На этот раз шестинедельный бой Коммуны и Собрания кончился победой Собрания.

Бой продолжался в Конвенте. Жиронда начала наступление. Федераты южных департаментов действительно вошли в Париж 3 ноября. Они прошли мимо Конвента, который только что постановил предать суду преступного короля, они прошли с плакатами: «Долой процесс Людовика XVI», они прошли с песнями:

От Парижа к берегам Ривьеры Докатился звон набата, Вот и мы пришли на голос звона.

Мы казним сегодня Робеспьера, Завтра снимем голову Марата, Послезавтра — голову Дантона.

Толпа наемников Жиронды гудела и кричала. Трижды они прошли Пале-Рояль при молчаливом изумлении парижан. Жирондисты, затаившись, ждали вспышки гражданской войны, но ни Робеспьер, ни Марат, ни Дантон ни шага не сделали по направлению к новой парижской Коммуне. Они не подняли своих сторонников. Секции молчали. Военный министр Паш обратился с письмом к парижскому населению:

«Я не знаю причин, которые требовали бы пребывания в Париже вооруженных федератов. Первый приказ, который я сделаю, это будет приказ об их отъезде».

Господин Рош-Маркандье подал докладную записку господину Ролану, обвинявшую Робеспьера в диктаторских замыслах и считавшую Робеспьера фактическим виновником восстаний в колониях. Тем временем Сантонакс получил документ о коммерческой переписке королевского казначея Сентайля с иностранными банкирами и негодьями по поводу покупки и продажи различных продуктов, главным образом муки, кофе, сахара и рома. Король Франции не забывал о своих денежных делах.

Во время суда над королем в дворцовой стене обнаружили потайной шкаф, сделанный слесарем Гамэном. Слесарь Гамэн сообщил об этом шкафе Ролану, господин Ролан единолично вскрыл этот шкаф, без свидетелей. Королевская переписка обнаружила, что подкуплены были королем и Мирабо, и братья Ламеты, и королевский духовник епископ Клермон, и господин Лафайет, и даже победитель при Вальми генерал Демурье. Все эти люди находились за пределами досягаемости. Но так как Ролан единолично вскрыл королевский тайник, то никто из Конвента не знал, какие еще тайны в нем хранились, какие документы жирондистов захотел и не захотел доставить в Конвент господин Ролан. Долго возились вокруг короля. Коммуна дала герцогу Орлеанскому фамилию Эгалитэ, жирондисты кричали:

— Если уж кончать с Бурбонами, то давайте одновременно кончать и орлеонида Филиппа Эгалитэ.

Сен-Жюст, монтаньярский комиссар, заявил: «Жирондисты стараются судьбу Орлеана связать с судьбой короля, для того чтобы спасти обоих, по крайней мере смягчить приговор над Людовиком Капетом».

Конвент голосами 361 против 334 высказался за смерть короля. Борьба продолжалась. Жиронда и Гора расходились все больше и больше. Рабочий люд Парижа, ремесленники городов не видели конца и края трудностям своей жизни. Они голодали. Ролан кричал в Конвенте, что «в голоде виноваты агитаторы Горы». Но появились новые люди, аббат Жак Ру и почтовый чиновник Жан Варле. Они кричали в секциях Парижа о том, что богатые люди, сидящие в магистратуре, и богатые члены Конвента потому не поднимают голову, что сами являются скупщиками и ажиогерами.

Робеспьер просиживал ночи над планом аграрного закона, который обеспечил бы раздел крупных земель и правильное распределение имуществ. Этот проект приводил в ужас Жиронду, а Жак Ру, Жан Варле и сотня их друзей по парижским секциям, получившие прозвища «бешеных», пугали Жиронду еще больше, ибо тысячи памфлетов, петиций и писем сыпались в Конвент, обвиняя Роланда и жирондистов в эгоистическом бесчувствии, в проведении «классовой политики богачей», в полном непонимании нужд тех, «кто делал революцию, свободу и победы».

Через двадцать два дня после казни Людовика XVI господин Ролан вынужден был подать в отставку. Но Жиронда вела еще войну, и эта война, которая поворачивалась в сторону побед, вдруг стала войной поражений. Генерал Демурье, герой Вальми, вдруг потерял все и бежал, предавая интересы революции, вместе с десятком банкиров и скупщиков, облепивших французскую революционную армию. Бриссо, надевая революционный колпак на старую королевскую

политику естественных границ, видел спасение Франции в расширении войны, в то время как Робеспьер указывал на тягости войны, не требуя форсированных наборов, зная, что Франция будет продолжать воевать, раз вынуждена воевать.

Впервые стерлись старые таможенные границы Франции и рухнули ограды дворянских владений. Крестьянская пшеница и крестьянский виноград давали первую жатву со старинных помещичьих полей. В этот год Конвента неожиданной бедою на крестьянские

поля, впервые вспаханные без слез людьми, смотревшими на мир без старого горя, надвинулись тучи иноземных войск. Новая Франция после первых минут испуга, поражений и негодования ответила страшным и кровавым ударом по интервентам; она не отдала ни пяди своей земли.

Воевать было трудно, и напряжение было огромное, если приходилось выпускать декреты и обращения, подобные воззванию от 23 августа, написанному Барером и Карно:

«С этого мгновения и до того часа, пока последний враг не будет изгнан с территории Республики, все французы объявляются на постоянной военной службе. Молодые идут на поле битвы, женатым поручается изготовление сооружений, перевоз снабжения и продовольствия, женщины будут шить палатки, обмундирование, обслуживать госпитальные нужды Франции, старики должны являться в общественные места. Даже те, кого придется нести на носилках, пусть напрягут свои силы, чтобы возбуждать мужество в борцах, разжигать ненависть к королям и монархам, проповедовать единство Республики. Дома, принадлежащие нации, превращаются в казармы, общественные места и клубы — в оружейные мастерские. Земли и грунт подвалов выщелачиваются для извлечения пороховой селитры».

Этот знаменитый декрет облетел весь мир, и его с трепетом читал маленький старый негр Туссен Бреда вечером, окруженный друзьями на плантации Ноэ, собирая роты и батальоны негров для отпора неожиданному английскому десанту.

Войну, начатую Жирондой, продолжала Гора. Война, затеянная для подавления революции, продолжалась революцией. Война, склонившаяся к упадку в дни Жиронды, стала страшной для европейских монархов в дни Конвента. Под руководством Горы Франция эпохи восхождения Конвента, Франция, когда создался Комитет общественного спасения, стала непобедимой. Но депутаты Жиронды, побежденные на трибуне, продолжали свои интриги в салонах. В марте 1793 года семьдесят шесть комиссаров из числа якобинских монтаньярских депутатов выехали в провинцию для производства набора трехсот тысяч человек.

Четырнадцатого марта Бриссо писал в своей газете: «В Конvente отсутствие пылких голов дает возможность обсуждать дела с большим спокойствием, а следовательно, с большей продуктивностью».

Этот маневр рассылки наиболее опасных противников по провинции напрасно утешал жирондистов. Семьдесят шесть сторонников Робеспьера сделали такое дело в провинции, что жирондисты навеки были обречены на поражение в своих последующих обращениях к первичным собраниям.

После ухода Ролана от должности в его доме собирались по-прежнему, собирались у богатейших граждан Парижа, у богатейших депутатов провинции, вырабатывали мероприятия для борьбы уже не с королем, а с народом, при полном безразличии к нуждам трудящихся. Жирондисты хлопотали только об одном — как бы сохранить себя и свою власть. Обсуждали каждого депутата в отдельности, считали «удобным» Дантона, считали «безопасным» Демулена, — не нынче-завтра «они выйдут из списков опасных людей», — но что делать с такими, как Марат, «неуловимый», всезнающий, окруженный сотней тысяч глаз, охраняющих его и делающих страшно опасной эту чрезвычайно осведомленную, богатую и бескорыстную голову. Еще хуже был Робеспьер, он не страдал порочными склонностями, как Дантон, он не обольщался обманами чувств, как Демулен. К бескорыстию ученого, к энергии Марата, к его неусыпной бдительности Робеспьер присоединял чудовищную способность организатора и резкую отчетливость ума, хладнокровно разбирающегося в обстановке, требующей мгновенного решения сложнейших и головоломных задач.

У господ жирондистов сохранилась еще своя полиция. У полиции были свои старые,

испытанные полицейские методы — отыгрываться на мелких преступниках и прощать больших, сотней мелких преступников ловить одного крупного. Господин Рош-Маркандье, научившийся конспирации в бытность секретарем Камилла Демулена, изучивший технику подкупа и предательства на службе у господина Ролана, занялся изготовлением в Париже своеобразной «мастерской интриг», формированием армии негодяев.

Савиньена де Фромон из аристократки превратилась в буржуазку «мадам Журдан». Она под этой фирмой открыла в закоулке Пале-Рояля небольшой, но благоустроенный публичный дом, где молодые приказчицы парфюмерных магазинов, продавщицы материи и дорогих портновских прикладов — девушки, как о том говорила реклама, из которых «самой старшей никогда не бывает свыше двадцати лет», — обслуживали это учреждение. Молодые клиенты, которые вскоре были названы армией Фрерона, состояли из сынков богатых купцов, банкиров, фабрикантов и спекулянтов, помощников адвокатов, дрогистов. К ним примыкали журналисты и литераторы из компании графа Ривароля, картавящие, подловато улыбающиеся, — компания молодых каналов, первостепенная сволочь, считавшая себя солью земли, незаметные в Париже среди белого дня, но внезапно появляющиеся в театрах, где шли революционные пьесы. Тогда вдруг начинались стуки в партере и в райке, а вместо песен Марсельского батальона раздавались крики, требовавшие песни Суригьера «Гимн пробужденного народа». И прежде чем представители революционного Парижа успевали вмешаться, эта нахально картавящая молодежь, напевая контрреволюционные песенки, уже сбегала по темным лестницам театра, опрокидывала людей, уносила стулья, ударяла по головам ошеломленных и сбитых с толку прохожих.

Эта молодая сволочь, так называемые мюскадены и их подружки, все эти Нанитты, Лизетты, Туанетты, все эти Лулу, Долю и прочие полупогибшие девы, смеясь и плача, делали свое дело. Они получали сведения о пирушке Дантона, они сообщали хозяйке, мадам Журдан, о том, что Камилл Демулен влюбился в красавицу Люсильду Плесси, что Дантон, оплакав смерть своей последней жены, строит куры набожной канониссе Луизе Жели. Молодая католичка Луиза Жели не прочь связать свою судьбу с могущественным народным трибуном, но она католичка, она совсем не хочет записи брака у гражданина мэра своего округа. И вот молодая портниха, которая шьет платья для мадемуазель Жели, по ночам приходит в заведение мадам Журдан и рассказывает шпионящим мюскаденам обо всех перипетиях Дантонова сердца, в то время когда Дантон, тщательно скрывая от всех свою не в меру выросшую любовь, бегает по Парижу в поисках «настоящего», то есть не присягнувшего священника.

Движение сердца обезумевшего от любви Дантона обсуждается шумно, со смехом, при звоне стаканов, на рассвете в борделе бывшей аристократки. С хохотом воспроизводят жесты и движения Дантона, идущего на исповедь к контрреволюционному попу. Рассказывают, как поп, мрачный, в грязной сутане, засаленный и небритый, принимает от безбожного вождя французской революции покаяние в грехах в фонарных виселицах для попов, а потом тут же, на чердаке, этот поп, положив крест и кружевной платок на ящик с бутылками капского рома, венчает Дантона по старому католическому обряду с шестнадцатилетней смазливой девчонкой Луизой Жели.

Дантон писал своим новым родственникам:

«На тихой реке, в моем имении Арсисе, я живу сейчас, усталый от гроз и громов Парижа. Здешние добрые буржуа чтут меня уже безбоязненно, они приглашают меня в свои палисадники, где я сажаю и поливаю вместе с ними деревья свободы».

Дин-дон, дин-дон, Погиб Дантон.

И скоро попадет к девчонке в плен Его товарищ Демулен, Уж на груди у ней без воли и без сил Заснул Камилл.

Шантаны в Пале-Рояле повторяли эти песни.

Демулен сделался богатым наследником, пышная свадьба его с Люсиль дю Плесси была отпразднована всем кварталом. Последний раз повидался он с Робеспьером на свадьбе и уехал в Бур-ля-Рен, в уютную сельскую усадьбу. Вскоре у него родился сын.

Какая-то странная перемена произошла в Камилле. Когда стал работать в Париже Комитет общественного спасения, Камилл Демулен придумал новую газету; он выступил уже в качестве противника Робеспьера с планом «Комитета общественного милосердия».

Компания мюскаденов не ошиблась. Савиньена де Фромон и Рош-Маркандье доносили своим хозяевам, что если воля Робеспьера кристаллизует силы революционного Парижа и если Марат с каждым днем становится все сильнее, то Демулен и Дантон окончательно потеряны для революции. Робеспьер был охраняем всем Парижем, его прозвище «Неподкупный» делало его и независимым. Следовательно, нужно ударить по Марату, который был еще на нелегальном положении.

Пока жирондистские депутаты сохраняли свою силу в Конвенте, они пользовались легальными способами борьбы, но обсуждали свои планы в доме номер пять на Вандомской площади, где одну квартиру занимал жирондист Верньо, а другую — Доден, богатый администратор Индийской компании, перекупщик колониальных товаров. Его жена устраивала еженедельные пиры, где в кругу дельцов и депутатов Конвента жирондисты намечали очередные выступления и подготавливали еженедельные планы борьбы. Рош-Маркандье встречался с господином Роланом в ресторанах Пале-Рояля и на улице Орлеана в предместье Сент-Онорэ номер девятнадцать, где владелец квартиры Дюфруш Валазье широко открывал двери всем, кто группировался вокруг интриг Жиронды.

В то время как монтаньяры, якобинцы и кордельеры выносили свою политику в Конвент, в секции, в клубы, на суд парижского простонародья, отвечая за все, что они говорят и что они делают, прислушиваясь к голосу бедняцкого Парижа, который требовал установки твердых цен, ликвидации биржевых интриг, подоходного налога на богачей; в то время когда все это обсуждалось открыто, все это контролировалось низовым Парижем, — в это время пирушки жирондистов, их тайные собрания возбуждали справедливое недовольство парижан, воспринимавших эти пирушки как новый метод политических интриг.

Первый удар по Марату жирондисты нанесли после того, как 5 апреля 1793 года Марат, председатель Якобинского клуба, обратился с письмом к провинциальным клубам. Он предложил апеллировать в Конвент об отозвании всех депутатов, стремившихся спасти Людовика XVI. Тогда депутат Жиронды Гадэ 12 апреля потребовал в Конвенте обвинительного декрета против Марата. А так как семьдесят-шесть депутатов Горы были в отсутствии по набору войск, то Марат был обвинен «большинством голосов».

Это было торжеством на час. Революционный трибунал, Коммуна, парижские секции в ответ на это обвинение устроили манифестацию в честь Марата, а через два дня Паш — мэр города Парижа — и тридцать пять секций подали Конвенту петицию с требованием ареста двадцати девяти жирондистских вождей.

Двадцать четвертого апреля депутаты из провинций, секционеры Парижа огромной толпой проводили Марата в Конвент, где он должен был предстать в качестве подсудимого. Увенчанный цветами, больной, измученный, он был допрошен и мгновенно оправдан. Он занял свое депутатское кресло. Провожавшая его толпа продефилировала перед его врагами через залу Конвента и вышла на улицу, где по всему Парижу уже раздавались ликующие крики.

Жирондисты поняли всю силу своего поражения:

преследуемый , скрывающийся Марат был опасен, но Марат оправданный и торжествующий стал страше

н .

Головы жирондистов скатились на гильотине, а 6 мая полтысячи мюскаденов, собравшись на Елисейских полях, осыпали свистками и бранью проезжавшего верхом начальника парижской Национальной гвардии Сантерра. Потом, пробравшись к Клубу Кордельеров, они выждали конец речи Марата и бросились на него при выходе. Марат был отбит, щеголи рассеялись, парикмахеры, клерки, мюскадены без определенных занятий, с вихрами огромных волос, свисающих на лоб, с дубинками, высокими воротами, наглые, гогочущие и свистящие, рассыпались по переулкам, угрожая Конвенту.

Тринадцатого июля Эро де Сешелль от имени Комитета общественного спасения делал доклад Конвенту. Отечество было в опасности больше, чем когда-либо, необходимо было его спасти. Он докладывал о натиске врагов, о продвижении армии соединенных монархов, и вдруг мальчик подал ему записку. Эро де Сешелль покачнулся и нахмурился.

— Граждане, — сказал он, — сейчас кинжалом неизвестной женщины зарезан Жан Поль Марат!

Стон раздался на скамьях Горы.

Робеспьер остался один. В огне жирондистских восстаний, под угрозой коалиционных армий после похорон Марата, под выстрелы пушки с Нового моста через каждые пять минут и, наконец, после казни убийцы Друга народа, Шарлотты Кордэ, Робеспьер, почти изолированный, должен был приступить к борьбе против вооруженного выступления тех, кто нес великую правду парижской бедноте, но не умел ни рассчитать силы врагов, ни организовать силы друзей парижского пролетариата.

Наступил конец 1793 года. Сторонники Гебера образовали радикальную партию, которая стремилась нанести удар самому принципу буржуазной собственности. Гебертистам и «бешеным» вся деятельность Робеспьера казалась слишком миролюбивой и чрезвычайно медленной. В день борьбы с гебертистами Дантон снова появился в Париже. Он хотел оказать помощь Робеспьеру, но было поздно: как только закончилась борьба с жирондистами, как только были подавлены вспышки восстания гебертистов в Париже и в провинции, как только Робеспьер смахнул с пути гебертистов — он приступил к делу своих бывших друзей.

Оба, Жорж Дантон и Камилл Демулен, после короткого и решительного суда 5 апреля 1794 года взошли на колесницу, а с колесницы на эшафот, где ожидала их гильотина. Оба погибли. Последними словами Дантона были:

— Вперед, Дантон, ты не должен знать слабости!

Робеспьер без колебаний приступил к проведению в Конвенте закона о равенстве состояния. Это был декрет, отменявший рабовладение на Антильских островах.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ЧЕРНАЯ ФРАНЦИЯ



## 10. ЧЕЛОВЕК-СОБСТВЕННОСТЬ

Горе той республике, для которой достоинства и даже добродетели какого-нибудь одного человека сделались необходимостью. Лазарь Карм

Республика погибла, разбойники торжествуют. Робеспьер, 9 термидора

Все тихо. Коршуны кружатся вдалеке

На белых небесах каким-то роем темным.

И зверь и человек — все спит в огне огромном. Хозе Мария Эредиа

Революционный Конвент декретировал отмену рабства 21 июня 1793 года, но еще задолго до того Сантонакс снова получил приказ отбыть в Гаити. В ушах его еще раздавались речи в Конвенте 24 апреля 1793 года. Он видел немало страшных и прекрасных зрелищ революции. Он был комиссаром батальона в Вандее, где попы устраивали лесные ловушки, застилая волчьи ямы гнилыми листьями, поверх покрывая их тонкими прутьями. Солдаты десятками падали на острые колья на дне этих глубоких колодцев и погибали голодной смертью или от удушья. Сбегавшиеся крестьяне-бретонцы кидали туда охапки горячей хвои и лесной суши, превращавшей эти ямы в костры. Сантонакс видел, что свет побеждал и выковывалась новая Франция. Он видел молодого генерала, который казался ему истинным представителем новой Франции. Это был желтолицый юноша, с холодными глазами, худой, маленький и злой. Сантонакс говорил с ним, так как слышал, что этот молодой офицер получил первую премию Лионской академии за ответ на академический вопрос Рейналя:

«Какие суть правила и учреждения, посредством которых можно возвести род человеческий на высшую ступень?» Этот молодой генерал, прославленный в стольких битвах Конвента, не пожелал делиться с Сантонаксом идеями своего произведения, получившего премию Лионской академии. Он сказал ему только:

— Мне было четырнадцать лет, когда я попал под влияние этого таинственного аббата Рейналя. Я любил приходить к нему по вечерам, я встречал у него мулата Винсента Оже, казненного за восстание на островах, но теперь я знаю, что все это — заблуждения прошлого: аббат Рейналь не нужен Франции. Полагаю, вы должны думать так же, боевой комиссар Сантонакс.

Однако в тот день, когда роялистские заговорщики осадили Конвент, Бонапарт осыпал их картечью и быстро очистил площадь. А когда англичане попробовали, в пику якобинцам, занять Тулон и провозгласить правительство жирондистов, тот же Бонапарт, по приказу Конвента, идет на покорение Тулона. Вся морская артиллерия, вся сухопутная артиллерия, все атаки адских колонн Лазаря Карно бросаются на истребление мятежного города. Франция вновь едина и неделима, по приказу Конвента, под ударами артиллерии Бонапарта.

«О, этот восхитительный молодой генерал далеко пойдет!» — думает Сантонакс, становясь по левую руку Робеспьера перед выходом последнего на трибуну и наблюдая, как Бонапарт становится в группе с правой стороны Народного трибуна, собирающегося произнести перед лицом Франции «Речь о значении частной собственности».

Сантонакс сравнивает лица.

Робеспьер, простой, серьезный, в белом парике с косицей, крутым завитком волос по краям парика до середины уха; в профиль покатый, широкий, откинутый назад лоб, бровь широкая, идущая до виска, челюсть, устремленная слегка вперед, сжатые тонкие губы, тонкие ноздри и маленькое удлинение носа к концу, почти незаметное. Черты скорее правильные, но слишком стремительные, и дальше в профиль так, как рассказывает Лафатер в своей «Науке физиогномий»: «Выдающаяся передняя часть лица и спокойное строение глаза». Не будь этой стремительной поспешности длинной челюсти, не будь этой сжатости тонких злых губ, не будь этой чрезвычайно стремительной линии лба к затылку, можно было бы думать, что эти спокойные угольного цвета глаза, что эти красиво сидящие, едва обрисованные скулы принадлежат философу XVIII столетия, которому легко и спокойно думать о науке надменно. пышный ворот, прямо от ушной мочки спадающий на плечи и подпирающий затылок, слегка сутулит фигуру. Муслиновый галстук цвета чайной розы слегка подпирает подбородок. Две верхние пуговицы камзола расстегнуты, а третья застегнута почти на высоте ключицы.

Весь в черном, застегнутый, спокойный, Робеспьер, делал три шага вперед, три назад около трибуны. Безызвестный оратор, имя которого пропало в стенограммах, кричал о красоте принципа частной собственности. Робеспьер трижды взглянул на него, подошел к Фукье-Тенвиллю и шепнул ему что-то.

За последние дни богачи выпускают целый ряд безвестных людей, повторяющих с трибуны чужие речи, а когда дежурные стенографы требуют их фамилий, то оказывается, что при записи они назывались неверно, а после их ухода уже никому не известны их имена. Но этот оратор сходит, его фамилия Мюзо. Уже на ночь дано распоряжение узнать, кто он, клерком или счетоводом чьей конторы он является в Париже. Он кричал о священном праве собственности, как будто его кто-то оскорблял; он говорил о том, что собственность — опора французских границ, он говорил:

«Господин Робеспьер, стоящий вот здесь неподалеку, не забудьте, граждане, есть тот самый господин Робеспьер, который провозглашает закон о максимуме, тарифы на цены предметов первой необходимости. Это то же самое посягательство на священное право собственности, которое мы слышали однажды из уст негров и цветных рабов».

Робеспьер с легкостью взбегает на двадцать семь почти вертикальных ступенек кафедры Конвента и говорит:

— Граждане, а вы спросите-ка их, этих продавцов живого человеческого мяса, что такое, по их мнению, собственность? Если уж они упомянули сейчас о негрских и цветных племенах, то пусть они вам скажут, и даже не только скажут, но покажут продолговатые гробы, плавающие на поверхности морей под парусами, — корабли, в которых они своим счетоводческим пером зарегистрировали негров — живых когда-то людей, где они записали их цену, пока они еще кажутся только живыми: вот моя собственность! Я их купил по столько-то франков за голову! Спросите-ка этих джентльменов, которые владеют сушей и морем, кораблями и людьми, — они считают, что вселенная рухнет, как только их не станет на земле. Вот они, эти владельцы черных кораблей с неграми, — они вам покажут, что такое собственность, что такое обладание достаточным для них довольством и счастьем на земле. А после этого вы можете спросить о собственности у августейших членов капетингской династии. Они вам повторят то же самое и даже скажут вам больше. Они без обиняков назовут вам все формы человеческой собственности, формы, наиболее священные из всех благословенных богами. Не противоречьте им — это наследственное право королей, право, каким они наслаждаются уже с древних времен,

право угнетения не только черных, но и белых, право превращения в ничтожество на законных основаниях, в силу монархического принципа двадцати пяти миллионов людей, —

люде

й, существующих на земле, на территории вот этой нашей страны, для их наивысшего удовольствия. В глазах этих людей принцип собственности ни в какой степени не соприкасается с принципом человеческой нравственности и добродетели. Нравственность и добродетель существуют лишь для тех, кого они угнетают. Почему наша «Декларация прав» кажется все-таки ошибочной, ограничивая человеческую свободу? «Первое право счастливого человека, самое священное право то, которое он получил от самой природы». Мы скажем с полным правом, что есть границы, отделяющие право одного от права другого.

Ни один народ не может становиться собственностью другого, ни один человек не может принадлежать другому

у. Только теперь мы можем в полном смысле слова понять и ощутить, почему вы в свое время не приложили усилий к развитию этого принципа собственности в противовес свободе, равенству и братству. Да потому, что это не политический, а чисто

социальный принцип, подверженный большим изменениям, потому, что

он не является вечным законом природы, который не может быть подвержен насильственным поворотам человеческой воли в той степени, в какой может быть подвержен изменению любой закон добровольного соглашения людей между собою.

Вы, граждане, усложнили статьи, которыми обеспечивается единственная полная свобода варьирования законов о собственности. Вы до сих пор ничего не сделали, не сказали ни одного слова, чтобы ограничить природу и законные пределы того, на основе чего ваша «Декларация» обязана оградить человека как такового. Все сделано для богача, для обогащающегося, для хищного скупщика, для биржевого ажиотера, в конце концов для тирана-эксплуататора, который не остановится ни перед какой формой собственности. И вот, граждане, перед тем как отправить комиссаров для раскрепощения черных людей, я предлагаю вам исправить эту порочную часть «Декларации прав», посвящая будущим поколениям следующие живые истины как закон:

I. Собственность есть право, которым каждый гражданин может пользоваться и располагать в пределах, строго ограниченных законами государства.

II. Право обладания собственностью есть право ограниченное, как и все остальные священные обязанности каждого. Оно предписывает уважать такое же право и такие же права во всех остальных живых человеческих существах.

III. Закон не разрешает: ни злоупотребления безопасностью, ни, само собой разумеется, свободой, ни тем более существованием, а в особенности принадлежностью кого бы то ни было кому бы то ни было из людей.

IV. Все способы обладания одного человека другим и все способы какой бы то ни было торговли, насилующей изложенные принципы, объявляются незаконными, противоестественными, подлежащими искоренению.

Робеспьер, как черная кошка, склонился с кафедры и спросил стенографов:

— Записали четыре пункта?

Громкие аплодисменты со стороны монтаньяров ничего не позволили услышать, только кивки головами были ответом Неподкупному. Он сошел с эстрады.

Сантонакс продолжал сравнивать лица. Бонапарт проще и, пожалуй, красивее. Военная жизнь сделала его лицо живее.

Короткие ручки Бонапарта хлопали Робеспьеру в самый нос. Робеспьер, не улыбаясь, с широко открытыми глазами разыскивал кого-то. Он увидел Сантонакса, скользнул взглядом ему через плечо, без улыбки. Сантонакс обернулся: за ним стоял человек небольшого роста, изрытый оспой, в красной карманьоле, и с ним рядом — загорелый остролицый солдат в треуголке, веселый и любезный. Робеспьер подошел к Сантонаксу и сделал знак этим людям.

— Дорогой Сантонакс, — сказал Робеспьер, — ты едешь сегодня с поздним мессажером, не медля ни минуты. Зайди к Пинкалю, восьмая зала Конвента, он даст тебе на руки сертификаты. И вот тебе твои спутники. Вот твой первый помощник Польверэль, сапожник, член парижской Коммуны. Он первый надел фригийский колпак на голову Капета, он вместе с Грегуаром производил расследование об истреблении негрской делегации в Париже. Это друг черных людей, получше, чем все дурачье, окружавшее компанию Мирабо. А вот тебе другой спутник, ты его узнаешь в дороге. Эльхо, поздоровайся с твоим командиром. Будьте верны комиссару, он клялся на верность Французской республике. Помните, что в ней не должно быть рабов.

Потом, отведя в сторону Сантонакса, он сказал:

— Слушай, комиссар, твое плавание будет на «Ласточке». Я хотел, чтобы матрос Дартигойт был сделан капитаном, но он исчез неизвестно куда. «Ласточка» хорошее судно, ее построил Эйлер. Эйлеру мы верим, он великий математик и бескорыстный ученый. Это один из кораблей, который построил Конвент. Не советую приставать к Сан-Доминго, — тебя встретят пушки и потопят «Ласточку». Дело твое, прощай. Ты можешь погибнуть, но дело сделай! Республика требует, чтобы не было больше рабов. ДНЕВНИК САНТОНАКСА

3 декада (Начало отсутствует) «Z...» 1793-W...месяца.

...в Брест, а пока смотрел «Памелу», превозносящую дворянство и английское правительство в Французском театре. Не мог досидеть до конца, ушел, чтобы не затошнило от глупости. В «Амбигю Комик» ставили «Адель де Саси». Я пошел посмотреть, думая, что это что-либо касающееся моего дорогого наставника Сильвестра де Саси (видел его три дня тому назад в Медонском замке, — удивительный «неприсяжный» ученый, который все силы кладет на науку для новой Франции). Оказывается «Адель де Саси» — это поганая пьеса безыменного автора; она изображает королеву и ее сына, заключенных в крепость в силу «одной только подлой интриги». Народ, освободив их обоих, восстанавливает в правах, оказывает им почет. Пьеса заканчивается монархическим вздором.

Из «Амбигю» я, не переводя духа, побежал к Робеспьеру. Застал его дома. Я рассказал ему эту возмутительную историю. Он сказал:

— Ты напрасно волнуешься, Комитет общественного спасения уже дал распоряжение о снятии этой пьесы. Оба автора — английские шпионы — действуют чрезвычайно ловко.

У Робеспьера застал слесаря, члена Революционной коммуны. Его фамилия Коффингаль. Вышел вместе с ним. Коффингаль говорил:

— Вот казнили Журдана-головореза, моего товарища в юные гиды. Казнили за авиньонскую резню в сентябре прошлого года. Этак Робеспьер казнит и меня! Я с ним сейчас серьезно поговорил, он покровительствует ученым. Знаю я этих ученых! Робеспьер отдал им Медонский замок. Ну, правда, они выдумали новый календарь, они сделали оружейные школы, готовят порох, селитру, пушки. Марсова школа на Саблонской равнине и Гренельский пороховой завод — это все хорошие вещи. Правильно, конечно. Робеспьер говорит, что имущество заговорщиков должно быть поделено. Это ведь добро тысяч семей. Из них кое-кто виноват в подготовке фосфорных фитилей, чтобы поджечь арсеналы и склады фуража. Уже были пожары в парусных мастерских Лоранского порта. Ведь ты, комиссар, кажется, сам

выезжал в Байонну на расследование о пожаре на снарядном заводе и в артиллерийском парке Шемилле?

Я ответил утвердительно, а этот неугомонный Коффингаль продолжал:

— Робеспьер говорит: «Иметь два плана, один для себя, другой для канцелярских служащих». Он нас считает канцелярскими служащими? Да? Ты едешь в Сан-Доминго?

Я ответил утвердительно. Коффингаль перескакивал с предмета на предмет, болтая без устали.

— Ты знаешь что, — сказал Коффингаль, — оттуда привезли в кандалах дворянина д'Эспарбеза, сменившего тамошнего губернатора Бланшланда. Я был за то, чтобы его простить, а Робеспьер его казнил. Да что говорить, — продолжал Коффингаль, — у Тальена, председателя Конвента, лежит в ящике новая конституция Франции. Когда же отопрут этот кедровый ящик? Все кричат

— когда наступит мир, а мы думаем, что пора. Так-то, гражданин Сантонакс! Робеспьер учеными увлекся, по нашему мнению. По-нашему, по-рабочему, все это господа вроде Гассенфратца — господин Шанталь, комиссары округа, заводов, пороховщики, какой-нибудь там Фуркруа, ученик и друг откупщика Лавуазье. Ох, этот откупщик! — Коффингаль сверкнул глазами, склонив голову. — Правда, из Медонского замка выходят хорошие вещи. Ну, там гремяче-кислая соль дала новый сорт пороха, там выдумали полые ядра, зажигательные снаряды для пушек, зажигающие города, там даже начали подниматься на воздух в корзинке под легким баллоном. Там даже гражданин Шапп сумел зеркалами передавать депешу из Парижа в Марсель в семнадцать с половиной минут, — но все это пустяки. Республика может обойтись без ученых, когда не хватает муки, картошки и мяса.

Я высказал Коффингалю свое мнение довольно резко и старался успокоить его тем, что в этом году был ранний и обильный урожай, а что если мы сейчас имеем двести тысяч фунтов пороха в день и что если войска наши одерживают победы, то в этом немало заслуг наших ученых химиков и таких математиков, как Лазарь Карно.

Мы с Коффингалем остановились перед кофейной, на стене которой прочли:

«У купцов нет отечества, черт их дери. Пока они думали, что революция будет им полезна, они поддерживали ее, они протягивали руку санкюлотам, чтобы уничтожить дворянство и парламент. Но все это только для того, чтобы занять место аристократов, в то время как активные граждане более не существуют, в то время как несчастные санкюлоты пользуются теми же правами, что и богатый вымогатель. Все они — будь они прокляты — отказались от нас и употребляют всякие меры к уничтожению Республики. Они скупали все продовольственные припасы, чтобы продавать их потом на вес золота или вызвать голод».

Я подошел поближе. Это был номер 279 газеты Гебера «Отец Дюшен».

— Ведь они пишут правду, — сказал Коффингаль, — и Робеспьер так же думает.

— Чего же ты хочешь, Коффингаль? — спросил я.

— Хочу, чтобы Робеспьер не умничал и не возился с учеными.

— Но если это необходимо?

Коффингаль пожал плечами, и мы расстались.

Трагическая судьба. Робеспьер остается все чаще и чаще один. «К» 179...

Путь на Брест труден и тяжел. Никогда переезд к морю не стоил мне так много сил, «Ласточка» действительно прекрасный корабль. Четырнадцать пушек отлиты из церковных колоколов, орудия новенькие, ни разу не стреляные. Итак, в дорогу.

Скоро услышу снова страшные песни негров «Куа-Нассе» и «Камп де-Гранд-Прэ», как они, коверкая язык, называют лагерь Большой долины. Под эти жуткие песни умирали десятки тысяч негров.

На палубе купец. Если бы он не был мулатом, я сказал бы, что это вылитый портрет полицейского шпиона Рош-Маркандье. Он отвратительно говорит по-французски, ломает слова, его почти невозможно понять. Шапповские аппараты, гелиограф для мгновенной передачи депеш — везу с собой. «S» 179...

Утром — человек за бортом. Мулат с лицом Рош-Маркандье стоит как ни в чем не бывало. Станный человек. Спасти матроса не удалось. Размышляя о предстоящей работе и о поручении Робеспьера, сравниваю их обоих: молодого генерала Бонапарта и молодого члена Комитета общественного спасения — Робеспьера. Бонапарт замкнутый и злой. Робеспьер — бесконечная доброта и страшная усталость. Бонапарт наводил пушки на дома беднейшего населения Тулона, Робеспьер не спит ночи и готов бежать на край Парижа для спасения невинно осужденного. Оба по-своему нужны.

Читаю последние сводки военного министерства. Война с Англией неблагоприятно отражается на состоянии колоний. Мы сами отчасти виновны в том, что возбудили ненависть и недовольство населения Антилий. Если Антильские колонии нельзя в полном смысле слова назвать Новой Вандеей, то во всяком случае их нужно рассматривать как то место, где значение Франции оценивается особо. Там все принимается за чистую монету, в то время как Париж считает возможным надолго задерживать осуществление и публикацию конституции 1793 года. Париж ждет для этого наступления мира, а мир не наступает в силу того, что конституции, примиряющей противоречия сословий, до сих пор во Франции нет. Мы «не сеем новых посевов до тех пор, пока земля не привыкнет к новым семенам». О, это сложная, о, это темная сторона человеческой истории! Генерал Симкоз, Уайтелок и Майтланд занимают почти весь остров Гаити.

Самое последнее донесение: испанцы и англичане ссорятся между собой.

Генерал Лаво на свой страх и риск сформировал негрскую армию. Где-то я ее застану? «D» 179..

Не писал одиннадцать дней. Чувство смутного беспокойства, плохой сон. Окончательно ознакомился с документами и инструкциями. Хуже всего, что необходимо иметь три или четыре варианта быстрых решений и безошибочно принять одно из них сразу. Это возможно только в том случае, если для этого быстрого решения будут все данные. А если нет? Я могу погибнуть, но хуже всего погубить все дело. «Z» 179...

Появились первые птицы. Сегодня держал совет с капитаном и канонирами, согласились на обстрел берега в случае явного сопротивления нашей высадке. «W» 179...

С форта Дофин в ответ на сигнал четыре выстрела. Кто мог их дать? Неужели форт занят испанцами или англичанами? Ушли в открытое море. «N» 179...

Форт Акюль. Французский сигнал: «Имеются ли на борту комиссары Конвента?»

Ответ:

«Да. Просим обеспечить высадку до наступления сумере»

к» .

Вместо сигнала —

боевой залп шестнадцати орудий . Сбита мачта, сломан штурвал, погибли четыре канонира и младший помощник капитана немец Штюрцваге.«S» 179...17...

...

Не могу найти страниц. В бауле никто не рылся. Генерал Лаво в плену, взят под утро испанцами, как раз в тот день, когда мы совершили тайную ночную высадку.

Нам все враги , кроме негро

в . У меня обедал адъютант генерала Лаво, негр Франсуа Доминик Туссен Лувертюр. Смеясь, за обедом он рассказывал мне, каким способом удалось изгнать англичан. Но об этом после. Самое странное, что он сказал:

— Гражданин комиссар и вы, честные Польверэль и Эльхо, будьте уверены в моей дружбе. Вы считаете, что генерал Лаво честно служит Французской республике? Генерал Лаво нынче ночью будет с нами.

Удивительный и странный этот негр. Уходя, он пожал мне руку и сказал:

— Я не мальчик, мне сегодня ровно пятьдесят лет, я не говорю напрасно: нынче ночью вы увидите генерала. «7...

Порт-о-Пренс. Познакомился с генералом Лаво. Во время богослужения вдруг раздался пушечный выстрел. Я вышел из зала муниципального собрания на соборную площадь. В коляске под руку с Туссеном Лувертюром ехал седой француз. Это был генерал Лаво. Эскадрон негрских гусар пылил по улице.

Эти странные негры искрошили испанский отряд, освободили Лаво и 1700 пленных французов. Эти негры делают чудеса храбрости. Вполне понимаю, что сорокапятитысячный английский корпус, высадившись четырьмя десантами, не мог удержаться; лихорадка, нападение испанцев и негры, эти замечательные бойцы, сделали пребывание их на острове нестерпимым. Самыми упорными были Майтланд, Уайтелок и Симкоэ. Последние сдались раньше всех, и если бы не Майтланд, англичане ничего не потеряли бы, но Майтланд стянул основные силы в Крет-а-Пьерро.

Пользуясь преимуществом горной местности, негры нанесли Майтланду колоссальный урон. Англичане вызвали дополнительный флот и на 85 кораблях покинули остров. «D» 179...

Неделю не писал дневника. В этой фантастической стране особенности человеческой породы до такой степени странны, что не сразу осваиваешься с целым рядом явлений. Восьмые сутки вместе с Туссеном работаем над новыми законами гаитийских общин. Туссен — друг и почитатель Рейналя, но говорит, что Рейналь дает очень много для критики, а когда необходимо приступить к организации государства, когда требуется продолжительная программа — необходимо руководствоваться декретами Конвента, учением Мабли и, как это ни странно,

Корсиканской конституцией Жан Жака Руссо .«H» 1794 Zis

(В тексте перерывы)

...истекшем году; такие есть опасения, что это повторится в нынешнем. Странные вести: некий Амираль, как пишет «Монитор», дожидался у выхода из дворца Конвента

Максимилиана Робеспьера. Перепутал его с Колло д'Эрбуа и снес череп последнему pistolетным выстрелом. Девушка двадцати лет — Сесиль Рено — ворвалась к Морису Дюпле с тем, чтобы убить Робеспьера. Максимилиан счастливо отделался, он не был в этот день в Конвенте и ночевал у кого-то из друзей. Трагическая история! Робеспьер в ссоре с гебертистами. Война на фронте, ссора в тылу, что может быть хуже! Но к чести Неподкупного надо сказать, что он предпринял репрессии только тогда, когда Гебер выступил вооруженной силой против Конвента. «Р» G 17...ZY

Казнены Камилл Демулен и Жорж Дантон. Что это значит? Я держу газетный листок и письмо, полученное мною от Фуркруа.

Лавуазье,

друг черных людей , арестован! за что? Ведь он уже давно не откупщик. Стены, воздвигнутые крупье Генеральной фермы, этим продажным человеком Леду, вовсе не были «стенами Лавуазье», как о том говорили в Париже. К тому же...

Нет, об этом надо написать отдельно, я буду писать Фуркруа, чтобы он хлопотал за Антуана Лорана Лавуазье.

Стены вокруг Парижа и таможенные станции разрушены еще до взятия Бастилии восставшим народом , задолго до ликвидации откупов. Лавуазье перестал быть откупщиком. За что же сейчас сажать в тюрьму ученого?«Y» 17...

Франция ведет победоносную войну. «V» 1794

Как ужасна жизнь! Кто знает, что будет завтра? Вот сейчас передо мной это странное письмо:

«Дорогой друг, я давно не писал тебе и не мог писать. Это письмо последнее. Республика погибла. Негодяй Тальен, получив отчаянное письмо от своей сожительницы, проститутки Кабарюс, арестованной по приказу Робеспьера за лихоимство, вместе с Баррасом подняли весь гнусный и спекулянтский Париж против нашего общего друга. Я ждал, что ты приедешь. Со времени твоего отъезда было столько горя и я так был одинок, что твое присутствие одно только облегчило бы мою участь. Скажу тебе прямо: я не знаю, как ты сейчас отнесешься к Робеспьеру, я простой гравер, я типографский рабочий, — я знаю, что у нас многие сердиты на Неподкупного, но я говорил товарищам, что именно

он стоит за проведение закона о максимуме в такой форме, которая облегчила бы жизнь трудового люда. Изголодавшиеся типографщики мне не верят, лионские шелкопряды думают еще хуже, орлеанские ткачи и бельгийские суконщики тоже стонут.

Крестьяне , особенно кто побогаче, накупили земли из национального фонда и, наевшись, отвалились от стола. Их беспокоит только внешняя война, закон о максимуме для крестьян так же противен, как противен для парижского откупщик

а . Эту сволочь ничем не остановишь. И вот ужасное случилось. Я не знаю подробностей, я знаю, что Тальен махал кинжалом, что он не давал Робеспьеру говорить. Я знаю, как издевались над ним, когда арестованного отказывались принять все тюрьмы, — до такой степени гнусным делом показалось это дело даже полицейским и гильотинеру. Но страшное событие совершилось. Максимилиан неудачно пытался застрелиться. С простреленной челюстью эту мудрую голову положили в окно гильотины. Погибла Франция! Негодяи, совершенные негодяи встали у власти. Прощай, дорогой Сантонакс, мне нечем дышать. Не отвечай мне, так как я решил не жить. Ты знаешь, я не говорю напрасных слов. Прощай.

Моклер-гравер».



(Большой пропуск в рукописи) «S» 17...

Гроза не разразилась. Небо было совершенно черно, в четыре часа пополудни, казалось, наступила ночь, только бушприт, мачты и реи покрылись беглыми огоньками: это огни святого Эльма.

Ветер был крепкий, но сухой, облака шли низко и казались безводными, — я в первый раз в жизни вижу это явление. Очевидно, где-то вдали был гром и буря. Мы шли берегом, то отдаляясь, то приближаясь к линии каботажа. Компас обнаруживал странную игру и колебания. При полном отсутствии горизонта небо полыхало зарницами где-то страшно далеко и беззвучно. Через два часа внезапно проглянуло солнце сквозь разорванные тучи, и облака словно развалились в этих лучах. Мы шли в направлении Порт-о-Пэ, и внешние очертания берега показались нам знакомыми, но я не узнал места, в котором не бил так давно. Как ласточкины гнезда, высматривали на уровне горы четырнадцать орудий неизвестного мне форта. Они смотрели прямо в море, это были длинные английские береговые пушки.

Туссен положил мне руку на плечо:

— Здесь была мулатская пулькерия, а вот теперь новый форт.

— Так это действительно Порт-о-Пэ? — спросил я.

— Да. Этот новый форт знаменит тем, что его выстрелы потопили крупнейший крейсерный парусник англичан. Самоуверенное командование не узнало даже этого места, оно подошло к форту настолько близко, что англичан удалось потопить сразу, не разрешая им ответного выстрела.

— Скажите, генерал, — обратился я к Туссену, — в чем состоит секрет спасения Лаво?

— Ни в чем, — ответил Туссен. — Испанцы должны были, по договору со мной, убраться с острова, они выговорили себе только одно — право отправлять богослужение и назначать свое духовенство. Несмотря на невыгоду этого, пришлось согласиться, чтобы не тревожить тамошних католиков. Испанцы фанатичны. Когда Лаво был взят в плен, я вошел в Гинче в собор, предварительно введя за сутки батальон моих негров, переодетых в испанскую форму. В соборе хор пел «Те Деум». В этот момент я поднял руку, остановил богослужение и, выйдя из портала, приказал барабанщикам ударить в барабаны. Батальон испанских негров, к великому удивлению испанского правителя, с барабанным боем прошел по городу, освободил из тюрьмы генерала Лаво, открыл стрельбу по казармам. Вместе с подготовленными мулатами мы искрошили военное командование и гражданские власти последнего опорного пункта Испании, Гинч сделался нашим. В Гинче я получил доказательство того, что письма Винсента Оже, выражающие согласие на полное рабство негров при условии освобождения мулатов и предоставления им избирательных прав, — сплошь поддельные письма. «W» 179...NP

В Порт-о-Пэ провели собрание. Восемь делегатов, а именно: Мерканти, Гуцман, Лозье, Тавеньер и другие, фамилии которых не помню, выступили с бурными речами. Они кричали опять о том, что не согласны на ликвидацию рабства, так как это разоряет колонистов.

Я узнал, что Гуцман и Тавеньер являются крупнейшими агентами парижских акционеров Индийской компании. Я сказал, что Индийская компания ликвидируется, на что Туссен ответил:

— Да, да! Этим делом ведает Фабр д'Эглантин.

— Что же, — ответил я, — он сделает с вами то же, что с католическим календарем.

Революционный Париж даст вам вместо январей и февралей брюмеры, нивозы и плювиозы; вместо недели заставит вас считать на декады. Для вас новая жизнь начнется с первого года Конвента.

Тавеньер, озлобленный, отошел от меня. Гуцман снова взял слово и, встав на стол, обратился к собранию с речью против меня. Опять старые дела: «Франция не получит ни куска сахара, ни зернышка кофе до тех пор, пока не смиритесь перед необходимостью платить за освобождаемых рабов».

Тогда с места заговорил Туссен:

— Мы кровью добывали себе свободу, мы вернули метрополии ее самые богатые колонии! Мы требуем, чтобы все, кто сейчас говорит о выкупе, выкупили свою собственную жизнь покорностью революционной власти! Подчинитесь — таково требование Конвента.

Раздались бешеные крики:

— Черный генерал говорит от имени Конвента!

Кричали:

— Мы не допустим, чтобы негры управляли белыми.

— Да? — крикнул Туссен. — Мы этот недостаток восполним! Белые, желающие быть собственниками человеческих жизней, должны быть удалены с острова под угрозой смерти! Объявляю террор!

Поднялся страшный шум, засверкали кинжалы, пистолетный выстрел раздробил люстру, свечи посыпались на пол. Я не знал, что у Туссена может быть такой голос. Его белки сверкали, он стоял, не боясь разъяренной толпы жутких людей, и кричал:

— Здание окружено по приказанию Сантонакса и Эльхо. Те, кто не подчинится распоряжениям Конвента, будут расстреляны на месте.

Воцарилась немая тишина, слышно было, как скрипел стол, когда спрыгнул Туссен. Потом Эльхо встал на кресло и прочел декрет Конвента.

Ночь прошла спокойно. Утром расстреляли восемьдесят два колониста.

«V»...P.P.F.

Сен-Марк

Пятнадцать колонистов бежали. Восемь человек, напавшие на мою карету, расстреляны перед зданием городской коммуны. Получил письмо с нарочным из Сан-Доминго. В Париже творятся странные вещи, — пишет нантский комиссар, мой друг Монбельяр. Индийская компания закрыта. По ликвидации государство недополучило пяти миллионов ливров благодаря взяткам Фабр д'Эглантина. Фабр д'Эглантин казнен по приговору Робеспьера. Робеспьер казнен после происшествий 9 термидора. Коффингаль вел себя как настоящий предатель. Он освободил своего друга Анрио и с батальоном парижских секционеров прошел мимо тюрьмы, где содержался Робеспьер. Он палец о палец не ударил для освобождения Неподкупного. Ужасна эта «термидорианская» молодежь! Я называю так потому, что

девятый день термидора будет вечным ужасом для Франции. Только теперь понимаю, что должен был испытывать благородный Моклер. Кто остался? Эта сволочь, подчищающая свои

старые якобинские билеты, выдохшиеся негодяи, для которых революция стала докучным прошлым, люди, готовые примириться с кем угодно, лишь бы им дали «пенсию старого якобинца». Может быть, я ошибаюсь?

Монбельяр описывает, что представляют собой термидорианцы в Нанте. Этот мальчишка Карье, подобранный когда-то на улице богатой шляпницей Мадленой, стареющей торговкой, сделался потом ее мужем. Веснушчатый, с рыбьими глазами, рыжеволосый, безбровый, с белесыми веками, похожий на кошку рыжей масти, завистливый, злой — сейчас он выставляет себя противником террора. Но вот до этого Карье Оверньяк окружил себя бандой в сорок человек, он назвал их «ротой Марата». Он выплачивал им из муниципальной казны, пополняемой штрафными,

пятнадцать ливров в сутки, в то время как рабочие Нанта получали

пятнадцать су. Удешаженный оклад он оправдывал тем, что рота Марата ведет исключительно важную государственную работу. Два ротных командира Фуке и Ламберти организовали шайку мошенников-счетоводов. Ламберти был начальником снабжения, и когда оба взятками и вымогательством набрали шестьсот тысяч ливров, тогда Карье отнял деньги и расстрелял своих друзей без суда, «успокаивая» таким актом ограбленное население.

Нант был центральным местом по свозу вандейских пленных и бретонских контрреволюционеров. Тюрьмы Нанта ужасны. Там началась эпидемия тифа и холеры. Чтобы спасти население от эпидемии, Карье придумал ускоренный способ очистки тюрем. Он вывез на середину Луары барки с заключенными и пустил их ко дну. А 29 февраля он единолично распорядился о расстреле двадцати четырех разбойников, из них четверо не достигли четырнадцатилетнего возраста, а шестерым женщинам предстояло родить и кормить детей. И вот, пишет мне Монбельяр, этот человек является сейчас осквернителем памяти Робеспьера.

(В рукописи большой пропуск) «SdSaSl...»

Организационный гений Туссена за истекший год достиг колоссальных успехов. Я уступил ему дорогу всюду. Здесь еще страшно имя Конвента. В Париже смута, никто не догадается отозвать меня обратно. Последний приказ получен восемь месяцев тому назад. Обо мне, о Польверэле, об Эльхо позабыли. Террор, проведенный нами на острове, доставил мне много врагов, но видя дружбу негров со мной, они молчат. Обработка факторий, работа заводов достигли небывалой высоты. Что может сделать из человека свободный труд и как бесконечно велики возможности свободных земледельческих коммун!

Приказ о том, чтобы

следить за иностранными шпионами. Подпись —

генерал Бонапарт, комендант города Париж

а. Какое отношение имеет ко мне копия этого приказа? Письмо — слабое объяснение. Некий Меньяр пишет мне:

«Бонапарт и Дюльсэ просмотрели вчера большую корреспонденцию с командующими генералами. Не оказалось важнейших документов, именно

«директивного приказа Комитета общественного спасения относительно принципиальной основы и политики французских войск во время войны на чужой территории». Генерал Бонапарт и Дюльсэ самолично произвели обыск в помещениях Конвента. Этот акт нашли в письменном столе в передней. Ключ был у молодого писца, его расстреляли. Установлено, что иностранные державы имеют в Париже своих агентов, которые покупают копии бумаг

Комитета общественного спасения».

Какой ужас! «Zy» 178-2 р.

Польверэль задержался в Окэйе. Туссен читал мне статью Биассу, напечатанную отдельной брошюрой в Париже. Называется «Ликвидация рабских отношений между людьми». Статья замечательная. Макайя, Пьерро и Эльхо заканчивают объезд. Через неделю трибунал решит последние дела о выселении богачей на остров Кубу. Соглашение состоялось. Риго держится на юге, но, кажется, тоже уезжает, он совершенно безвреден.

(Большой перерыв в рукописи)

Полгода, как я комиссар Директории. Усталость от вечных разъездов, моя ненужность на успокоенном острове заставили меня просить Директорию назначить Туссена губернатором Сан-Доминго. Общины подали мне 1700 петиций. Туссен — истинный начальник негров, примирившееся белое население любит его как друга».

В документах Сантонакса вложен синий лист с пометкой той же рукой:

«Пятого фримера Туссен Лувертюр подписал прокламацию, отпечатанную в Сан-Доминго, и затем, размножив ее, разослал во все концы Гаити. Она гласила следующее:

«С первого дня революции я исполнил все, что зависело от меня, чтобы возратить моему Отечеству счастье жизни в свободном состоянии и утвердить права человека и гражданина за всеми моими согражданами. Будучи вынужден начать войну с внутренними и внешними врагами Республики Франции, я вступил в годы кровопролитных боев, имея неустрашенное сердце и ненавидя всякую жестокость. Честь негрского воина стояла высоко, и мы с вами, сограждане, не удалились от чувства справедливости, даже имея перед собой бесчестного и своекорыстного врага, попиравшего на наших глазах естественные человеческие законы братолюбия и справедливости. И если я в боях и сражениях применял оружие, имея волю к победе, то не гораздо ли больше положил я силы на то, чтобы даже в войне усладить ужасы войны и пощадить кровь человеческую? Всегда было первым правилом нашим — прощение обид; первым чувством нашим было — грядущее человечество. И часто после побед, как вы видели сами, я давал вам примеры дружеского и братского обхождения с теми, кто вчера еще шел против нас под знаменами неприятеля. Забывая их заблуждения и проступки, я хотел посеять семена свободы и вырастить деревья счастья, я хотел привить, как святыню, людям законную и священную свободу.

Свободу я хотел сделать любезною для самых опасных ее противников.

Генералы и офицеры! Братья мои по оружию! Напоминаю вам, что степени и воинские звания, в которые вы возведены, являются лишь наградою вашей чести, вашего беззаветного мужества и беспорочного поведения, что поступки ваши и самые ваши слова и даже собственные мысли, известные только вам одним, должны быть тем благороднее и лучше, чем выше стоите вы по воинскому рангу в рядах прочих граждан; что соблазнительные примеры людей, стоящих, как вы, на высоте, гораздо губительней, нежели развращенность простого жителя приморских городов, долин или гор; что воинские звания и должности, вами занимаемые, даны вам не ради выгод и не для утоления честолюбия, но единственно ради блага общественного, что ваш долг осуществлять все намерения Правительства, не думая о себе; что беспристрастие и справедливость должны управлять всеми вашими решениями, имеющими целью установление стройного порядка жизни, счастье вашей страны и уничтожение всех недостатков, мешающих расцвету деятельного и ревностного труда.

Всегда голосом ясного ума и горячего сердца я стремлюсь внушить нашим войскам дисциплину и организованность внутреннюю, без которых армия существовать не может. Цель наших войск — защита гражданской свободы и гражданской безопасности Республики.

Никто из членов нашей армии не должен терять из виду славного своего назначения. Офицеры должны давать солдатам не только на словах, но и на деле примеры воинского поведения. Всякий капитан должен иметь благородное рвение и держать свой отряд в наилучшем повиновении, хорошо одетым и занятым осмысленными воинскими и гражданскими занятиями. Капитан должен знать, как и всякий начальник, что поступок любого солдата позорит начальника и является поступком того, кто этим солдатом командует. С еще большей ясностью должны это усвоить себе Начальники Батальонов относительно своих батальонов и Начальники Бригад относительно своих бригад. Они обязаны считать армию своей семьей и быть среди солдат как в своей семье.

Сколько раз я говорил таким языком с генералом Моисом за десять лет моей дружбы с этим собратом. Я говорил с ним в частных беседах еще задолго до осуществления замыслов негрской свободы при совместных чтениях книги великого Рейналя, который пророчески предугадал зарождение нового мира в угнетенных колониях. Сколько раз, уже много спустя — когда мы втайне формировали нашу армию, я повторял генералу Моису принципы организации войск и повторял ему все это в присутствии наших общих товарищей, нынешних генералов. Сими уроками и чувствами пронизана вся переписка моя с генералом Моисом. Но вместо того чтобы слушаться голоса ума и сердца и выполнять приказания, имевшие в виду общественное благо нашей Страны, генерал Моис пошел на голос низких страстей и погиб, как жалкий и несчастный раб своих других склонностей. Вспомните расстрел генерала Моиса и громко возвестите, что такая участь ждет всех, кто пойдет по его пути. Опыт жесток, товарищи и братья! Принося мне лично печаль и наказание, дурное поведение генерала Моиса лишило меня возможности посылать на утверждение Французского Правительства новые производства в дивизионные генералы. Только генерал Дессалин, оказавший столько услуг нашей Стране, сохранит степень дивизионного генерала. Все прочие производства на низшие ранги не прекращаются.

Граждане Свободной Страны, в одной из моих прокламаций, обнародованной во время Южной Войны, я дал вам правила воспитания нового поколения людей: я описал обязанности родителей по отношению к детям. Станет ли повиноваться общественным законам тот, кто ногами попирает самый священный и самый кроткий закон природы —

закон материнства и любви к детям ?

Но, однако, я вижу, что родители с небрежностью воспитывают своих детей, особенно в городах, не сообщая им познаний необходимых, не научая любви к труду. Они не только оставляют детей в бездействии и невежестве, но и сами они зачастую забрасывают плантажи и уходят от возделывания земли, которое мы считаем самым почетным, самым первейшим и полезнейшим из всех трудовых состояний. У этих людей едва только успеет родиться ребенок, как ему вместо материнского молока дают серьги и обряжают его в ненужные драгоценности, под которыми я сам видел грязные лоскутья одежд, отвратительную неопрятность и наготу. Я знаю города и плантажи, где мальчики и девочки, достигшие двенадцатилетнего возраста, остаются неграмотными, без всяких убеждений, без знания наук и ремесел, но с великой страстью к роскоши и с непреодоленной ленью. И в той мере, в какой впечатления детства определяют волю юности, дорога злая и жизнь страшная ожидает их. Их ждет

дурной удел (*mauvaise part*), они станут плохими гражданами, бродягами, ворами. Девочек ждет гибель на пути торговли самым дорогим, что имеет человек: силой сердца и здоровьем тела. Отцы и матери таких детей! помните, что на вас обрушатся первые последствия безвластного бунта простых грабителей и бесчестных убийц в лице ваших детей. Каковы должны быть побуждения народного правительства Республики Негров и Французов? как должна наша армия смотреть на это? Говорю вам смотрите на этих отцов, на этих матерей и на этих детей открытыми глазами во имя свободы и закона!

Привет и Братство!

(Подписано): Туссен Лувертюр». ПРОДОЛЖЕНИЕ ДНЕВНИКА САНТОНАКСА

«Временами мне кажется, что этот фанатичный человек горит неугасаемым огнем любви к человечеству. Этот огонь заливают ярким пламенем его сухое черное лицо и светится в темно-синих глазах. Я ни разу не видел, чтобы он был мелок; в жестоких распоряжениях, даже в приговорах никогда не было колебаний, но он охотно идет на длительные пересмотры приговоров. А сейчас мы вдвоем подписали распоряжение об отмене смертной казни на острове. Никогда личное самолюбие не отделяет Туссена от негров, от мулатов, от кого бы то ни было на острове. Весь образ жизни его — республиканская простота, забывает о себе, никогда не забывает о людях.

Прекрасный дипломат во всем, что касается острова, наивен и доверчив во всем, что касается его личн

о. Характерно обращение к нему негров. Обычное выражение

— «отец». В войсках и в строю полная дисциплина, во всех остальных встречах опять то же обращение «отец», на «ты», и шутки, как со старым товарищем.

Переезжаем в Сан-Доминго. Вот уже август. Читаем по дороге с Туссеном аббата Рейналя. Туссен достал из баула свои любимые книги и старые письма. Рейналь писал Туссену:

«Тридцатого января 1494 года Колумб захотел организовать на острове Эспаньола, который теперь называется Гаити, первую торговлю невольниками из караيبов. Венцони слышал, как индийские караибы говорили, показывая на золотые изделия: „Неужели эти золотые куски лучше наших богов? Почему христиане золото сделали своим богом?“

Туссен говорил:

— Я боюсь, что новая Франция золото сделает своим богом. Испанские местечки на острове внушают мне опасения: они являются местом шпионажа, тамошнее духовенство сеет смуту.

Туссен не тревожит религии, богослужение отправляется свободно, но боюсь, чтобы религия не потревожила Туссена... Офицеры из штаба Туссена принесли мне странное письмо. Французское письмо с ошибками в сторону испанского языка, без подписи. Неизвестный человек пишет:

«Комендант города Парижа, генерал Бонапарт, написал письмо, известное всему Парижу. Бонапарт говорит: „Я считаю Робеспьера безупречным, но будь он даже моим отцом, я собственноручно заколол бы его, если бы он покушался на самовластие; это сделал Робеспьер“. Поэтому господин Туссен должен обратить внимание на самовластие робеспьеровского ставленника — Сантонакса».

Мне трудно писать, у меня дрожат руки. Этот анонимный донос требует от Туссена моей казни. Туссен прислал мне его без пометок.

Не застал Туссена, он приедет только к вечеру, уехал по горной дороге с девятью всадниками. (11 — 13)

Туссен объяснился со мной. Старик был очень взволнован, но не подавал виду. Он прямо говорил:

— Моя экспедиция увенчалась успехом, полковник Дессалин, Клерво и Макайя собрали все сведения, нужные нам обоим. На испанский корабль «Барселона», стоящий на рейде в Сан-Доминго, намеревались передать вот этот пакет, толстое письмо на имя гражданки

Жозефины Ташер де ла Пажери. Это креолка, живущая в Париже, — пояснил Туссен, — она богата, родом с острова Мартиники. Ее дед негр, мать — испанка, отец — француз; она любовница Барраса, одного из членов Французской директории.

Мы вскрыли пакет. Человек, писавший длинное послание, носил краткую фамилию Рош. Я не мог вспомнить, но что-то мелькнуло у меня в памяти при этой фамилии. Длинное письмо содержало усердную просьбу довести до сведения коменданта города Парижа и всех директоров (странно, на первом месте стоит комендант города Парижа?!) о том, что робеспьерист Сантонакс и его помощники Польверэль и Эльхо не только не казнены, не только не отправлены на галеры, но даже правят колониями с неслыханной жестокостью.

«Некая черная обезьяна Туссен из графства Ноэ, бывший конюх сеньора Бреда и великий знаток лошадей, теперь сделался правителем всего острова благодаря постоянному попустительству мошенника Сантонакса.

...Дорогая, вы можете сделать очень многое. Ваши имения в Мартинике сожжены, ваши рабы разбежались, они теперь «свободные» люди. Возьмите платочек, как вы это делали всегда в трудных случаях жизни, приложите его к плачущим глазам и умоляйте Барраса и египетского героя, вернувшегося в Париж, генерала Бонапарта, победителя Лоди, Арколя, Милана, Маренго, — молитесь всеми святыми, что остались во Франции, как можно скорее исправить колониальные дела, пока они не стали непоправимы. Встаньте на колени перед всемогущим начальником французских войск, перед тулонским героем Бонапартом. Гибнут французские дети от недостатка сахара, гибнет колониальная торговля от бездушия Туссена Лувертюра. Раб не может быть свободным по евангельскому завету, вы сами знаете, какова сладость тирании рабов. Вы сами и ваша подруга Тереза Кабарюс сидели в тюрьме, ожидая смертной участи, и если бы не кинжал героя Тальена, поднятый в Конвенте 9 термидора, вы обе сложили бы голову под ножом гильотины. О женщины Франции, о лучшие женщины Франции, восстаньте против тени Робеспьера, истинно черной тени! Я посылаю вам как вечный укор портрет этого человека. (Приложен действительно гравированный в Париже портрет Робеспьера в профиль; с адской улыбкой смотрит, как сжатое в его правой руке, высоко поднятой над головой, человеческое сердце источает кровь потоком в золотой кубок, около самых губ кровожадного Робеспьера.) Помните! То самое, что здесь изображено, делается сейчас в Сан-Доминго: кровь льется ручьями, богатейшие люди сделались нищими, негры, за которых платили по тысяче франков, из дорогих рабов сделались дешевыми гражданами. На что это похоже?

Месяц тому назад с очень верным человеком я все это изложил в донесении Баррасу. Теперь настало время напомнить ему об этом. Вас я прошу это сделать и к ногам вашим повергаю свою мольбу.

Свободный, желающий сделаться снова вашим рабом.

P.S. Помните ли вы нашу поездку в Отейль?»

Едва я кончил письмо, как сразу понял все: мулат, виденный мною на корабле, конечно тот самый Рош-Маркандье. Почему я сразу его не схватил? Ведь я же читал распоряжение Робеспьера об его аресте, я читал афишу Конвента о том, что он значится в списках гильотинированных. Неужели Рош-Маркандье возник вновь передо мной, как тень тарантула, расставляющего сети? Я хотел заговорить об этом с Туссеном, но вошли восемь офицеров его штаба. Дессалин и Клерво посмотрели на меня чрезвычайно странно.

Не спал всю ночь. Я устаю. Наступает время лихорадок.

Корабль «Алерт» прибыл на рейд. Через два часа мне доставили почту. Туссен Лувертюр утвержден губернатором Сан-Доминго, я остаюсь в звании комиссара Директории. Неужели Директория нуждается в проконсулах? Мое пребывание здесь излишне. Письмо от жены: мой

мальчик умер. Бедный Франсуа, какое тяжелое детство и какая ранняя смерть...»

(Пропуск в рукописи) ПИСЬМО САНТОНАКСА

«Дорогая Франсуаза, вчера, 20 августа 1797 года (прости за применение старого календаря, я в качестве члена Конвента имел специальное поручение не тревожить местные нравы и сам отвык от нового календаря). Не-тоскуй, дорогой друг, скоро ты меня увидишь. Этот быстроходный крейсерный парусник придет на месяц раньше меня и успеет предупредить тебя письмом. Осуши свои слезы, скоро мы будем вместе.

Так вот, я сбиваюсь; вчера, 20 августа, Туссен Лувертюр пришел ко мне с четырнадцатью старшими офицерами своего штаба и вице-губернатором Кристофором. Они преподнесли мне массу золотых вещей, десять голубых бриллиантов и слиток серебра величиной с голову ребенка. Они бурно и горячо выражали мне свою признательность за то, что я с пламенной верой в правоту своего дела осуществил приказ Конвента, — так они выразились. Но потом они на все лады и разными голосами стали умолять меня выехать во Францию для спасения дела колоний, которому угрожает новая опасность.

Вот его подлинное обращение ко мне:

«Туссен Лувертюр Генерал-Аншеф.

Гражданину Сантонаксу, Народному Представителю и Французскому Комиссару.

3 фруктидора, VI года.

Долгое время нет известий и ответов от Французского Правительства. Это молчание беспокоит истинных друзей Республики и наших прав. Враги порядка, враги свободы, враги Республики стараются использовать это отсутствие ответов и достоверных сведений. Нам известно, что тайные агенты распространяют таинственные слухи, которых единственная цель — это возмущение колоний.

Подобные обстоятельства требуют, чтобы человек, которому известны все наши происшествия и который был в Сан-Доминго свидетелем всех перемен, вернувшись нам спасение и тишину, явился бы в Париж к членам Исполнительной Директории и уведомил ее правдиво о состоянии нашего Острова.

Будучи наименованы Депутатом от нас, от Нашей Страны в Законодательном Корпусе, вы ради грозных обстоятельств нашей гражданской войны почли долгом пробыть еще некоторое время среди нас, как желанный нам член Конвента. Ваше присутствие было необходимо, ибо злодейство угнетателей свободы еще не прекращалось. Но теперь установлен республиканский порядок, тишина воцарилась над мирным трудом наших полей и городов. Наши победы и слабость внешнего врага позволяет вам принять от нас вашу должность Народного Избранника.

Итак, поезжайте во Францию и возвестите ей все, что вы видели. Обрадуйте наше общее Отечество чудесами жизни, свидетелем и участником которой вы были. Вам предстоит защита той степени счастья, которого мы достигли. Приветствие и почет.

(Подписано): Туссен Лувертюр».

Мог ли я ему отказать? Имел ли я право им отказать? Эта просьба была настойчива, и почетна, и оскорбительна для меня одновременно. У меня нет выхода из положения, я должен ехать. Я не знаю, чем встретит меня Франция, но состояние духа у меня чрезвычайно угнетенное. Мне кажется, прожита вся моя жизнь, а истекший год в колонии я работал так напряженно и долго, что каждый час кажется мне годом. Я не узнаю сам себя, не узнаю



окружающих людей, я упрекаю себя в том, что минутами, в напряженной работе, мне казалось, что жизнь остановилась, в то время как она бежала с невероятной стремительностью. И вот день, казавшийся мне вечным, вдруг стал клониться к вечеру. Я чувствую смертельную усталость. Я знаю Туссена: то», что он говорит с мольбой, является бесповоротным приказом. Итак, через две недели я еду.

Вечером Туссен был у меня снова. Он привел ко мне Исаака и Плацида, двух мальчиков, которые прекрасно говорят по-французски. Он просил меня отвезти их в Париж, в политехническую школу имени Эйлера. Я обещал ему это сделать. Итак, мы скоро увидимся, приветствуй от меня Марионну и дедушку Латуша. В последнем письме он писал так неразборчиво, что я опасаюсь за количество дней оставшейся ему жизни. Обнимаю тебя.

Твой Анри».

(Конец документов Сантонакса)

Туссен Лувертюр провожал Сантонакса на корабль. Шхуна «Минерва» была готова, Туссен прибыл раньше на мол. Показались Польверэль и Эльхо в экипаже. За ними верхом ехал Сантонакс, немного поодаль, как он всегда любил ездить, просто и без окружения. Огромная толпа народа, военный оркестр и двенадцать барабанщиков стояли перед опускным помостом. Дорожное имущество и снаряжение детей Туссена было погружено еще за день перед тем, имущество комиссаров Конвента также; оно было невелико. Сантонакс спешил в двадцати шагах от Туссена. В это время бешеная лошадь ворвалась сквозь ряды людей; и мулат в седле, замахав руками, подъехал в упор к Сантонаксу и выстрелил ему в лицо. Выстрелом из второго пистолета он очистил себе дорогу, стрельнув в толпу. Раздались крики, стоны. Проложив дорогу через толпу, мулат спешил в переулке и исчез. Нашли только оседланную лошадь. Отъезд был отложен.

Все поиски мулата были тщетны. Сантонакса торжественно похоронили, перевезя его на островок около Капа. Там было место его отдыха, там он однажды в шутку говорил Туссену, что этот «островок настолько хорош», что он согласился бы иметь его «местом вечного покоя».

Польверэль и Эльхо приняли поручение Туссена. Два комиссара — Польверэль и Эльхо — и секретарь Сантонакса Дельнеш, два мальчика — дети нового правителя, губернатора Туссена Лувертюра, Исаак и Плацид, — выехали на корабле во Францию. Туссен посылал их Франции как доказательство мирных своих намерений, как признак высокой степени доверия к новой Франции.

## 11. БЕЛЫЙ КОНСУЛ

О французы нового века, вы обещали больше, чем вы можете. Уничтожая меня, вы срубаете только имя одинокого «Дерева негрской свободы». Я посадил его когда-то перец тем местом, где была гробница Колумба в Сан-Доминго. Вы забываете, что эта порода растений пускает тысячи неистребимых корней, от которых через столетия вырастут миллионы новых побегов человеческой свободы. Туссен Лувертюр

У первого консула был прием. В этот день в Париже готовилась иллюминация. Транспаранты, гирлянды, розетки украшались непривычными для парижан буквами «N» и «В», Наполеон Бонапарт. День рождения Первого консула был занесен в число праздников Французской

республики наряду с июльским днем взятия Бастилии и августовским днем низложения короля.

Господин Шатобриан был принят в этот день Первым консулом и поднес ему книгу «Гений христианства», а ночью тайком в Париж приехал кардинал и привез текст договора Бонапарта с римским папой. В день конкордата унылые колокола Нотр-Дам возвестили торжество католической религии в якобинском Париже. У самых дверей нового Тюильрийского кабинета, отделанного с королевской роскошью, бесшумно скользили по паркету две дамы. Они подходили к цветочным горшкам, срезали позолоченными ножницами маленькие желтые розы, кокетливо прикалывали друг другу на пояса, затем осматривали друг друга, поправляя складки белых, с высокими талиями и с рукавами выше локтя, платьев. Одна из женщин улыбалась веселой, беспечной улыбкой и утешала другую. Эта другая, одетая скромно, с нарочитой, подчеркнутой скромностью, казалась безутешной.

— Кто у него? — спросила безутешная.

— Кажется, Колычев, посланник русского царя, — ответила другая дама.

Беспечная женщина была супруга Первого консула, креолка Жозефина Ташер де ла Пажери. Вторая — знаменитая красавица, двадцативосьмилетняя Тереза де Кабарюс, испанка по происхождению, дочь богатого мадридского банкира, бывшего министра финансов Испании. Она пришла к Первому консулу, пользуясь тем, что ее подруга и любимица — Жозефина, родственница трех первых рабовладельцев Мартиники, из простой любовницы Барраса, первого негодяя Франции времен Виктории, из молодой вдовы виконта Богарнэ превратилась в законную супругу Первого консула. Тереза Кабарюс сама в каталоге своих бесчисленных любовников имела Барраса. Одни и те же мужские объятия роднили этих двух женщин. Жозефина не сомневалась в успехе своего ходатайства за Терезу, Тереза была уверена, что Жозефина не ревнива, а Первый консул не склонен сдерживать вспышек своего корсиканского темперамента.

История Терезы была замечательна. Родители отправили ее в Париж для завершения карьеры, которая состояла в умении понравиться монарху. Она не успела сделаться фавориткой короля и вышла замуж за господина Фонтенэ. В первые годы революции она держала в Париже салон и кружила головы всем, начиная с Ларошфуко, братьев Ламет, Лафайета, Мирабо и кончая молодыми адвокатами вроде Камилла Демулена. Дворяне исчезали из Парижа, Терезе Фонтенэ становилось скучно, она выехала с супругом на юг и не напрасно остановилась в Бордо. Оттуда супруг, благополучно разведясь с Терезой, благоразумно выбрался в Антилии на Мартинику, сделался владельцем кофейных плантаций и удалился из Франции совсем, чувствуя, что в этой беспокойной стране легко наполнить мешок собственной окровавленной головой вместо золота. Тереза развлекалась всевозможными скандальными приключениями, она переходила из рук в руки и даже одно время вступила в связь с родным братом. Вот этой особе, воспитавшей при себе своего лучшего друга — Жозефину, и суждено было играть довольно своеобразную политическую роль.

В Бордо ожидали назначения члена Конвента Жана Ламбера Тальена. Он прибыл в Бордо с огромными полномочиями Конвента и сразу поскользнулся в салоне госпожи Кабарюс. Авантюрист Тальен и авантюристка Кабарюс пошли рука об руку. Он мог назначать казни и аресты, конфискации и реквизиции, она могла его умиловить. Вскоре она прослыла чрезвычайно доброй для всех, кто мог хорошо заплатить. В голодный год, когда четыреста тысяч человек из числа беднейших французов умерли с голоду, она давала богатейшие пиры и разъезжала с гражданином Тальеном в великолепном экипаже под эскортом кавалерийского взвода. Она сидела рядом с полномочным комиссаром в белом хитоне, закрывавшем слишком мало, в ярко-красной фригийской шапке на черных волосах и с копьём в правой руке. Левая покоилась на плече Тальена. Бордосские булочки пекли для нее

особые хлебцы, которые именовались «хлебом депутатов».

Эта блестящая пара прекрасно проводила свои дни. Но до Парижа доносились странные слухи: если в Бордо случаются казни, то казнят только бедняков, богатые преступники остаются на свободе; Бордо остается местом грабежей, очагом интриг. Город запружен шайками богатых мошенников. Тальен беспокоился, надо было спешно ехать с докладом к Робеспьеру.

Тереза Кабарюс немедленно после его отъезда делает доклад бордосским женщинам «О воспитании детей». Она инсценирует республиканскую демонстрацию, она пишет в Конвент петицию о том, что французские женщины должны работать в больницах и богадельнях в качестве сестер и сиделок и чтобы все девушки проходили обязательный курс обучения уходу за больными, «дабы, выйдя замуж, они могли думать не только о нарядах и бриллиантах».

Но ни Тальену, ни Терезе не удалось обмануть Робеспьера. Тонкая лесть не помогла комиссару Конвента, и Тереза должна была сама ехать в Париж. Не доезжая до Парижа, она была арестована в Версале и посажена в тюрьму Ла-Форс. Тальен и Баррас — к тому времени уже заговорщики против Робеспьера, Коффингаль и Фукье-Тенвилль с ними же, — шайка беспринципных людей, каздивших направо и налево, каздивших без стыда и сожаления химика Лавуазье, попа Шенье, теперь бросилась скопом на Робеспьера. 9 термидора они встали у власти.

После казни Робеспьера им стало легко, и вот наступил медовый месяц хищной буржуазии. Тереза Тальен делается модной картинкой Парижа и повторяет все свои бордосские приключения. Член Директории Баррас выкупает Терезу у Тальена, Баррас перепродает ее армейскому поставщику Уврару, ловкому спекулянту, поставлявшему в армию генерала Бонапарта сапоги на картонных подошвах и узко скроенную одежду, которая лопалась и рвалась на солдатах.

Вот теперь эта многофамильная Тереза внезапно получила приказ «удалиться из Парижа и уйти со всех консульских празднеств». Ее фамилия была изгнана, ее не приглашали никуда.

— Последнее приглашение, полученное мною от имени Бонапарта, это приглашение на выезд из Парижа, — жаловалась она. — Неужели мы должны отказаться от хитонов, неужели мы должны носить монашеские платья и блюсти семейные нравы? Жозефина, Жозефина, твой муж хочет сделать из Франции монастырь.

— Совсем нет, — ответила супруга Первого консула, — про него говорят совершенно несправедливые вещи. Ведь припомни, говорили, что Первый консул Бонапарт превратит Республику в страну военной диктатуры, но первое, что сделал мой муж, это, став во главе Республики, он снял генеральский мундир и надел гражданский фрак, — ты же сама читала об этом в газетах. Потом посмотри, как одеты консульские чины! Мой муж любит, чтобы они пудрились, носили парики, он роздал им шелковые чулки и туфли, совсем как при короле.

Дверь отворилась, из кабинета Первого консула вышел человек в лиловом камзоле с шитьем из серебра и голубых бриллиантов. Корявое лицо, изрытое оспой, темляк шпаги, накрученный туго на руку. Это уходил посланник русского императора Павла — Колычев. Надушенный Бурьенн, адъютант Первого консула, скользя по паркету, подошел к женщинам и сказал:

— Мадам, Первый консул вас просит.

— Представь себе, Жозефина, — сказал Наполеон, не обращая никакого внимания на вошедшую с его женой Терезу, — русский царь из врага превратился в друга. Он пишет мне о том, что я обязан для мира и спасения монархов европейских держав принять титул короля с правом наследственной передачи короны, «дабы искоренить революционное начало,

вооружившее против Франции всю Европу».

Бонапарт смеялся, но в этом смехе чувствовалась радость победителя, чувствовалось упоение властью честолюбца. Затем, не дожидаясь обращения Жозефины, он быстро повернулся к Терезе и сказал:

— Знаю, о чем вы просите, мадам.

«Как? — мелькнуло в уме Терезы. — Сразу такое суровое обращение? Он позабыл, этот худенький офицер, что, возвратившись из Египта, он постучался в дом Барраса. Баррас сделал его комендантом Парижа. Моя беседа украсила его первый парижский ужин. Я дала ему Жозефину, когда она стала вдовушкой генерала Богарнэ. Я сделала так, что банкиры Колле, Массиак и Уврар принесли пятьсот тысяч золотых франков в распоряжение этого молодого офицера. И вот теперь... сухой, ничего не понимающий тон».

Бонапарт осмотрел Терезу с головы до ног и продолжал:

— Я не отрицаю, мадам, что вы прелестны, но обдумайте немножко вашу просьбу. По самому скромному подсчету, у вас было четырнадцать мужей, вы разбросали по Франции бесчисленное множество брошенных вами детей, они никогда не в силах будут разыскать своих отцов.

Тереза хотела что-то сказать, но Бонапарт поднял руку:

— Каждый был бы счастлив стать виновником вашей первой ошибки, вторую вам, быть может, посердившись, простили бы. Но вы без конца повторяете одну и ту же женскую ошибку. Я Первый консул Франции! Я призван восстановить семью и приличие, хотя бы только внешнее. Ничего не могу сделать для вас, мадам!

После этого, не глядя на женщин, Бонапарт взял перо. Молодой человек присыпал золотистым песком начертанные Первым консулом строки. На одном документе Бонапарт утвердил арест вдовы Марата, Симонны Эврар, на другом назначил пенсию в шесть тысяч ливров своей бывшей любовнице, Шарлотте Робеспьер, чернившей на всех улицах Парижа память казненного брата. Жозефина ушла. Тереза поспешила за нею. Вошел министр полиции Фуше. Начался доклад о состоянии столицы, потом Фуше спросил:

— А как же быть с негром, полковником Винсентом?

— Арестовать, — сказал Бонапарт, — но арестовать тайно, похитить среди улицы. То же сделать с двумя кадетами военной школы — неграми Исааком и Пласидом Туссенами. Я прочел это ужасное предложение африканского консула. Черный генерал Туссен не лишен ума, он даже «идеолог». Это мудрец, начитавшийся Рейналя. Но «Конституция Республики Гаити» с Черным консулом во главе — это нарушение суверенитета Франции, равно как свобода чернокожих есть оскорбление Европы. Будьте на совещании через час. Цель совещания, протоколы и состав — строгая тайна. Посмотрите, что привез этот черный полковник Винсент: письмо своего господина «Первому консулу белых от Первого консула черных». Они обезумели, эти обезьяны!

Фуше раболепно отклонялся и вышел.

Через час собрались: министр морской и колоний Декре, министр полиции Фуше, генерал Леклерк, один из ближайших Первому консулу, женатый на его сестре Марии-Полине Бонапарт. Присутствовали два банкира, представившие Бонапарту докладную записку «О гибели сахарной промышленности после прекращения доставки сахара из колоний».

— Мы слышали, — говорили банкиры, — что выработка сахара утроилась за эти годы на

Гаити, однако это никак не отражается на европейском рынке.

— Еще бы, — резко оборвал Бонапарт. — По-вашему, освобожденные рабы сами съедают собственный сахар, а по-моему, они продают его кому угодно, только не Франции. Мы впоследствии вернемся к этому вопросу. Сейчас обращаю ваше внимание на то, что вы хорошие дисконтеры, но плохие хозяева. Вот вам книжка, — Бонапарт быстро встал и вынул из стеклянного шкафа книжку в коричневой коже 1747 года. — Прочтите, шестьдесят лет известен этот способ добывания сахара из белой свекловицы по способу Маркграфа. Я приказал инженеру Ахарду поставить на широкую ногу извлечение сахара из белой свеклы. Это дешевле и не требует перевозки на кораблях. К осени 1804 года мы не будем нуждаться в тростниковом сахаре. Теперь я предлагаю обсудить следующее: нам необходимо восстановить порядок в колониях. Сахар, кофе, хлопок, пряности, все колониальные товары, которые Франция поставляла на всю Европу, едва не были захвачены у нас англичанами. Англия захватывала наши корабли, она поставляла оружие нашим врагам, она превращала наших матросов в рабов. К чести наших черных генералов должен сказать, что они освободили Антильские острова от англичан. Это сделала негрская армия черного генерала Туссена Лувертюра. Франция признательна ему за это. Меня интересует, в какой степени французские банкиры пойдут навстречу республике, стремящейся образовать плацдарм на континенте Америки. Так как островное положение колоний не обеспечивает их всем необходимым, прямое соседство Флориды и Луизианы с Антилиями ставит наши колонии в зависимость от постоянного влияния Северо-Американских Соединенных Штатов.

Колле и Массиак ответили Бонапарту в один голос:

— Мы готовы предоставить средства.

Бонапарт кивнул головой и знаком освободил представителей финансового мира Парижа.

Началась секретная часть совещания в составе военно-полицейских представителей.

— Я получил сведения, — начал Бонапарт, — о том, кто такой этот Черный консул. Это старый негр, конюх колониста Бреда, масон, друг и почитатель аббата Рейналя. Случай или военный талант помог ему организовать армию. Якобинский генерал Лаво поручил ему формирование негрских отрядов для отражения английских десантов. Он одержал победу над англичанами, он изгнал с острова испанцев, он поделил земли, он освободил рабов. Благодаря совсем непонятным свойствам этого человека он примирил совсем непримиримые интересы черных людей и мулатов, — одним словом; он приготовил для нас Гаити, и мы сделаем ошибку, если Франция не воспользуется тем благосостоянием, в какое привел наш богатейший остров черный генерал. Как это сделать? Привести негров к покорности из господства. У нас есть повод для недовольства: Туссен прислал мне на утверждение негрскую конституцию республики Гаити. Франция оскорблена, я приказываю начать войну. Мы сделаем заявление в газетах о том, что в наших колониях нет рабства. Я, Первый консул, пишу лестное обращение к Туссену Лувертюру. Но вот чего мы должны добиться: во-первых, полного возвращения прежнего негрского режима; во-вторых, осторожного и проведенного с предварительной разведкой изъятия всех негрских вождей.

Для Туссена соткать паутину, чтобы муха сама попалась; для черных начальников батальонов и полковников посулить чины и награждения и, под видом перевода в европейские французские войска, всех небольшими группами взять на корабль и перевезти во Франци

ю. Одновременно возвещать во всех декларациях и военных приказах, что свобода, равенство и братство простирают свои крылья над всеми гражданами, независимо от цвета кожи.

Слово взял Декре.

— Речь идет о том, — сказал он, — каким способом, без потрясений для хозяев колоний, ликвидировать владычество черных. Черный генерал действительно водворил порядок, он организовал фермы и коммунальные плантации черных людей, он создал армию, он одержал блестящие победы. Мы могли бы, конечно, обязать черных фермеров выплачивать ценз или задолженность прежним французским владельцам, мы могли бы сохранить для метрополии исключительную торговлю с колониями. Для этого, конечно, я просил бы увеличить ассигнование на постройку тридцати судов береговой охраны.

Наполеон его оборвал, нахмурившись.

— Морской министр увлекается, как всегда, — сказал он. — Речь идет о спасении французских колоний, а вовсе не об увеличении судостроительного бюджета! Ваши неумеренные похвалы Туссену заставят меня сделать его вашим преемником по министерству колоний. Итак, запишите мой приказ: 1) вновь заставить колонии военной силой выслать во Францию всех черных, занимавших должности выше начальников батальонов, 2) разрушить черную армию, для вида обеспечить ее воинам гражданскую свободу, 3) восстановить владения белых колонистов, 4) полностью восстановить рабство и неготорговлю.

Бонапарт обвел присутствовавших глазами и продолжал:

— Поймите, иначе невозможно, нашему бюджету и без этого грозит тяжелый удар. Я приказал Талейрану написать Британскому правительству, что в принятом мною решении уничтожить в Сан-Доминго правительство черных

я менее руководился соображениями торгового и финансового порядка, нежели необходимостью задушить во всех частях света всякий зародыш беспокойства и революционных волнений

й. Я не понимаю одного: какой дурак позволил опубликовать в «Мониторе» от четырнадцатого октября о приезде Винсента с нелепой конституцией Черного консула и некоторые статьи, которые будто бы мною не утверждены. Всю конституцию, а не отдельные статьи мы используем как предлог для войны. Итак, министру: приготовить в Бресте суда для посадки экспедиционного корпуса, снабдить провиантом и оружием, сформировать отряд в тридцать тысяч человек, вооружить, организовать снабжение. Командование судами поручить Бернадотту. В пути: операцию и выполнение всех наших инструкций поручить генералу Леклерку.

Леклерк вздрогнул. Он считал себя посвященным в тайну до конца и уже имел кандидата в начальники экспедиции, полковника Брюне, солдата с наглым лицом и оловянными глазами, человека, который, казалось, прошел огонь и воду и медные трубы, который считал себя способным видеть насквозь людей. Леклерк был уверен, что, обладая полностью способностями и свойствами подлеца, полковник Брюне мог блестяще выполнить эту рискованную и вполне бесчестную операцию.

Но Бонапарт оказался прозорливее Леклерка. Он смотрел на вздрагивающие губы своего шурина и говорил:

— В помощники вам дается полковник Брюне. Вам принадлежит только наблюдение за выполнением наших инструкций. Моя инструкция вручается только вам, и никто о ней знать не должен. Говорите одно, делайте другое; левой рукой гладьте по голове, правой всаживайте нож. Никаких законов войны, помните — негры не люди!

Хитрый Фуше, не поднимая глаз, улыбался тонкой и паскудной улыбкой шлюхи. Неразборчивость в средствах Первого консула приводила его в восхищение и в трепет одновременно.

— Леклерк, ты поедешь из Бреста не позже двадцатого ноября.

Затем, отпустив Декре и оставшись втроем с Леклерком и Фуше, Бонапарт продиктовал Леклерку следующее письмо:

«Мы чувствуем к вам уважение, и мы рады оценить и отметить большие услуги, которые вы оказали французскому народу. Если его знамя развевается над Сан-Доминго, то он обязан этим вам и черным храбрецам. Будучи призваны в силу обстоятельств и ваших талантов к главному командованию, вы уничтожили гражданскую войну, наложили узду на преследования нескольких злобных людей, восстановили честь религии и культ господ бога, от которого все исходит. Составленная вами конституция, заключая в себе много хорошего, имеет также много противоречий достоинству и верховной власти французского народа, достоянием которого является Сан-Доминго. Обстоятельства, в которые вы были поставлены, сделали законными статьи этой конституции, иначе они не были бы таковыми. Но теперь, когда обстоятельства столь счастливо изменились,

вы первый отдайте должное верховной власти нации, которая считает вас в числе своих самых славных граждан

И ...

Чего вы можете еще желать? Свободы черных? Вы знаете, что во всех странах, где мы были, мы дали свободу тем народам, у которых ее не было.

В «Изложении Положения Республики» от двадцать второго ноября та же точка зрения официально предоставляется французскому народу. Неправильные действия в Сан-Доминго довели до отчаяния покорное население.

Под двусмысленной внешностью некоторых поступков ваших черных товарищей правительство усмотрело лишь невежество, смешивающее воедино имена и вещи и узурпирующее свободу, тогда как оно полагает необходимым безусловно покоряться. Но из портов Европы готовятся отплыть флот и армия, которые вскоре рассеют все тучи, и Сан-Доминго целиком вернется к законам Республики. В Сан-Доминго и в Гваделупе нет более рабов, все там свободны и все останутся свободными. Мудрость и время восстановят там порядок и утвердят культуру и честный труд».

Когда кончили диктовку, Бонапарт подписал письмо не перечитывая, Фуше доложил:

— Арест произведен.

— Прекрасно, — сказал Бонапарт. Затем обратился к Леклерку и сказал: — У тебя на борту будут два сына Туссена Лувертюра, Исаак и Плацид. Если Черный консул окажет сопротивление и откроет стрельбу, сигнализируй ему с корабля, что ты под отцовские ядра ставишь двух его сыновей. Если он откажется сдаться, скажи, что ты будешь подвергать их килеванию до тех пор, пока они уже не будут в состоянии пить морскую воду и изойдут кровью... Генеральских сынков доставить в Брест, — заканчивая прием, произнес Бонапарт, обращаясь к Фуше. И еще: — Через полгода паутина должна быть готова. Если эти негрские мухи не будут попадаться случайно — обеспечьте им возможность с легкостью совершить преступление, дабы мы могли осуществить наказание.

— Гражданин Черный консул, самое лучшее побуждение к преступлению — это «Черный кодекс», которого никто не отменял, — сказал Фуше, закрывая за собой дверь.

Министр полиции удалился. Оставшись вдвоем с Леклерком, Бонапарт сказал:

— Полина едет с тобой? Бедная Жозефина, она потеряла два миллиона ливров в годы

восстания черных на Мартинике. Мы скоро поправим наши дела.

— Там страшная лихорадка, — сказал Леклерк, — я боюсь этой экспедиции, дорогой шурин. Если кто-нибудь заболел, то должен оставаться в том же климате, уйти навсегда в сырые испарения, жить и болеть под затуманенным знойным и вселяющим озноб солнцем. Я боюсь этой экспедиции. Я видел, как страшно там умирают европейцы.

Бонапарт, кусая кончик гусиного пера, презрительно сплюнул на сапог генерала, отвернувшись, забарабанил пальцем по столу:

— Вы еще не ушли? — гневно спросил он Леклерка.

— Готов служить, — отозвался Леклерк, одевшись без слуги. Бонапарт всегда отсылал слуг в часы секретных совещаний.

— Помните, никаких законов войны, — негры не люди, вы едете охотиться на обезьян. Итак, предложите Черному генералу лучшую должность во Франции, полное обеспечение для его семьи, лишь бы он согласился уехать.

Второго февраля 1802 года, вопреки ожиданиям экипажа адмиральского корабля, перед взорами молодых офицеров, державших вахту, на целые сутки раньше показалась земля Гаити. «Клоринда», «Сирена», «Альцеста», «Пурсюиванта», «Индийский пилот» — корабли первой колонии — во все глаза и всеми подзорными трубами наблюдали с левого борта и с мачт неправильно вычерченный на горизонте холмик, который знаменовал собой конец морского пути.

Леклерк дочитывал собственноручную тайную инструкцию Первого консула, стремясь во время пути выучить наизусть все двадцать семь страниц неразборчивого бонапартовского почерка:

«18. Каста цветных людей должна привлечь ваше существенное внимание. Поставьте их в условия широкого развития национальных предрассудков, — обеспечьте им возможность господствовать над черными, и этим путем вы добьетесь покорности и тех и других. 31. Если вы добьетесь того, чтобы в феврале без опоздания стать на рейде французского Капа, а в Сан-Доминго еще не будут знать о вашем прибытии в северный порт, то вы обязаны будете развернуть операции так, чтобы до конца сентября отослать нам всех черных генералов, ибо без этого мы ничего сделать не сможем. Я прекрасно понимаю, что это может вызвать волнения, но перед вами будет целый сезон, чтобы их усмирить.

32. Установить, по крайней мере по внешности, полное доверие к мула— там, креолам и цветным людям. Обращайтесь с ними, по крайней мере по внешности, так же, как с белыми, поощряйте браки цветных людей с белыми и мулатскими женщинами, но организуйте совершенно противоположную систему в отношении к черным вождям.

35. Следуйте точной инструкции и, как только вы отделаетесь от Тус— сена, Кристофа, Дессалина и главных разбойников, как только массы черных людей будут разоружены, отправьте на континент всех черных и цветных лю— дей, сыгравших какую бы то ни было роль в гражданских волнениях.

40. В ту неделю, когда вы заметите реальные следы усмирения коло— ний, вы должны передать всем генералам, генеральским адъютантам, полков— никам и начальникам черных батальонов приказ перейти на службу, с соблю— дением чинов, в континентальные дивизии Франции. Малейшее непослушание рассматривайте как нарушение воинского устава на театре военных действий.



41. Вы должны погрузить на восемь или десять кораблей, по возмож— ности в разных портах колоний, этих откомандированных внутрь Франции черных офицеров. Вы должны направить их в порты Бреста, Рошфора и Тулона. Затем поручается вам разоружить все черные части армии, сохранить девять негритянских батальонов по 600 человек. Командование в этих батальонах поручить: одна треть старших офицеров — белые, нормальный ком— состав — цветные, молодые офицеры, не свыше одной трети комсостава, -

черные из числа заявивших полную покорность» note 13.

Уже третий раз вице-адмирал Вилларэ де Жуайез стучит в дверь каюты, третий раз Леклерк отказывает ему в приеме, наконец адъютант сообщает через дверь:

— Господин генеральный правитель, к вечеру мы будем у берега.

Леклерк отрывисто ответил, взял кусок сургуча, запечатал кожаный пакет с инструкцией Первого консула, положил его на дно баула и вышел на палубу.

Туссен Лувертюр совершил мирный объезд коммунальных факторий, плантаций негритянских фермеров. На маленьких горных речках он делал небольшие привалы, ехал лунными ночами по долинам, чтобы не терять времени, с двумя спутниками, верхом на маленькой испанской вороной лошадке. Небольшого роста, сухопарый, с блестящими темно-синими глазами, наблюдательными, думающими, спокойными, — он посещал поля, засаженные пряностями, огромные равнины сахарного тростника. Он сам ощупывал степень готовности к сбору ванильных деревьев, надкусывал кофейные зерна, определяя урожайность и качество. Он принимал заявления от пострадавших, он быстро решал тяжбы и производил переделы неправильно размежеванных земель, он мирил ссорящихся и умерял разыгравшуюся жадность.

Негритянки, старые и молодые, с детьми выходили на дороги при его проезде, поднимали детей, показывали им Туссена, словно от этого зрелища успокаивались материнские сердца и затихали детские горести и болезни. Он не был ни ласков, ни суров, необычайная простота этого человека была самым поразительным и самым сложным его свойством. Он не поднимал голоса, и его всюду было слышно, он не волновался и не понукал, и все вокруг него закипало в живом и радостном труде. Песни, которые так любят петь негры и негритянки по вечерам у своей хижины и днем под солнцем на плантациях и табачных факториях, не затихали при его приближении. Казалось, наоборот, их сила и жаркая выразительность удваивались, учащались ритмы и ускорялся темп работы.

После страшного гнета, после угроз бичом, без которого ни один плантатор не выходил в поле, словно благородный воин, не выходящий в битву без оружия, после ужасов «Черного кодекса», после пожаров войны за освобождение, после истребления собак-негродок, — на полях Гаити появилось негритянское племя, как племя заново рожденных людей. Дремавшая в них веселость, сдавленное в них ощущение простой и счастливой жизни, радостная жажда большого физического труда — все проснулось в этих веселых по природе и счастливых людях, наделенных здоровыми легкими, крепкими мышцами и даже в годы рабства не утратившими способности к песне.

Местные старшины в деревнях и селах, то белые, то черные, то цветные люди, объединялись суровой и спокойной волей вождя. Наиболее неподатливые белые колонисты, не желавшие расставаться со своим имуществом, принуждены были удалиться на Кубу или переехать на континент. Кантоны имели во главе наблюдательные комитеты в составе семи человек, до чрезвычайности напоминавшие масонские организации аббата Рейналя, раз в месяц вожди собирались на съезды, напоминавшие конференции верховных масонских лож. Туда приезжали Поль Лувертюр, Клерьо, Лаплюм, Верне, Белэр, Морпа, Дессалин, Анри Кристоф.

В тот момент, когда эскадра генерального правителя Леклерка подошла к французскому Капу, в Капе находился именно Анри Кристоф, негр, первый адъютант и наместник Туссена Лувертюра. Он быстро догадался, в чем дело, сигнал вооруженных кораблей на горизонте и пушечный салют только путают дело. На вышке вместе с Анри Кристофом стоят негры — морские офицеры. Их лица приобретают землистый оттенок, и глаза горят, как в лихорадке. Анри Кристоф, отрываясь от подзорной трубы, смотрит на товарищей и говорит:

— Вот вам знак, — он указывает на горы перед рейдом, на склоне которых вырисовывается огромный круг из гранитных глыб, расположенных в виде змеи, кусающей себя за хвост. — Вот вам, — говорит Кристоф, — знак вечности! Голова змеи снова хватается себя за хвост. Жизнь нас ужалит, братья! Кристоф Колумб приехал на остров три века тому назад, а сейчас Анри Кристоф погибнет так же, как Кристоф Колумб, в тюрьме, защищая благородное дело. Если бы я мог пойти сейчас на корабль командира и отговорить их от войны! Но я не могу.

Короткие, крепкие молодые матросы в белых штанах и белых башмаках принимали сигналы. Леклерк уведомлял о своих мирных намерениях, предлагая помочь высадке французских солдат для борьбы с англичанами и испанцами.

Кристоф нервно закусил губы и сказал, перебивая кричавшего с вышки офицера:

— С нами никто не ведет войну. На французском знамени написаны только два слова: «Рабство черным», я это вижу.

К вечеру четыре всадника отправились в четырех направлениях, чтобы найти Туссена. Прошел день и прошел второй — Туссена не было. Наступило 4 февраля. Форты к северу от французского Капа были в полной готовности, канониры негры стояли с зажженными факелами, все ждали зеркального сигнала с Капской башни. В ответ на последнее требование Леклерка — сдаться немедленно на милость победителя — Кристоф пустил в ход зеркала шапповского семафора, который доставил такое торжество парижскому Конвенту: депеша от взморья на Брест до Парижа, в самые горячие дни Конвента, передавалась световыми сигналами ровно в семь минут.

Как только загорелись зеркала на главной вышке, сорок восемь орудий загудели с берегов Капа, корабельные борта покрылись белыми дымками. Началась перестрелка негритянского форта и французского флота. Она длилась весь день. К вечеру четвертого числа эскадра удалилась, после того как один корабль, высоко подняв бушприт, стал опускаться кормой под воду и потонул, взорвавши пороховой трюм.

Шестьсот повозок с грохотом и шумом, со скрипом выезжали за холмы, окружающие Кал. Белесая каменистая дорога ввела в горы все население города. Остались черные войска, которые подкладывали сухие ветки и маслянистые вещества под легкие дома и вкатывали бочки с селитрой в каменные здания. Пятого числа опустевший город горел со всех концов. Вечером пятого февраля 1802 года на рейде опустевшего Капа стали уцелевшие французские суда. Развалины были заняты Леклерком.

Могила Сантонакса, найденная в долине за городом, на маленьком островке между двух горных речек, переплетавшихся рукавами, была разрыта. Останки комиссара Конвента были сложены в тонкий узкий мешок, заложены в пушку и выстрелом развеяны по ветру. Островок был сделан местом казни матроса Дартигойта, поднимавшего восстание на адмиральском корабле. Дартигойт был расстрелян в том самом месте, где с почетом был похоронен комиссар Национального Конвента. Тело казненного матроса заняло могилу убитого комиссара, в то время как по всему острову шли приготовления к борьбе черных племен против надвигающегося белого рабства.

Ночью после казни Дартигойта два матроса с фрегата «Гермиона» и лейтенант Сегонд с корабля «Индийский пилот» выбрались за сторожевое охранение в горах и бежали.

Кто такие эти беглецы? Два матроса были братья Дартигойта; лейтенант Сегонд, бывший командир корабля «Тиранисида» («Тираноубийца»), был беглый аристократ, маркиз Шанфлери, племянник графини Ламбаль. Воспитанный на Мартинике, едва увидевши Париж впервые в дни революции, он быстро воспринял идеи, полученные в колониях от ссыльных французских революционеров. Он со всем пылом и горячностью молодости бросился в водоворот парижских событий; он не знал двора, простота и естественность островного воспитания не сделали его приверженцем касты, идеи Руссо и благороднейшие мысли Рейналя воспитали и укрепили его дух. Бедность семьи и возможность любых общений, природное здоровье сделали его полезным в секции «Французского музея», так назывался округ, в котором он жил, после того как переименовал имя. Под именем гражданина Сегонда он вступил в члены парижской Коммуны в дни Конвента и был послан в качестве комиссара на корабли, стоявшие в Гавре.

ЛЕКЛЕРК — МОРСКОМУ МИНИСТРУ ДЕКРЕ Штаб-квартира на Капе

20 плювиоза 10 года Строгая тайна.

Гражданин министр, ежеминутно я узнаю, что наше положение в отношении продовольствия становится все более тяжелым. Затопленный корабль был единственным новым быстроходным и построенным по науке, по чертежам математика Эйлера. Почему ядра негритянской артиллерии выбрали именно этот корабль? Неужели потому, что он вез на борту и в трюмах продовольствие почти всей эскадры? Вчера вошли на рейд американские и испанские суда; они берут страшно дорого и расчеты производят на золото. Прошедшие три дня мы были заняты подсчетом наших ресурсов. Буду счастлив, если окажусь способным продержаться со всем отрядом два с половиной месяца. Соединенные Штаты ввезли сюда оружие, порох и всякое военное оборудование, они же подбили Туссена к защите. Я глубоко убежден, что американцы создали план призвать к независимости все Антильские острова, надеясь заручиться исключительной торговлей, как они заключили торговые сделки с республикой Туссена Лувертюра. Во всех отношениях для меня было бы не плохо, если бы Англия и Франция объединились в целях припугнуть Соединенные Штаты.

Главный правитель — Леклерк».

Двадцатого плювиоза 10 года, то есть 9 февраля 1802 года, это письмо было отослано. Бешенству Леклерка не было границ, когда 30 марта того же года он получил неожиданное письмо от французского посланника в Вашингтоне, гражданина Пишона.

Несмотря на то, что письмо Леклерка было отослано самым секретным порядком, на него прежде всего отвечал французский посланник в Вашингтоне. Но такова была система Первого консула, что даже муж его сестры, получивший такое серьезное поручение от Бонапарта, был окружен шпионами. Пишон писал:

«Жерминаль 10 года.

Умоляю вас, генерал, высказать все доводы, приводимые мною министру в качестве истинного освещения поведения Соединенных Штатов. Я боюсь, что вы расположены обвинять Америку, рассматривая ее военные действия, время для которых уже прошло, так, как будто они продолжают сейчас. Я боюсь, что вижу обратное интересам французской нации в той переписке, которая доходит до меня из вашей колонии. Если считаться только с вашими личными интересами, генерал, то мы действительно можем поставить Соединенные Штаты в такое положение, при котором вместо общей работы против черных Соединенные Штаты поведут работу на изнурение голодом вашей армии. Опыт доказал вам это, колонии восстали благодаря этой стране, но теперь только благодаря этой стране восстание может быть подавлено. Давайте жить в добром согласии с Соединенными Штатами. В настоящее

время все умы взволнованы и разгорячены делом о покупке Луизианы. Нажимы, применяемые вами, только портят дело. Оцените мою откровенность. Я вам пишу так же просто, как пишу своему правительству».

Взбешенный Леклерк отправил это письмо в Париж, сделав на нем надпись об отозвании Пишона, называя его плутом, негодяем, перлюстратором и прочими нелестными словами.

Братья Дартигойты и лейтенант Сегонд после трехнедельных поисков нашли Туссена. Высоко в горах, в зеленой долине, в зарослях барбадина, гаявы и магнолии, в той зоне, где флора тропической долины соединяется с горными цветами, где расположились поселки одиноких фермеров, старики которых еще пляшут на праздниках в масках оборотней, почитают змей, «воду» и верят в колдунов «оби», а неподалеку располагаются полудеревни-полулагери цветных людей с громадными крытыми галереями, полными света, где на высоких коновязях, вокруг колодцеобразных кормушек стоят всегда оседланные лошади в артиллерийской упряжке, готовые попарно вылететь из двадцати вращающихся ворот, чтобы подцепить лафеты легких горных пушек, — там, среди этих мест, встретил Сегонд вышедшего к нему навстречу проводника. Французский лейтенант и два матроса были приняты Туссеном на пороге деревянного дома, почти незаметного с дороги в зарослях огромных банановых листьев, камыша и пальм.

Туссен просто усадил их рядом с собой и просил говорить. Сегонд быстро, отчетливо и неумолимо полтора часа рассказывал ему о том, что удалось узнать дорогой из Бреста в Гаити, — для чего отправлена эскадра. Рассказывал все происшествия в Капе. Туссен слушал молча, не прерывая. Старуха жена, дочь Туссена, ее муж Клеро проходили мимо, не мешая беседе, а когда Сегонд остановился, Туссен спросил:

— Полковник Винсент не с вами?

Сегонд отрицательно покачал головой.

— С нами только два негра, генерал, — ответил Сегонд, — они на адмиральском корабле и до сих пор не спущены на берег: это ваши дети.

Туссен спокойно поднял веки, старуха негрятянка уронила кокосовую чашку. В доме наступила тишина. Оба матроса, молчавшие до сих пор, знаками обратили внимание Сегонда на то, что на горизонте, на белом холме, который казался увенчанным снежной шапкой, появилась маленькая струйка голубоватого дыма, прямо поднимавшаяся к небу.

— Вы переночуете у меня, — сказал Туссен, — сейчас сядете вместе со мной за ужин, а завтра определите, как вам поступить с собой. Хотите ли вы вернуться в распоряжение Леклерка?

На лицах французов изобразился совершенно неподдельный ужас. Матросы, измученные долгой матросской мукой, смотрели на Туссена, подергивая скулами, как на человека, произнесшего неуместную шутку.

Туссен в первый раз грустно улыбнулся. Сегонд обратил внимание: у негра улыбались только глаза, губы сохраняли оттенок горечи. Но и в глазах, горевших ежесекундными взрывами богатой, непрекращающейся мысли, эта улыбка мелькнула только на секунду.

— Как ваше имя? — спросил Туссен.

И совершенно неожиданно для себя молодой человек полностью назвал свой французский титул. Он спохватился, но было поздно. Братья Дартигойты смотрели на него как на

чудовище, но Туссен и тут сохранил спокойствие. Он быстро перебежал глазами от матросов к офицеру и успокоился.

— Разные дороги ведут к революции, — сказал он, обращаясь к матросам. — Вы сами знаете, что человек не выбирает себе отца. Итак, вы трое остаетесь у меня.

Маркиз Шанфлери и матросы кивнули головой.

После ужина французов отвели в походную палатку. Когда они засыпали, негры-часовые с английскими ружьями встали на посту неподалеку.

Проснулись рано утром, вышли из палатки. Часовой-негр с непокрытой головой, словно кусок черного гранита, стоял на склоне горы над ущельем. Девятнадцать всадников спускались с карабинами через плечо, с мешками, саквами и торбами на седлах. Мексиканские стремяна, похожие на корзинки, для каждой ноги, маленькие лошади с зонтиками над глазами, уши лошадей, торчащие сквозь зонтики, как черные концы копий, — вот зрелище, которое расстилалось длинной полосой по извилистой ленте дороги между горами в те часы, когда Черный консул и восемнадцать всадников вслед за ним по узкой и извилистой тропинке выезжали на вершину, туда, где стояла так называемая Верхняя хижина.

Был военный совет в горах. Никто никого не ждал, все съехались вовремя. Что это было — трудно сказать. Это был по задаче, конечно, военный совет, а по способу ведения собрания это была форма старой масонской конспирации, где старик Туссен Лувертьюр заседал в качестве «Достопочтенного отца», или великого мастера ложи, где сидели братья старших степеней: Яков Дессалин, Анри Кристоф, Алексис Клерво, Жан Морпа, Шарль Белэр, Жан Купе, Поль Лувертьюр — помимо Туссена семь человек, — столько, сколько требовалось уставом. Помимо этого, были еще и другие: два представителя от культиваторов Гаити, один беженец с Гваделупы и негр с отрубленной рукой с Мартиники.

Был дождь, был сильный ветер; тростниковые занавески шлепали об окна. Яков Дессалин перед открытием собрания говорил, сжимая кулаки:

— Я утверждал и утверждаю все, что я думал раньше: ничего нет подлее французов, я снял бы им всем головы и размозжил бы паскудные черепа их младенцам...

Был праздник, было море, было солнце, не было ветра. Качались перья белых птиц на волнах, качались мысли у белых людей на берегу, начинались игры, и девушки в белых платьях стояли на набережной Порт-о-Пренса. Все богачки и богачи из Капа приехали в золоченых каретах на праздник в гости. Черные красавицы и белые рабыни, дочери и сестры богатых наследниц, — рабыни с опахалами из перьев окружали их на богатых верандах над морем.

«Альцеста», «Клеопатра», «Людовик» качались под тихим ветром, набирая путь парусами. Белый флаг и лилии на нем лишь изредка вспархивали под ветром на дальнем маяке в ответ на сигналы нижнего форта. Господа французские офицеры перед дамами, смеясь, говорили, что ни один смельчак не проплывет по заливу две тысячи туазов от форта до маяка. И тогда, мастер, — продолжал Дессалин, — я сбежал с берега, отдал свое платье матросу и поплыл. Но лейтенант Малуэ, сын коменданта, не вытерпел, тоже разделся на корабле и бросился вплавь вслед за мной. Но где же французскому дворянину одолеть пловца Дессалина! Он задыхался. Я слышал, как он плещет руками, этот маленький Малуэ, а в рупор мне кто-то крикнул с берега: «Дессалин, нырни. Оглянись, Дессалин». Я не нырнул. Я не оглянулся. Я стал плевать кровью. Пули с форта прострелили мне щеку и левую ногу. На форте

обижались, что я не тону, посылали мне пулю за пулей. А когда я приплыл все-таки на маяк, и приплыл первым, я потерял не только память, но и право на жизнь. Мастер, прошло шесть недель. Мастер, я здесь сижу с вами, а меня ищут по всем гнилым болотам сильвасов. Меня ищут по матросским притонам. Мою одежду подвешивают на черные ошейники громадных псов Массиака. Собаки-ищейки, роняя пену с красного языка, ворвались в лачугу к моей жене и в куски разорвали моего ребенка. Мастер, куда годятся ваши дворяне, если они подлостью, а не силой одержали победу над честным соперником! Ваши дворяне кричат, что мы рабы, но ведь раб победил комендантского щенка, не сумевшего доплыть. Пусть у него девять столетий дворянства на пергаменте его грамоты. Пусть я и с простреленной ногой и изуродованной челюстью пропал без вести. Но сын коменданта, получивший кубок пловца в тот же вечер, этот мальчишка Малуэ, разве это не жалкий подлец, осрамившийся перед черным рабом, пошедший на фальшь и подлость?..

И вдруг сразу, словно какой-то ожог заставил его отскочить от двери, Дессалин отошел и выпрямился, все встали. Маленький седой негр, просто одетый, вошел, стал у стола, взял молоток из камышового дерева и трижды ударил по столу. Два черепа и медный треугольник, линейка и меч, к которому привязан был красный фригийский колпак, мерно вздрогнули под ударами деревянного молотка о стол.

Туссен заговорил:

— Товарищи и братья, в гавани Самана в январе этого года я видел первых французских разведчиков. Вот молодые товарищи культиваторы с Гваделупы, с Мартиники расскажут нам, что там уже водворено рабство. Гибель наша неизбежна, вся Франция, в том виде, как она сейчас существует, поднялась для того, чтобы погубить Сан-Доминго. Их обманули, несчастных французских бедняков, и вот их правительство сейчас собирается совершить акт кровавого насилия и порабощения черных. Близка наша гибель. Что скажешь ты, Анри?

— Я пожег весь Кап, город лежит в развалинах, — ответил Анри Кристоф. — Я сделал, как ты приказал. Не знаю, стало ли от этого лучше.

Ропот раздался среди генералов. Одетые просто, собравшись без чинов, они все-таки были смущены этим дерзким выражением по адресу любимого вождя. Но Кристоф не унимался, он говорил:

— Мы отступили. Я не знал, как ты отнесешься к тому, что твои дети подвергаются опасности, и к тому же я не знал, что несут с собой французские суда.

— Что несут? — сказал Дессалин. — Ясно, что несут: несут рабство и Черный кодекс. Я говорил и говорю, что настанет время, и белые люди исчезнут на земле. Она будет землею черных!

Культиватор, младший брат из Гваделупы, кивнул головой, встал и сказал:

— Я подтверждаю.

Туссен заговорил, вынув из кожаной сумки синеватую тетрадку и разглаживая ее на столе перед собой:

— Исчислим жизненное равновесие сил. У нас двадцать семь небольших кораблей, предназначенных только для торговли. Все наши силы внутри острова, вся наша сплоченность — это сплоченность по цвету кожи. Теперь смотрите, что имеют французы. У них было, по последнему адмиралтейскому исчислению, двести четырнадцать военных судов, из них шестьдесят четыре линейных корабля. Еще недавно это был самый первый по величине военный флот во всем мире, теперь их перебили англичане, но все-таки у французской метрополии во всем флоте тринадцать тысяч семьсот сорок пушек, семьдесят

шесть с половиной тысяч матросов, тысяча восемьсот семьдесят шесть офицеров, из которых большинство роялисты, прекрасные знатоки флота, но люди, исполненные ненависти ко всякой революции, не только к революции в пользу негров. Это ведь не какие-нибудь генералы, случайно залетевшие к нам на отдых, вроде Симкоэ или Майтланда: они не отступят просто.

Заговорил Клерво:

— Отец и мастер, вы все пугаете, а нам и без того страшно. Как же нам быть в этих горестных обстоятельствах? Разве вы не предвидели, что так случится?

— Я не пророк и не провидец, — сказал Туссен. — Вы сделали меня старшим вашей организации, я согласился, но это не значит, что я смогу видеть больше, чем всякий, кому поручена власть населением Сан-Доминго. Кто мог предвидеть гибель комиссара Сантонакса от пушечного выстрела полицейского шпиона Рош-Маркандье, кто мог предвидеть смерть члена Комитета общественного спасения генерала Робеспьера, нашего лучшего друга? Дела на континенте Франции могут измениться настолько, что завтра будет отозвана армия генерала Леклерка.

Заговорил опять Кристоф, заговорил горячо и запальчиво:

— Если бы у меня не было твоей тайной инструкции, я пустил бы генерала Леклерка на рейд, он сообщил бы мне о намерениях Франции. Говорят, он имеет письмо к тебе от Первого консула. Быть может, все, что мы затеяли, есть настоящее преступление, преступление против родины, которое ничем искоренить нельзя.

— Где твои родные? — спросил Туссен.

Кристоф вдруг поник головой, опустил локти на стол, раскинул ладони пятернями по направлению к Туссену и замолк.

Туссен заговорил:

— Я сторонник осадной войны. Я твердо знаю, что французы несут несомненно рабство, что Черный кодекс будет восстановлен полностью, что веселые голландские капитаны, пропитанные джином, и американские обезьяны с волосами на шее и бритыми подбородками еще покажут себя в качестве торговцев черным товаром, но я не могу примириться со словами Кристофа. Я предлагаю осадную войну, я предлагаю увести все население в горы, затопить плантации, поджечь города на берегу моря, вывезти весь порох на горные вершины, снять береговые отряды, уничтожить дороги и обеспечить французам только доступ в сильвазы, где желтая лихорадка будет косить их по тысяче в день.

Яков Дессалин одобрительно кивнул головой.

— Я говорил, — воскликнул он, — что нет никого подлее французов, что белая порода исчезнет с лица земли, что черные люди будут населять земной шар и водворят настоящую справедливость путем жесткой военной диктатуры.

— Это ошибка, Яков, — сказал Туссен, — это ошибка. Помнишь, что говорил старик? Старый Рейналь понимал, в чем дело, дело вовсе не в цвете кожи. Ты хочешь провозгласить дворянство черной кожи: это такая же ошибка, как и лозунги дворянства белой кожи.

— Вот к чему привела твоя политика, — кричал Дессалин, — вот результат твоего гуманизма. Поверь же мне, я ученик Парижского университета, я друг Оже. Это ты говорил, что национальность есть предрассудок. Черные всегда были рабами и рабами останутся до тех пор, пока не сделаются господами. Это ты делаешь ошибку, утверждая равенство рас и

наций.

Туссен поднял молоток и ударил четыре раза в знак величайшей важности, после чего Дессалин встал и сказал:

— Я не намерен оказывать сопротивление, я спорил и возражал как товарищ.

Туссен сурово сказал:

— И я требую повиновения. Соглашаетесь ли вы все со мною в том, что Франция несет нам полное восстановление рабства?

— Мы еще не выслушали всех, — сказал Кристоф, — но так как было четыре стука, я соглашаюсь по уставу.

Туссен промолчал, ему не понравился ответ Кристофа. Кристоф, пользуясь этим молчанием, произнес:

— Ведь мы еще не выслушали Францию.

Туссен ответил спокойно:

— Я ее уже выслушал.

Кристоф пожал плечами и ничего не ответил.

— Подсчитаем силы, — сказал Туссен. — В нашем распоряжении под ружьем двадцать четыре тысячи черных солдат, открыты нетронутые форты под Актюлем, шесть батарей в Сен-Никезе, восемнадцать безбатарейных орудий в Деннери. Не трогайте земляных ковров до специального приказа со знаком Семи. Значит, ведем осадную войну. Товарищи и братья, — обратился Туссен к сидевшим спокойно на краю стола культиваторам, — ваша обязанность разослать культиваторов по деревням и селам, по фермам, собрать всех, провозгласить войну. Вы свободны.

Четыре негра встали и удалились. Туссен посмотрел в окно, как они оседлывают лошадей, говоря друг с другом. Он наблюдал их лица, и его собственное лицо тускнело, становилось серым, приобретало землистый оттенок. Он говорил дальше:

— Кристоф получает командование авангардом, сдерживающим продвижение армии Леклерка. Главное, обратите внимание на разведку. Спросить матросов, помнят ли они Морской кодекс и знают ли они, что сделал для уничтожения

офицерского зверства дворян гражданин Робеспьер. Итак, у Кристофа четыре тысячи восьмьсот человек сдерживают наступление Леклерка и ведут разведку. Дессалин, у тебя одиннадцать тысяч шестьсот пятьдесят солдат, твоя штаб-квартира Сен-Марк. Теперь, Клерво, ты с Полем Лувертюром вместе охраняешь границы бывших испанских владений. Помните, что против вас три тысячи французов под командованием генерала Рошамбо, на форте Дофин три тысячи человек под командованием Будэ уже направились против граждан Порт-о-Пренс. — Заглянул в синюю тетрадку и сказал: — Со стороны Капа Кристофа атакует генерал Гарди, в его распоряжении сорок пять тысяч человек.

Потом Туссен порылся в тетради и вынул маленькие листки в серовой бумаге, на которых было напечатано крупными буквами: «Французские граждане, попавшие под несчастное иго черных, не бойтесь ничего. Черные собираются уничтожить все в случае своей победы, организуйте свои батальоны, помогайте нашим войскам».

Туссен показал это Кристофу. Кристоф отрицательно покачал головой.



— Я не знаю этого документа. Я только сигнализировал Леклерку, что без разрешения губернатора я не позволю высадиться его эскадре.

— Это мне привезено с эскадры Леклерка, — сказал Туссен.

Кристоф, проведя руками по лбу, сказал:

— А все-таки генерал Ажэ под влиянием белого населения Порт-о-Пренса и прокламаций Леклерка заявил, что если бы то были англичане или испанцы, то он нашел бы способ отбить атаки, но так как в нем нет уверенности в правоте высшего негрского командования, так как он не знает, действительно ли французы хотят зла черным людям, то он желает впустить генерала Будэ в Порт-о-Пренс, для того чтобы выслушать его лично.

Туссен поднял глаза, осмотрел присутствующих, ничего не ответил. Наступило неловкое молчание. Дождь сменился грозой, и через несколько секунд черная туча заволокла все небо. Наступила темнота, и только молнии рвали мрак, окутывавший горную хижину. Раскаты рвали облака, как пушечные выстрелы, и казалось, что войны, бури гражданских битв перенеслись в это мирное горное убежище Туссена. Пробовали говорить Дессалин и другие генералы, но взрывающийся ветер, гроза и молния делали неслышными их речи.

Длинный, остролицый профиль Дессалина с черной клиновидной бородой вырисовывался, как фигура сатанинского героя европейской трагедии в Вальпургиевой ночи на Брокене, словно герой сатанинской повести Клингера «Мефистофель», возникший перед Европой снова под пером Клингера в Петербурге в 1791 году. Дессалин улыбался страшной улыбкой, губы шевелились и говорили что-то на ухо собеседнику. Губы его и других шевелились, но не было слышно голосов. Так продолжалось довольно долго. Клерво вынул из кожаной сумки длинный чубук-табакко, скатал шариком табачные листья между ладонями, запрятал этот шарик в трубку и стал высекать искру огнивом.

Наконец, когда кончились последние взрывы в низко бегущих и захватывающих верхушки деревьев тучах, Туссен произнес:

— Я сам виноват в том, что вы слишком верите французам. Знаете ли вы, что Винсент арестован? Знаете ли вы, что тот самый Бонапарт, который когда-то спас меня от смерти, сейчас требует моей смерти? Но это все касается только Туссена. Что касается нашего генерала Ажэ, то я имею первые сведения: четыре корабля на рейде сожжены, город охвачен пожаром, и, вероятно, завтра отряд генерала Леклерка его займет. Во всяком случае, до получения твердых и определенных предписаний Великой французской лиги мы не вправе сами ничего менять из того, что нам предписано, иначе слово «Квисквейа» станет лишним смыслом, а тогда на что нам станет наша жизнь?

Разъехались молча. Решили начать осадную войну. Самым последним уехал маленький негр с письмом к начальнику негрской дивизии Домаже.

Туссен писал своему подчиненному:

«Разуверься во всех белых людях, которые тебя окружают, они предадут всех нас при первой возможности. Все их клятвы и заверения на самом деле ведут только к возобновлению рабства. Поверь мне и нисколько не сомневайся в справедливости моих слов. Несмотря на все попытки заманить нас, держись твердо, подними все массы культиваторов и дай им твердо-натвердо уразуметь, что они не должны оказывать никакого доверия этим фальшивым людям, которые рассылают свои прокламации то черным, то белым палачам Франции. Они дают заверения, диаметрально противоположные тем, которые получают белые колонисты от французского командования. Самое губительное — это то, что они пытаются сейчас же сформировать отдельные от нашего командования отряды цветных людей.

Квисквейа и братство !

Туссен Лувертюр».

Оставив Дессалина у власти, Туссен исчез. Он появился через четыре дня, переодетым, на площади Сан-Доминго, около собора, в жаркий день под навесом. Старые креолы, мулаты и белые люди глотали куски фруктовых прохладительных смесей, когда седобородый измененный до неузнаваемости Туссен прошел и занял место в парикмахерской при кофейне. Парикмахер ловкой рукой вскидывал и опускал бритву, наклонившись низко к левому уху Туссена.

— Напечатать ничего не удалось, — говорил он, — сломаны все машины, фромантеновские станки не работают, а в то же время на рейд пришло под английским флагом суденышко, с которого скинули мешки. В этих мешках прокламации, призыв французского народа за подписью Первого консула. Объявляются мир и братство. Испания передала Луизиану. Первый консул призывает всех к единению, поздравляет все население Сан-Доминго, говорит, что подтверждает все декреты об отмене рабства.

У Туссена дрожала голова, этого он не ожидал. Неужели он в самом деле ошибся, объявив войну Франции? Но тогда зачем вооруженные силы Леклерка?

— Хорошо, Муркос, — сказал Туссен, обращаясь к парикмахеру, — а как объясняют они появление вооруженных сил и привоз моих детей, Исаака и Плацида, в качестве заложников?

— Ваши дети здесь, — сказал Муркос, — они на горе, они в губернаторском доме. Их встретили, как хозяев, вчера был колокольный звон по всему городу.

Туссен не сказал ни слова, он вышел из лавки парикмахера, ушел опять за город. Его обувь была в пыли, пыль осела на ресницах. Тенистая аллея, несмотря на влажную листву, нисколько не облегчала жары.

Испанская процессия двигалась по дороге. На первом месте шли Альмас Сантос, люди в масках, люди в островерхих конических шапках и в масках. Шапки, раскрашенные в яркие цвета, высотой в рост человека, кончались тремя длинными лентами, которыми играл ветер. Затем, сменяя этих восемь маскированных людей, шел священник в кружевной пелерине до колен. Два мальчика несли свечи в рукоятках мечей. Огромный тонкий и легкий крест в руках священника, ему предшествовали четыре носильщика, на плечах которых был гроб с сидящим на нем прикованным скелетом, этот скелет вырезан из дерева ангела с крестом. И дальше за этим гробом следовали снова четверо маскированных людей в таких же конических шапках. Потом шли священники, диаконы, числом пятьдесят шесть и несли разные эмблемы Христовых страстей; здесь были меч, плащаница, хитон, дароносица, свечи, терновый венок, фонарь палестинских кустодов, рама: петух, трижды пропевший отречение апостола Петра; копье, вонзившееся в ребро висевшему на кресте; лестница, молоток, гвозди, губка на шесте, с которой непрерывно капал уксус, и дальше траурный черный крест огромных размеров, пустой внутри, сделанный из тончайших досок, с белым хитоном на перекладинах; его несли двое людей в черных одеждах и в черных масках. Дальше шли музыканты, продолжавшие шествие носильщиков, с курильщиками фимиама, со щитом, на котором стоял вырезанный из дерева Иоанн-Креститель с золотым венцом на голове. За ними несли, предваряемые фонарями, ярко горевшими, несмотря на ослепительное и знойное солнце, на таком же помосте изображение Марии Магдалины. Потом опять священник со звездообразным крестом, два свеченосца и шестнадцать носильщиков несут под балдахин статуя, изображающую коленапреклоненного триста, падающего под крестной ношей. Конец огромного креста поддерживает Симон Киренейский...

При всей душевной боли, при всем адском противоречии чувств, заражавших душу Туссена, с нетерпением ожидавшего на перекрестке прохода этой церемонии, старый негр не мог не улыбнуться, видя, что роль этого Лимона Киренейского играет первый конторщик табачной фактории, брат покойного генерала Модюи. За балдахином шли первый алькальд испанского квартала Сан-Доминго и восемь испанских негров со страусовыми перьями на касках.

Туссен считал людей, чтобы не упасть без чувств. Стремление видеть Исаака и Плацида было настолько сильно, и в то же время смутное чувство того, что они несут ему еще большее горе, было настолько страшно, что он мгновениями чувствовал, как подгибаются колени, и, смотря на дорогу сквозь заросль могучего кустарника, невольно схватывался за серые стволы пальм. Прошло сто пятнадцать человек — представителей упраздненных испанских монастырей, за ними — воспитанники испанских школ, возвращающиеся из Сан-Доминго в Гинч. Дальше шел второй алькальд испанского квартала. Дальше была гробница под балдахином; ее несли все представители народов, населявших испанскую землю. Дальше в тюрбанах, в фесках, с ятаганами и алебардами, шли «предатели и палачи».

Религиозная церемония страстей Христовых была разыграна испанской частью Сан-Доминго словно балет во французском театре. И вдруг, как удар, поразило Туссена чучело негра, в треуголке, с плюмажем из страусовых перьев, в раззолоченном мундире. Это чучело несло мешок с надписью «Тридцать сребреников». Болтая руками, помахивая мешком, это чучело неуклюже кланялось вправо и влево, вперед и назад, неся за собой флагообразную ленту с надписью «Иуда».

Кто сделал это намеренное сходство с губернатором Сан-Доминго, кто состряпал это чучело, поразительно похожее частями лица и формой одежды на Туссена Лувертюра?

«Сейчас сезон лихорадок, — думал Туссен, — быть может, я уже в бреду? Где мои дети, где я сам и кто я сейчас?»

Процессия медленно двигалась дальше, поднимая пыль и блестя на солнце золотыми фонарями, хоругвями и блестящим убранством испанского духовенства. Несколько религиозно настроенных белых офицеров, четырнадцать матросов мулатов — все это Туссен просчитал. Далее за ними, после оркестра с трубами и валторнами, Туссен увидел черную фигуру, закутанную с ног до головы в мягкий шелк, и огромный красный шлейф, простирающийся на руках шлейфоносцев на протяжении семидесяти шагов: это первый каноник испанской церкви. За ним кадилъница в руках двух носильщиков, и потом — под балдахином — епископ в окружении пышной католической гвардии. Толстая, короткая, заплывшая жиром фигура епископа и шесть викариев, заместников епископа, представляли собой шесть бочек, обливавшихся потом, трясущихся от жира. Епископ в высокой тиаре, под балдахином, изукрашенным перьями тропических птиц, а за епископом — на помосте, под большим овальным зонтом из красной материи, в парчовой ризе — статуя мадонны. Четыреста креолок и испанских женщин, сплошь в белых одеждах и со свечами в руках, шли за мадонной. Потом в экипаже, украшенном позолотой, — старый испанец, бывший владелец крупнейших земель около Гинча. Он ехал и бесшумно вышвыривал из мешка, стоявшего у него между колен, кипы небольших листков, раскидывая их на расстоянии ста шагов по дороге.

Так, ожидая встречи с сыновьями, внезапно прибывшими из Парижа на кораблях, которые везли с собой порабощение, позор, рабство и смерть, Туссен, пользуясь своим способом предварительного появления в местах, которые его еще не ждут, узнал, что оба старшие сына, рожденные и выросшие около Капа, к западу от города на плантации Ноэ, теперь прибыли в его губернаторский дворец в Сан-Доминго. Недаром зорким глазом Туссен заметил на рейде легкопарусное французское судно «Ласточка», качавшееся на волнах, самое маленькое среди всех стоявших на рейде и самое страшное для сердца самого

большого человека на острове.

«Совершилось, — думал Туссен, — Вот пришли времена и сроки, когда завершится формула Кардана о том, что все вещи имеют свое возвращение, и о том, что последующее событие может стать пародией предыдущего. А что, если Бонапарт является пародией Робеспьера? Что, если этот цезарь пошлости воистину возвещает новое рабство? Что, если прав этот мальчуган Шанфлери в своем запальчивом раздражении против разного вида человеческих безумий?»

Дорога поднималась в гору, маленький мостик из пальмового дерева, крутой в расчете на разлив четыре раза в год, перегораживал дорогу. Туссен вдруг опомнился. Ему казалось, что целое столетие прошло с той минуты, как он встретил испанскую католическую процессию. Он свернул по долине ручья, пошел вверх по течению и, усталый, остановился там, где во рву ядовитые пчелы слепили себе гнезда. Он вынул пальмовый свисток из кармана, трижды тихонько подул. В ответ раздался такой же тихий свист, потом на дне оврага показался человек с двумя лошадьми. Он шел, держа четыре кожаных ремешка в руках. Зеленые листья и просветы между деревьями бегали золотыми бликами по этим трем существам; один белый человек и сотни солнечных бликов. Так он подошел к Туссену, разобрал поводья и, отдавая честь правой рукой, левой рукой предлагал Туссену коня.

Это был Вернэ, первый адъютант генерала, генерал-губернатора, правителя и Черного консула Гаитийской республики. Он вручил пакет Черному консулу. Туссен читал:

«Дорогой отец, через два дня наше свидание. „Ласточка“ через час подойдет к дебаркадеру. Капитан Боссюэт показывает нам твоё жилище, он говорит: через два дня ваш отец с почетом и славой вернется в этот дворец. Все тебе расскажем. Франция была прекрасна до нашего ареста, но добрый старик Леклерк объяснил, что все это недоразумение. Будем надеяться на лучшее будущее.

Исаак Лувертюр, Плацид Бреда».

«Вот как, — подумал Туссен. — Оба сына называют себя по-разному».

Вернэ смотрел на генерала и гладил лошадей. Туссен спрашивал:

— Что же, кто-нибудь есть еще, кроме моих сыновей?

— Никого, товарищ, — говорил Вернэ, — все, кто с ними приехал, остались на борту «Ласточки».

— Хорошо, — сказал Туссен, — мы уедем так же прост?

— Нельзя, генерал, — ответил Вернэ, — около большого колодца, рядом с дворцом Сансуси, завтра в полдень будут ждать восемьдесят всадников. Вам хотят сделать встречу такую, какую предписал генерал Леклерк.

Морщины на лбу Туссена углубились, он ударил хлыстом вороного конька и, за неимением шпор, стиснул его бока шенкелями.

К вечеру приехал в Деннери. Он узнан был не сразу; его узнал первым, при повороте на Деннери, загорелый маленький человек с крутыми усами и бородой клином, с лицом в красных и синих пятнах, в большой шляпе. Он сидел в воланте, и, быстро повернувшись, оскалил крепкие желтые зубы, взяв двумя пальцами левой руки трубку изо рта. Но и Туссен также узнал его. Он был поражен только одним: этот капитан Наваррец, хвалившийся тем, что он перевез один с африканского берега свыше семидесяти тысяч негров, был

изгнанником острова Гаити. В свое время Туссен за наглые выходки на колониальном собрании ударил его палкой по лицу. Потом в первые дни губернаторства Туссена Наваррецу пришлось быстро убежать.

«Как он теперь появился здесь и что значит его появление?» — думал Туссен.

За месяц отсутствия Туссена, очевидно, произошло столько перемен, что необходимо принимать какие-то меры для того, чтобы это поправить. Во всяком случае, при прежнем положении вещей появление этого морского волка, негроторговца, было бы невозможным, а если он появился, это служит первым предостережением: значит, случилось что-нибудь такое, что обусловило эту неслыханную наглость. Значит, появился кто-то, кто дает приют подобным людям.

«Он даже не боится быть узнанным». — С этой мыслью Туссен подъехал к своему жилищу. Никто не вышел на стук. Взволнованный и смущенный, Туссен поднялся на верх небольшого деревянного строения. Большая черная собака с низким басовым лаем кинулась ему навстречу, узнала хозяина, вильнула хвостом, завывала. Туссен толкнул дверь, перед ним, в плетеной корзинке качая ребенка, сидела старуха и пела. Она пела старую негритянскую песню, какую пели во времена рабства. Туссен ее окликнул, то была его сестра.

Старуха встала, пошла к нему навстречу, приветствовала его со спокойной важностью. Она никогда не была разговорчива, но тут вдруг усадила его и заговорила торопливо:

— Хорошо, что ты приехал раньше. Тебя ждали только через два дня, тебя хотят купить твоими же детьми. У тебя начинаются черные дни, но думалось мне все-таки, что ты приедешь раньше, и хорошо, что ты приехал раньше.

Эту фразу она готова была повторять без конца.

Туссен ее прервал:

— Сходи к Бовэ, скажи ему, что завтра торжественно въезжаем в Сан-Доминго.

Старуха хотела уходить, ее внук закричал из корзинки. На крик вышла молодая женщина мулатка, племянница Туссена. Она посмотрела на дядю Просветлевшими глазами, с чувством горячей благодарности по поводу неожиданного, но своевременного приезда, и ничего не сказала.

— Давно ли здесь Наваррец? — спросил Туссен.

Молодая женщина вздрогнула, старуха сказала:

— Наваррец не может здесь появиться.

— Я говорю тебе, что он здесь, я сам его видел.

Старуха ничего не ответила и вышла из комнаты. Молодая женщина сказала:

— Должно быть, он приехал вместе с французом Рош-Маркандье, с тем самым, который убил Сантонакса.

Туссен нахмурился. Он не мог сидеть, не мог думать и отдыхать и решил сам пойти навстречу Бовэ.

Молодой офицер уже сам спешил к нему, быстро надевая шапку, и, кончив эту операцию, подошел, словно на смотр, к Туссену и отдал ему честь по-военному.

— Не могу похвастаться благополучием, генерал, — сказал он.

— Почему? — спросил Туссен.

— Вам послали четырех гонцов, из них ни один не вернулся. Донесения, очень важные, все потеряны, если потеряны гонцы, а если потеряны донесения, то многое потеряно в деле нашей свободы.

Туссен нахмурился и, беря Бовэ под руку, отправился с ним по верхней дороге к морю.

Утром большой колокол Сан-Доминго в соборе, где еще недавно покоилась гробница Христофора Колумба, возвестил приближение отряда правителя острова. Туссен Лувертюр верхом, одиннадцать его генералов, эскадроны черных драгун в киверах с султанами, в снаряжении из белой кожи, с большими пистолетами и кривыми шашками ехали впереди. Туссен обмахивался древесной веткой и ехал спокойно. У въезда в город — там, где солнце бросало резкие черные тени на улицу, ярко освещая желтые дома с фестонами и разводами по карнизам и крышам, — навстречу Черному консулу выехала делегация города. Женщины в белых платьях, в волантах и каретах, негрские ребятишки, представители мулатской и негрской коммуны и маленький экипаж английского образца, где под зонтиком сидело двое в гражданской одежде. Их Туссен узнал издали. Они встали в коляске, сняли шляпы. Туссен при громких кликах двухсот человек, слегка осаживая лошадь, повернул к коляске, Исаак и Плацид бросились к отцу на шею. Потом все трое пересели в карету и отправились к губернаторскому дворцу.

— Меня поразила смерть Сантонакса, — говорил Плацид, — но никто, кроме матери, не писал мне об этом.

Туссен, казалось, не слушал. Он внимательно смотрел на старшего сына, словно выжидая, пока тот заговорит. Но Исаак молчал, он улыбался отцу самодовольной и сытой улыбкой, в то время как Плацид без умолку расспрашивал о сестрах, о матери до самого последнего оборота колес кареты, когда почетный караул, выстроившись перед дворцом, принял начальника негрской армии и правителя Сан-Доминго.

Быстрой походкой несколько не уставшего человека Туссен вбежал по лестнице. Казалось, ничто не переменилось. Холодно поздоровался с адмиралом Сидоном, рассеянно выслушал и принял в руки поданный рапорт о состоянии города, потом ушел с детьми и заперся в отдаленных покоях. Ему хотелось, чтобы дети первые заговорили без наводящих вопросов о том, что собой представляла экспедиция Леклерка.

— Знаешь, отец, — вдруг начал Плацид, — когда нас арестовали и отправили в Брест...

Туссен вздрогнул:

— Как арестовали, кто арестовал?

— Да, потом выяснилось, что это случайность, что двоих других каких-то негрских детей с почетом проводили на корабль, когда мы восстановили свои права.

Туссен нахмурился, Исаак прибавил:

— Не нужно было об этом рассказывать. Генерал Леклерк — это шурин Первого консула. Это лучший человек в мире. Нам было очень хорошо плыть на адмиральском корабле, хотя и запрещали говорить с солдатами. Что больше всего нас поразило, это отвратительное поведение Анри Кристофа. Он первый из Капа открыл стрельбу по нашим кораблям, и так как «Ласточка» была третьей в головной колонне, то знай, отец, что он едва не утопил твоих детей ядрами. Ему хочется вызвать войну, этому Кристофу. А Леклерк приехал с самыми

хорошими намерениями; он хочет помочь в борьбе с Англией и с Испанией, он знает слабость негрских армий.

— Ты думаешь, они слабы? — с живостью спросил Туссен Исаака.

— Не думаю, а знаю, — самоуверенно ответил Исаак.

Тогда заговорил Туссен. Чувствуя и зная, что интересы того дела, которому он служил, дороги интересам его собственной крови, он все время сдерживал себя, когда вопрос казался связанным с военной тайной.

Плацид слушал с жадностью, и его реплики иногда заставляли Туссена проговариваться. При словах «осадная война» Исаак скривил губы и сказал:

— Воевать с Францией невозможно, это безумие. Я думал, что воюет только Кристоф, я жалею, что я приехал.

Тогда Туссен встал и, кладя руки на стол, произнес:

— Вам сегодня, в первый же день, даже сейчас, сию минуту, нужно будет решить вопрос, останетесь ли вы со мной, или вернетесь на французские корабли. Причем я должен предупредить вас; что остаться со мной — это значит остаться со своим племенем и с его делом, остаться в Стране гор и считать, что Страна гор есть настоящая Мать земель. В этом мире мы должны перестроить отношения людей, в этом мире мы должны изменить человеческий строй, от него пойдет свобода во всем мире.

Плацид встал и сказал:

— Для меня нет в этом вопроса, я остаюсь.

Исаак молчал; веки его вспухли, глаза потемнели.

— Ну что же, надо ответить сейчас, а потом нас ждет завтрак. Сегодня большой прием, я возвращаюсь в Сан-Доминго после месяца отсутствия, и будет много дела. Где капитан «Ласточки»?

— Он с нами в нашей каюте, там же ларец.

— Знаю, знаю, — сказал Туссен. — Сейчас встреча отца и детей, а потом при всех встреча посланников Первого консула с губернатором Сан-Доминго.

Исаак, еле шевеля губами, произнес:

— Я вернусь.

Туссен молча кивнул головой и, не глядя на него, вышел под руку с Плацидом. Глаза Плацида горели, он не смотрел на брата и рукавом камзола быстро смахнул горячую ядовитую слезу.

В приемной капитан Сенье, Плацид и Исаак вручили Туссену золотой ларец. Туссен поставил его на мраморный столик и открыл ключом, лежавшим на блюде. На дне, с пятью большими печатями зеленого сургуча, лежало письмо Первого консула Бонапарта. Короткая приписка Полины Бонапарт, жены генерала Леклерка, содержала несколько любезных фраз, обращенных к Туссену. Она называла его «дорогой генерал», посылала привет и радовалась, что он снова видит своих детей.

К вечеру для Туссена стало совершенно ясным желание Леклерка скомпрометировать конституцию Гаити и скомпрометировать все дело свободной республики. Письмо Бонапарта поразило Туссена, как он выразился, многозначительной бессодержательностью. Отсутствие Винсента, приключение с Плацидом и Исааком, разыгрывание ареста и извинение перед молодыми людьми

— все это Черному консулу показалось в высшей степени плохой игрой. Смутное чувство наполняло его душу. Он увидел, что население Сан-Доминго в течение месяца было предметом провокационной агитации. Не было человека, который не осуждал бы Кристофа за сожжение Капа, ни у кого не появлялось ни малейшего сомнения в том, что Франция, провозгласившая отмену рабства, может или намерена идти по пути его восстановления. Все это казалось Туссену тяжелым сном. Для него самого не было ни минуты колебаний в том, что Франция готовит неожиданный и страшный удар, и когда наутро он проезжал площадь с черными офицерами, он замечал любопытные и в то же время непроницаемые взгляды белых людей, населяющих столицу республики.

Он проехал на пристань, где корабль «Ласточка» готовился к поднятию парусов. Глубокая бухта ярко-зеленого цвета была спокойна; дальние маяки белели на фортах; корабли качались на волнах легкой усталой мертвой зыби; широкие зеленые волны, едва заметные с берега, вливались в бухту через ровные промежутки времени и слегка поднимали корабль от кормы до киля, а потом это мерное качание продолжалось на ровной глади. Где-то была далекая буря, где-то океанский тайфун прочертил небо молниями и снова сливался с горообразными штормовыми валами, где-то гибли корабли, где-то плавали мертвые тела — но буря утихла, и в безветренную гавань доносились лишь изредка покатые, ленивые и широкие, едва заметные пологие волны.

Туссен спокойно говорил с офицерами на дебаркадере. Его сын Исаак, не повидавшись с матерью, торопливо уезжал в штаб Леклерка. Мост на тяжелых канатах свисал над морем с дебаркадера, канатная лестница спускалась с висячего моста в море, и с лестницы уже был опущен маленький катер. Загорелые голландские матросы сидели на веслах, французский трехцветный флаг с белыми полосами из угла в угол висел спокойно на корме катера; капитан корабля разговаривал с Туссенем. Сцена была совершенно мирная, ничто не говорило о той буре, которая рвала душу и мысли Черного консула.

«Так будет удобней, — думал Туссен. — Пусть Исаак уедет. Надо же кого-нибудь посылать с ответом. Но как быть, когда оба увидят, что брат идет на брата? Что сделает старая Анита, когда узнает, что сын уехал?»

Он посмотрел на Плацида, потом, быстро повернувшись к Исааку, спросил:

— Ну, а если не сбудется твоя надежда на мир, если генерал Леклерк, как я слышал, действительно двинул войска на Крет-а-Пьерро?

— Я уеду в Париж.

Туссен отвернулся и, вынув шпагу, сделал знак. Береговая пушка выстрелила, палуба «Ласточки» зашевелилась, вышли матросы. Исаак и морской офицер сели в катер. Матросы забегали по реям, легкий верхний ветер тронул поднятый флаг. Катер подтянули к борту, как только Исаак с офицером оказались на палубе «Ласточки». Пушка ударила по борту, загремела издали якорная цепь, корабль оторвался и, постепенно ускоряя ход, скоро белой птицей казался в полете между маяками.

Город торговал, был шумен, кофейни были полны. Англичане, французы, испанцы, мулаты, негры, женщины в ярких платьях, мужчины в широких шляпах, черные офицеры в треуголках,



старые негритянки с седыми волосами, с полуголыми детьми наполняли базар и площадь перед собором.

Туссен и Плацид, бок о бок, верхом, стремя в стремя, ехали и говорили друг с другом.

— Три дня побудешь у матери, потом, ничего ей не говоря ни о себе, ни об Исааке, ты отправишься на высоты Крет-а-Пьерро. Там ты займешь с отрядом Морндю-Хаос. Ты отвык от родных гор, будь осторожен, там крутые стремнины и опасные повороты. Там, при полном безветрии в долинах, бывают такие ветры, которые могут сорвать в пропасть, там орлиные стаи нападают на человека. Это хорошее место, там мы уничтожили шестнадцать батальонов английского генерала Уайтелока. Там сейчас Дессалин, ты будешь его адъютантом. Сдерживай этого человека, он любит кровь и ненавидит белых, независимо от их убеждений. Помни наше учение: цвет кожи ничего не значит, когда мысль свободна и дух независим. Но Дессалин хороший воин. У англичан было сорок пять тысяч людей; потеряв два батальона, они решили не бороться с нами, они быстро покинули остров. Крет-а-Пьерро хорошее место — помни это. Французы не могут его миновать. Если бы то были англичане, если бы то были испанцы, какое бы тут было сомнение, — а сейчас как мне оправдать эту войну? Я знаю, что я прав: французы приехали восстановить рабство. Придется ждать, чтобы события развернулись сами.

— Можно ли спросить, отец? — заговорил Плацид.

— Да, спрашивай, пока есть время, — ответил Туссен.

— Можно ли узнать, что везет Исаак Леклерку?

— Он везет четыре слова от меня и вырезку из парижского «Монитора», где твердо, ясно и определенно вещи называются своими именами. Там сказано: для спасения европейской торговли и водворения мира Первый консул решил твердой рукой подавить восстание черных людей на Мартинике. Там водворяется прежнее положение плантаций и факторий.

— Откуда эта газета? — спросил Плацид. — Верно ли, так ли это?

Лицо юноши стало серым, он так волновался, что нервная дрожь передалась лошади, — она рванулась в сторону.

— Тише, тише, — сказал Туссен. — Дартигойты и маркиз Шанфлери делали из этой газеты пыжи для ружей. Эта газета с кораблей Леклерка. Я вернул ему этот обрывок и на нем же написал четыре слова:

«Я вам не верю». Но, повторяю, Плацид, война будет страшно трудная, потому что дело идет о Франции. Франция Сантонакса, Польверэля, Франция Эльхо, Франция Робеспьера и Марата не могла обманывать черных людей. Я доверил вас Сантонаксу, Эльхо отвез вас во Францию после смерти комиссара. Вы знаете высокие качества этих простых республиканских сердец. Каковы бы ни были воззрения Первого консула, какова бы ни была разница между его намерениями и действиями, между его словами о мире и делами, восстанавливающими работоторговлю, он запутал моих людей, он уже произвел раскол в сердцах. Торжествуют испанские попы, появились те, кого мы изгнали с острова, и есть опасные признаки возможного междоусобия. Война утомила, все хотят мира, и я тоже. Но я боюсь, что мне придется убеждать и побуждать к новой войне, а это кончится тем, что меня будут считать единственным виновником войны. Поэтому будем ждать.

Конюх подошел к Туссену, Плациду и к по очереди подъезжавшим офицерам. Проходные высокие залы дворца были полны людьми. У Туссена начался жаркий деловой день.

Вечером, после ужина, он простился с сыном. Плацид уезжал повидаться с матерью, а потом

ему предстояло принять участие в войне с 48-м батальоном, с полком орлеанских драгун, которые под командой генерала Гальбо выступили с высот Капа в направлении Крет-а-Пьерро. Прощаясь, Плацид опять хотел говорить об Исааке. Туссен его сурово остановил:

— Не поддавайся предрассудкам крови, сын, — сказал он, — помни слова аббата Рейналя. Но если хочешь знать, я страдал не меньше твоего. Моя мать имела пятерых детей, я и твоя тетка в Деннери, мы были старшими. Ты помнишь своего деда, его разорвали собаки, когда ему исполнилось восемьдесят четыре года. Потом моя мать принадлежала испанскому господину; она была еще хороша собой, стройна и голубоглаза. От нее родился Адонис Бреда, погибший в Париже, а тот, кто сейчас, называет себя моим братом и кто принял мое новое имя, — Поль Лувертюр, это сын мулата Цюбала, рожденный от моей же матери. Но не желаю тебе встречи с Исааком, ибо вижу, что ты не поручишься за себя.

— Да, — сказал Плацид, — я размозжу ему череп.

Туссен покачал головой и пожал руку сыну. У садовой калитки отдали лошадей. Кучер, почтенный старый негр, уложил небольшой багаж Плацида, обнял Туссена и, похлопав по плечу своего пассажира, захлопнул дверцу маленькой воланты. Лошади мягко затопали восьмью копытами по пыльной дороге.

Через восемь дней Туссен получил известие о смерти Плацида у черных ворот Артибонита. Он ничего не сказал и тотчас же приступил к своей очередной работе. Дессалин писал:

«Французские войска приблизились ночью,

без огней . Наш лагерь был в долине, в крепости оставалось тысяча двести человек. Все спали, дремали и часовые, опершись на ружья. Французы, замеченные нами, были подпущены на ружейный выстрел, после этого я дал тревогу. По сигналу весь лагерь снялся и бросился в крепость. Французы без выстрела заняли долину. Я слышал их ликующие голоса, я слышал крики: «Да здравствует генерал Дебелль!» И вот от ворот Артибонита им в тыл ударил отряд Плацида Лувертюра. Генерал Будэ был убит у французов, но Плацид оказался прострелен семнадцатью пулями. Мы приготовили его тело. Доктор Мокайя говорит, что оно тебя дождется, не тронутое тлением. Я приказал искрошить тысячу семьсот французов перед домом, где лежит покойник. Леклерк в ярости. Он послал дивизию генерала Дюгуа и 19-й легкоконный полк.

Разведчики принесли нам сведения, что Леклерк взбешен и во что бы то ни стало хочет занять Крет-а-Пьерро. Он согласен кинуть туда всю армию. Пусть. Французы оценили мою голову. Я написал письмо Леклерку, чтобы он не тратил напрасно денег. Я нарочно появился с саблей, нарочно ворвался верхом в их ряды, я назвал свое имя и кричал: «Да здравствует свободная республика!» Старые французы перестали стрелять, они окружили моего коня, они бросили ружья и рукоплескали. Нынче ночью полк расформирован, французы расстреливают своих. Ночью, услышав выстрелы, я понял, в чем дело. Мы сделали вылазку из крепости, ползком пробрались к месту расположения штаба, мы сорвали палатку генерала Дюгуа, избили его самого, принесли вороха документов. Французы, несомненно, несут острову рабство. Посылаю тебе самую важную часть переписки. Морпа приближается и ударит на французов с тыла. Пусть попробуют, пусть узнают.

Мои солдаты не сомневаются в правоте войны, но тревожат меня вести из отряда Кристофа. Французские прокламации говорят о полном уничтожении рабства и о согласии французов на конституцию Гаити».

У самого входа в губернаторский дворец на стене красовался большой плакат. Напечатано было следующее:

«Вы возбудили наше уважение, мы с удовольствием признаем и провозглашаем важные услуги, которые вы оказали французской нации. Если национальное знамя развевается в Сан-Доминго, то этим Франция обязана вам, генерал Туссен, и вашим храбрым неграм. Помните, генерал Туссен, что если вы первый из людей вашего цвета достигли такой высокой степени могущества и отличились такой храбростью и дарованиями, то вы должны также ответствовать перед богом и людьми за поведение своих подчиненных.»

Верхняя часть плаката оторвана, под оставшимися строками подпись:

Наполеон Бонапарт , Первый Консул

л .

## 12. ЧЕРНЫЙ КОНСУЛ

Приготовьте ему паутину. Наполеон, Записка к Фуше.

«Что это? — думал Туссен. — Вместо губернаторского бюллетеня о нападении Франции на Кап и Крет-а-Пьерро, о высадке французской армии по городу развешаны плакаты с письмом Бонапарта на имя Туссена Лувертюра. Французы ведут себя так, как будто они не воюют вовсе. Первый консул пишет дружественные письма, а французский генерал простреливает семнадцатью пулями сына Черного консула».

На Мартинике, в Гваделупе полностью восстановлено рабство. Разведка с испанской стороны показывает оживление негровладельческих рынков. Звероподобные капитаны, торгующие «черным деревом», потирают руки, ожидая барышей, а здесь прокламация Наполеона Бонапарта, напечатанная незаконно и тайно, возвещает мир и братство черному племени и рассыпается в похвалах вождю негров. Сто семьдесят офицеров посланы во все концы острова — самые опытные люди, беззаветно преданные делу гаитийской свободы. Проходят недели, и со всех концов острова привезены разнообразные прокламации, отпечатанные то в корабельной типографии эскадры Леклерка, то в восстановленном Кале, и, наконец, прокламации, напечатанные в Луизиане, с уведомлением, что Испания на веки вечные уступила Луизиану Франции. Прокламации, мирные обращения к населению Гаити, с указанием, что французское командование не верит во враждебные намерения негрских генералов. Сообщение, что мулат Риго арестован за враждебные выступления против Туссена Лувертюра и выслан за пределы острова. И, однако, все новые дивизии вводит генерал Леклерк в битву на подступах к ущельям Крет-а-Пьерро. Он совершенно разбил Кристофа, не дав ему соединиться с Дессалином, он двинул 18-ю дивизию на Сен-Марк, для того чтобы выбить оттуда негрского генерала Морпа и Лаплюма. Генерал Ганта и полковник Линда ночью окружили Сен-Марк. Утром ударили пушки по городу. Ответа не было. К полудню разведчики показали, что город был пуст и все деревянные строения сожжены. При входе французских генералов на рейде взорвался корабль. Последние кучи золы говорили о том, что береговые провиантские склады сожжены дотла. Никаких следов Морпа и Лаплюма нет.

— Это серьезный успех, — заявил Леклерк.

Он писал морскому министру:

«Я потерял шестьсот человек убитыми, у меня две тысячи больных. Мое военное положение

не плохо, как вы увидите, гражданин министр, но оно станет плохим, если вы быстро не придете ко мне на помощь».

Армия Морпа и Лаплюма совершенно исчезла. Французские кавалерийские отряды тщетно разыскивали по дорогам следы ее пребывания. Это исчезновение восьмитысячного отряда прекрасно вооруженных негров беспокоило Леклерка больше всего. Он боялся удара с тыла, тем более что не знал, чем и как кончится дело под Крет-а-Пьерро. Это проклятое место, равно как и другие почти недоступные горные крепости негров, внушали ему целый ряд опасений. Людей косила желтая лихорадка. Люди в страшном бреду сходили с ума, резали своих товарищей. Леклерк писал:

«Гражданин министр, корабль „Верите“, который должен был обслуживать нас как госпиталь, оказался снаряженным настолько плохо, что на нем не оказалось оборудования даже для шестисот больных. Городские пожары повсюду, куда ступает нога француза, уничтожают все».

Клерво занимал Порт-о-Пэ, все попытки овладеть дорогами и нанести ущерб генералу Клерво были тщетны. Леклерк приходил в отчаяние, нервы не выдерживали, он уже сожалел, что не пошел прямо на Сан-Доминго. Но жертвовать богатым, великолепным городом было бы слишком неблагоприятно. И вот появилось предписание брать возможно больше пленными, воздерживаться от жестокостей, выбирать грамотных негров и отправлять их обратно, одарив и с легальными французскими паспортами, обеспечить право перехода демаркационных линий за теми неграми, которые отказываются сражаться, восстановить торговлю с мирным населением.

Был сформирован особый «мирный» батальон. Он занимал негрские поселки, раздавал деньги, возвещал мир и уходил. И вдруг этот «мирный» батальон напал на след отряда негрского генерала Морпа около местечка Плезанс.

Четыреста человек негров, входивших в состав этого батальона в качестве пленных, отправились в отряд Морпа без оружия, с белыми флагами. Они кричали, что не хотят воевать, они показывали новые документы, выданные французским командованием. Морпа приказал их арестовать, но черные люди перемешались, пленные влились в отряд Морпа и сразу его дезорганизовали. Морпа, который получил уже приказание Туссена идти на выручку Кристофа, не знал, что ему делать. Бунтующий лагерь, палатки на границах саванны, за которой простиралась песчаная пустыня с черными пальмами на горизонте, — все казалось настроенным против черного генерала. От него отшатнулись даже офицеры. Он переходил от одного к другому, они вежливо, но упорно молчали; если трое или четверо говорили, то несколько шагов в сторону этой группы со стороны Морпа заставляли ее расходиться. Один молодой негр сказал:

— Генерал, мы не знаем, за что мы воюем. Это те же люди, которые посылали нам Сантонакса.

И вот, связав Морпа по рукам и ногам, привязав его к коню, негры снялись с лагеря и пошли в направлении штаба генерала Дефурно. Нестройно они демаршировали к левому флангу французских войск, как вдруг на повороте, на пригорке, они увидели четыре горных пушки, а навстречу им на рысях мчался эскадрон черных гусар, имея впереди знакомого маленького командира.

Два зеленых штандарта на копьях с буквами «Туссен Лувертюр», горнист трубит поход. Смущенные негры отряда Морпа, попавшие в плен к своим собственным братьям, шедшим на сдачу к генералу Дефурно, остановились и стали строиться в колонны. Им навстречу с другого горного ската спускались левофланговые части генерала Дефурно. Встреча была неизбежна. Туссен был между неграми, сдающимися в плен, и французским отрядом, идущим

навстречу. Туссен понял в мгновение ока и привстал на стременах. В это время защелкали курки, несколько пуль пролетело, смахнув его шляпу, он поймал ее левой рукой и крикнул:

— Вы звали меня

Отцом , теперь вы хотите стать

отцеубийцами ! Кто за свободу, тот идет со мной!

Четыреста негров, как один человек, рядами становились на одно колено и поднимали к небу правую руку. Французский отряд не сдержался, начался беглый огонь, и в перестрелке пали четыре офицера, окружавшие Туссена, и пятнадцать кавалеристов.

Атака французов была отбита. Туссен быстро восстановил положение, он сам повел в бой отряд Морпа. Плезанс был занят в течение двух часов, Дефурно был выбит и бежал разбитый.

Двое суток Туссен и Морпа пробивались на север, чтобы выручить окруженного Кристофа. Неподалеку от Кала, в том месте, где были фактории и плантации сеньора Бреда, именем которого назывался сначала Туссен, в том самом месте, в том самом доме, где Анита родила ему детей, Туссена встретили французские парламентареры.

Испытание оказалось слишком сильным. Туссен, усталый и измученный, лежал на полу, холодную воду выливали ему на волосы, кровь ручьями бежала из носа. И в таком состоянии он читал письмо. За двумя подписями генеральный правитель Сан-Доминго — генерал-капитан Леклерк и наместник Сан-Доминго — негрский генерал Анри Кристоф сообщали Туссену о состоявшемся примирении негрского и французского оружия. Путь Дессалину был отрезан. Клерво был разбит, Лаплюм застрелен неизвестным злоумышленником. С тяжестью на сердце Туссен выслушал эти вести.

Кристоф писал:

«Надо выждать, пока воочию не убедимся в справедливости слов генерала Леклерка, и будем надеяться, что свобода нашей республики ему будет так же дорога на деле, как сейчас в его клятвах и обещаниях. Я остался один, мои люди бежали. Всем хотелось скорее к своим хижинам, к своим женам и детям. Наступил сбор ванили и кофе, скоро задымят сахарные заводы. Мы пожгли слишком много мельниц, война подорвала наше хозяйство».

Туссен сформировал в течение трех дней батальон, сплошь состоящий из офицеров одного и того же черного братства. Это были шестьсот отборных, вернейших, честнейших людей. Он распустил отряд Морпа, он собрал новую часть из культиваторов, поодиночке скликая их на полях. С этой маленькой армией он ушел в горы и скрылся в неприступных извилинах; его надолго спрятали неприступное лоно Матери земель.

Леклерк внезапно снял осаду с Крет-а-Пьерро, известив Дессалина, что война кончилась, так как Кристоф и Туссен сдались. Он не предлагал никаких условий, он просил только прекратить военные действия, так как у него с французской армией и у вождей свободных негров нет никаких предметов вражды.

Дессалин произвел разведку, она обнаружила свободные дороги и нигде не нашла следов французской армии. Двадцать тысяч негров, работающих по вольному найму, заново отстраивали Кап. Нигде не произнесено ни одного слова о рабстве. Земля, поделенная после ухода англичан и испанцев, осталась за неграми, зато возникли десятки легенд о честолюбии Туссена и о том, что враждою с Францией он желает усилить свою власть.

— Значит, Туссен еще не в руках Леклерка. Лгут эти генералы, — говорил Дессалин, — лгут,

— и направил к Туссену братьев Дартигойт и лейтенанта Сегонда — маркиза Шанфлери. Все три француза совершили чудеса храбрости и проявили себя верными сторонниками негров. Но осада была снята, дороги были пусты. Повозка, запряженная волами, отбитыми у французов, была отправлена в Деннери. Негр провожатый и три француза сопровождали гроб Плацида. Предполагали там найти Туссена, ибо там была его семья, его старая Анита, ее сестра, племянники и племянницы, жившие все в тех же белых негритянских хижинах, что и раньше.

Третью ночь волы везут по горам гроб. Дартигойты беседуют с негром. Сегонд молча покуривает трубку в раздумье о превратностях своей судьбы. Негр без умолку рассказывает о себе. Он строитель главных сахарных дефибреров, системы валиков, отжимающих сахарный тростник и дробящих его стебли. Он главный инженер двухсот сахароварен, — война оторвала его от дела.

В свою очередь братья Дартигойт рассказывают свою историю. Во флот они приняты по приглашению покойного старшего брата. Он служил в полку Шатовье и был главным участником восстания полка. Когда началась революция, то полковой командир и офицеры с дворянскими патентами прекратили выдачу жалованья солдатам. Шатовьеские батальоны были заперты в казармы и не получали пищи, так как слишком уж резко сказалась их приверженность революции. Потом они были выпущены, но денег не получали и жили впроголодь. Тут они решили выбрать полковой комитет, и, чтобы не производить беспорядка, девятнадцать человек в полку в качестве депутатов пришли к командиру.

Солдатские депутаты — это неслыханный в истории мира бунт. Первый министр революционной Франции, начальник парижской Национальной гвардии маркиз де Лафайет узнал об этом.

Требование солдат было справедливо, жалованье платить необходимо, господа дворянские офицеры сделали «ошибку», расхитив полковую казну, но граждане солдатские депутаты совершили преступление, нарушив воинский устав выборной системой, заменяющей строгую военную иерархию. Офицеры получили выговор, солдаты не получили жалованья, депутаты были приговорены к повешению. И вот тут двое из этих депутатов, приговоренных к смертной казни, бежали в Брест. Там был набор матросов. Старший брат, посвидетельствовав, что они всю жизнь торговали табаком в Бресте, принял их на борт. Потом все трое были в Тулоне, бились с англичанами, которым Жиронда и буржуа сдали французский порт. Под командой Бонапарта стреляли из орудий береговой обороны по английским кораблям и по городу, где раздавались безумные крики контрреволюционного мятежа, где английские королевские знамена нагло поднимались руками озверевших французских дворян над кровлями правительственных революционных зданий.

— Тулон — это страшное место, — говорили Дартигойты, — и если бы не генерал Бонапарт, то там начался бы десантный поход англичан вглубь Франции.

— А что с вашим полком? — спросил внезапно лейтенант Сегонд.

Дартигойты оживленно, наперебой, быстро заговорили:

— Полк! Полк был расформирован, и из него был сделан штрафной батальон. На всех надели красные колпаки каторжников и направили в Тулон, чтобы посадить на галеры, а они повернули на Париж и в красных колпаках и в карманиолах прошли по улицам мировой столицы. Замечательный наш город Париж! Он принял этот полк, он его усыновил. Секции Парижа расквартировали революционных солдат, и как форму революционной Национальной гвардии санкюлоты приняли фригийский красный колпак. Синий цвет Парижа, белый цвет короля и красный цвет шатовьеских каторжных колпаков составили трехцветное французское знамя.

— Но нам теперь дороже черное знамя, которое Дессалин поднял над портами Крет-а-Пьерро, — сказал Сегонд.

Разговор был прерван криком «стой». Французский конный разъезд остановил повозку, проверяя, кто идет и что везут.

Белые люди с гробом черного человека навели на подозрение французских офицеров. Начальник разъезда спешился, начал допрос, и так как Дартигойты упирались, а негр упорно молчал, то принялись за маркиза Шанфлери. У него нашли письмо Дессалина Туссену Лувертюру. Одна половина была надорвана и измельчена настолько, что прочитать было невозможно; другая кончалась словами: «Я также согласен сложить оружие и выждать осуществления Францией обещания. Если погибнут регулярные черные войска, то нам не с кем будет выступить потом; если наша армия уцелеет, мы всегда сможем ее поднять против французов. Я благополучно довел армию Леклерка до половины прежнего состава. Скажи Аните, чтобы не слишком плакала над гробом Плацида».

Пока офицер читал это письмо, Шанфлери быстрым движением выхватил у него пистолет из-за широкого кушака и выстрелил себе в висок. Братья Дартигойты, как французы, были допрошены с пристрастием. Они кричали:

— Мы видим, каких солдат набрал Леклерк. Будьте вы прокляты, вы шоферы note 14, а не матросы!

Но разговор был короток: разъезд из отряда полковника Брюнэ, действительно, составленный по специальному отбору из отбросов мародерских частей, коротким залпом расстрелял обоих Дартигойтов. Волы с гробом Планида свернули с дороги, разъезд направился в штаб отряда. Полковник Брюнэ приказал выкинуть труп Плацида за пределы лагеря и улыбался, раскрывая рот до ушей, когда ночью слышал, как одичавшие псы подвывают, разнося на части покойника.

Утром полковник Брюнэ послал в Деннери семье Туссена обрывки письма, перехваченные у застрелившегося Шанфлери. Он писал так, как будто наверняка знал, что Туссен будет в Деннери. Он извещал Туссена, что Шанфлери умер в дороге насильственной смертью, но что он считает своим долгом препроводить ему остатки письма генерала Дессалина. Леклерк шлет ему привет и поздравляет с наступлением мира.

Туссен получил письмо, он не сомневался в его подлинности. Рука Дессалина, его откровенность, рассчитанная на специального посла, все это было до такой степени правдоподобно, что сомневаться было нельзя. Он внезапно почувствовал холод страшной изоляции, незаслуженного одиночества, и его охватило томительное чувство конца. Анита сказала ему, что Поль Лувертюр находится в штабе Леклерка, принят с почетом, что Анри Кристоф в чине французского генерала получил под свое командование 1500 солдат смешанного отряда.

Старая негритянка ворчливым басом произносила фразу за фразой, кротко и внимательно украдкой глядя на мужа в те минуты, когда он казался погруженным в свои мысли. Она разводила руками и говорила:

— Я женщина и старуха, я никому не верю из этих людей, но что же ты будешь делать? Ты возьмешь один солдатское ружье, пойдешь, встанешь перед французскими генералами и будешь стрелять один. Ты будешь опять один, и остров останется без тебя, семья останется без тебя. Покой уйдет с острова, непокой посетит наши села, а тебя уже не будет, чтобы снова вернуть покой.

Туссен и его любимая негритянская девятка выехали в совершенно неприступное соколиное гнездо. Там на огромной высоте, в каменной пещере, выходившей на морской берег, в густую

заросль, было свезено уже давно достаточно продовольствия и снаряжения. Оттуда видны были костры, которыми предупреждали друг друга негритянские посты; оттуда в подзорную трубу было видно море на тысячу туазов; туда не проникал ни дождь, ни ветер; туда было почти невыносимо пробраться, не вымерив расстояния для конского прыжка в пропасть, и только в одном месте конь мог взять этот прыжок через ущелье и не сорваться задними копытами, а из пещеры к морю можно было пройти только ползком неширокому человеку, слегка изодрав плечи.

Вот в этом соколином гнезде мальчишки Плацид и Исаак в детстве развели выводок азорского сокола, и редчайшая птица Атлантиды, оставшаяся только на одной скале Азорских островов, привилась в этом горном ущелье, словно соединялись снова концы материка, разъединенные океаном, наступавшим на сушу. Анита и мальчик негр по имени Айка знали эту дорогу.

Леклерк прекрасно знал теперь свою ошибку. Думая встретить неразумное скопище рабов, привезенных когда-то негритоторговцами во французские колонии, он полагал, что поход в Гаити будет увеселительной морской прогулкой. Полина Леклерк, его жена, ехала окруженная целой свитой, она не без иронии говорила с детьми Туссена, считала их исключением в негрской семье и приписывала Парижу влияние, облагораживающее мысли, которые так пленительно и красиво формулировал молодой Плацид.

Но вместо скопища рабов, вместо пестрой толпы кое-как вооруженных людей они встретили крепкую, закаленную в англо-испанской войне армию черных людей. Черные офицеры, черные инженеры, черные врачи; крепкая черная конница; прекрасная горная артиллерия, которую английские купцы продали Туссену для борьбы с Испанией; старые испанские пушки, которые испанские купцы продали Туссену для борьбы с Англией; сильные форты, удвоившие вооружение со времени Людовика XV благодаря стараниям артиллерийского генерала Дессалина; смелые глаза негрских солдат, открытая походка матросов черного фрегата; их песни о свободе Гаити, их песни о Матери земель, их песни о Черном генерале, к которому они относились, как дети относятся к отцу, — все это сначала испугало Леклерка, потом раздражило его против французского командования. Его собственные войска, после гибели половины отряда под Крет-а-Пьерро, сильно изменили свое отношение к войне.

На острове появилась страшная вещь — желтая лихорадка, которой не болели негры и которая косила людей по рядам и батальонам. Ужасное зрелище больных пугало здоровых. Одновременно и усталость негров и французов заставила Леклерка написать письмо министру Декре:

«Ослабляя негрскую армию, мы ослабеваем сами, гоняясь за необходимостью выиграть время. Если обстоятельства иногда вынуждают меня, гражданин министр, как будто уклоняться от буквальной цели врученной мне инструкции, поверьте, что я не теряю ее из виду, что я иду на уступки, крайне тяжелые, только для того, чтобы овладеть ими всецело и приспособить эти обстоятельства к выполнению моего плана. Ввиду того, что мои отчеты, которые вы неосторожно, гражданин министр, отдаете в печать, вчера оказались напечатанными Туссенем в здешних негрских газетах, я прошу вас запретить печатание моих донесений.

Было бы не политично оглашать в Париже что бы то ни было, что указывает на наши стремления разрушить идеи свободы, равенства и братства, которые здесь у всех на устах» .

Прибыв в Деннери, Туссен нашел у себя письмо Леклерка от 1 мая 1802 года. Леклерк писал:

«Мне Первый консул поручил управление островом от имени Республики до того момента,



когда конституция Гаити будет утверждена законами метрополии. Забудьте прежнее, я считаю вас преданным делу государственного управления и общественному благу колоний. Вы оправдаете надежды Первого консула, если согласитесь мне помогать ежедневным советом вместе с вашим братом Полем Лувертюром и вашими генералами. Мы согласились на следующие условия, предложенные мне от вашего имени...»

Туссен вскочил и ударил кулаком по столу:

— Кто предлагал?

— Что, что? — спросила Анита, гася кокосовый ночник и быстро запирая дверь.

Туссен вздохнул:

— Не пугайся, старуха, — сказал он.

Свет был снова зажжен. Туссен читал дальше:

«Полная и неприкосновенная свобода всех ваших сограждан, неприкосновенность и оставление в чинах и должностях всех гражданских и военных офицеров, назначенных вами.

Само собой разумеется, это условие, которое предлагаю я и которое я заверяю честным словом французского генерала, что вы и ваши друзья сохраните полную свободу продвижения по острову с вашим штабом и вашим отрядом. Мои желания суть только желания мира. Примите знаки восхищения и преданности. Генерал-капитан Леклерк».

ГЕНЕРАЛ-КАПИТАН ЛЕКЛЕРК — МОРСКОМУ МИНИСТРУ ДЕКРЕ 18 флореаля 10 год (8 мая 1802)

Гражданин министр, генерал Туссен отдался в наши руки. Он выехал сейчас отсюда, совершенно довольный и готовый выполнить мои приказы. Я думаю, что он точно их выполнит, ибо он убежден, что, если он их не выполнит, я сумею заставить его раскаяться в неповиновении. Очевидно, я внушил ему большое доверие, потому что он без оружия переночевал в штаб-квартире одного из моих генералов, причем с ним было только девять молодых негров. Я не теряю ни одной минуты для восстановления спокойствия и безопасности».

Полковник Брюнэ писал в Париж министру полиции Фуше:

«Гражданин министр, не памятуя прошлого, должен сказать, что в нашей колонии одинаково запоздали и Вандея и якобинский хмель; он бродит в головах с легкой руки гражданина Сантонакса, дело которого придется заканчивать, по-видимому, в два-три поколения, не меньше.

Здесь секретный агент Рош-Маркандье, именуемый литерой «А», разыгрывая из себя мулата, прибывшего с Ямайки, занимается торговлей и содержит целый штат «коммерческих агентов». Разъезжая по острову, они ведут точную регистрацию всем негрским вождям; у них записаны все артиллерийские расписания негров, они имеют в своих руках, главным образом через священников в католических испанских семьях, эти списки. Благодаря этому я располагаю уже сейчас именами 4087 офицеров младшего, среднего и старшего состава и имею в своих руках фамилии важнейших вождей негрского племени, числом 269 человек, которые по сплоченности, по фанатизму, по характеру принадлежности к тайной организации являются опасными не только для Франции, но и для всего цивилизованного человечества. Они представляют собой организацию Вольных каменщиков, построенную по типу конспирации аббата Рейналя в Германии и в Англии. Совершенно несомненна их связь с

некоторыми членами Конвента. Бывший аббат Грегуар, голосовавший за смерть короля Людовика, часто упоминается у них, но связь с ним не установлена.

Вы приказали сделать так, чтобы паутина была готова к сентябрю, уверен, что это так и будет, но самое трудное — это «мудрость» генерала Леклерка. Он боится высылать негров. Две армии, армия Клерво и армия Дессалина, представляют собой истинные революционные клоаки, перед которыми Якобинский клуб ничто. Это настоящие республиканцы, дерзкие, прекрасно владеющие оружием, опасные негры-террористы. Они прекрасно знают военное дело. Они готовы умереть друг за друга, эти негодяи, и так как у нас в войсках желтая лихорадка косит людей и дня не проходит, чтобы побледневший человек не выскочил из строя с диким воплем, в бреду и, покрываясь потом, не набросился на командира, — то среди наших солдат появляется ропот. Желтая лихорадка не берет негров, пули не берут Туссена, разведчики показывают, что в горах скопляются многотысячные отряды негров. Кристоф сидит в штабе Леклерка, к нему ежедневно приезжают адъютанты. Эти черные офицеры с гордостью проходят мимо наших постов, не отдавая чести старшим по команде, они прямо проходят в кабинет Кристофа и прямо сносятся с ним. Генерал-капитану, конечно, виднее, он имеет, по-видимому, непосредственные инструкции Первого консула, но он играет с огнем, а мы все время ссорим между собой вождей черных отрядов.

Знаете ли вы, что произошло? 5 мая внезапно в штаб-квартире у Капа, в том самом месте, где граф Ноэ отмечал впервые таланты Туссена, на плантации, купленной у сеньора. Бреда, появился черный генерал Туссен Лувертюр. Он был верхом, без оружия, спокойный, с девятью офицерами. Он въехал во двор штаба с таким видом, как будто он входит в собственный дворец в Сан-Доминго. Генерал Леклерк и офицеры французского штаба вместе со мною вышли ему навстречу. Он спешился и пошел навстречу генерал-капитану. В это время Поль Лувертюр, его брат, кинулся ему на шею. Туссен нахмурил брови, поднял левую руку и отступил шаг назад со словами: «Остановитесь, воздержитесь от всяких свидетельств вашей пошлой дружбы, я не могу принять от вас ни знаков братского, ни знаков воинского подчинения до тех пор, пока не услышу заверения гражданина генерал-капитана». Он правой рукой дерзко указал на Леклерка, в то время как наш старый генерал, заслуженный генерал, никогда не забывающий, что он женат на родной сестре Первого консула — гражданке Полине Бонапарт, стоял на ступеньках веранды и держал руку под галуном треуголки, словно на параде перед Первым консулом Франции.

Сверкая белками, этот Черный консул дерзко сказал, обращаясь к брату: «Вы обязаны все ваши шаги соотносить с нашим решением, особенно в те часы, когда перед заходом солнца остается высчитывать минуты».

Ясно, конечно, что главный адъютант Леклерка, лейтенант-полковник Рошамбо, и сам генерал-капитан, все мы почувствовали неприятный озноб при проявлении такого высокомерия в присутствии высшего командования Франции. Я не был свидетелем беседы генерал-капитана с Туссеном Лувертюром. Знаю только, что никто из негрских командиров не виделся с Туссеном. Когда генерал Анри Кристоф подошел приветствовать Туссена, на лице последнего отразилась горечь. Он поднял правую руку, Кристоф сделал то же, они приложили ладонь к ладони на высоте лица друг друга и разошлись молча. Из этого самого заключаю, что они враги навеки. Буду усиливать эту вражду.

В кантоне Гонаив есть местечко Деннери. По распоряжению главного штаба от имени Первого консула, это место переименовывается в город Лувертюр, в честь Черного консула. Там определено его местопребывание. Генерал Леклерк поручил мне обеспечить почетный ночлег Черному консулу. Мы шли с ним пешком полтора километра до моей квартиры. Негры и французы выбегали из палаток, негры становились на одно колено и поднимали правую руку к небу, у некоторых на глазах стояли слезы. Было такое впечатление, что какой-то новый апостол идет с проповедью новых откровений, и в глазах наших солдат я не прочел вражды к этому человеку. Он очень опасен, этот Туссен Лувертюр.

Утром на заре я услышал шорох в его комнате. Сержант Мишле прибежал ко мне и сказал, что Туссен и его девять офицеров спали крепчайшим сном; никто не выходил, никто не подползал; кордон и эскадрон орлеанских драгун не спали всю ночь. Итак, прежде чем проститься с Туссеном, я выслал по всей дороге в Деннери два эскадрона, по три справа и слева от дороги; они должны будут следить все время за путешествием Туссена в его заштатную резиденцию.

Рош-Маркандье послал в Деннери двух корсиканских сержантов под видом торговцев. Оба свяжутся со старостой тамошнего почтового пути, раз в двое суток отправляющегося с кожаной сумкой на муле из города «Лувертюра» до морской почты в Кале.

Со знаками всяческого почтения я провопил Черного консула и девять его адъютантов, молчаливых, молодых, весьма неприятно загадочных негров.

Для чего приезжали эти девять человек? Они ни с кем не сказали ни слова, они сопровождали Туссена с таким видом, как будто охраняли какую-то святыню. Они почти не прикоснулись к еде, но каждый осторожно и незаметно пробовал кушанья, предложенные Черному генералу. Они прекрасные наездники; не держась за луки, без стремян, они с разбегу вскакивают на коня, из них самому старшему, мне кажется, девятнадцать. Что они за люди? Что это за порода людей? Я пытался, в порядке дисциплины штаба, спросить их фамилии. Все они делали вид, что не говорят по-французски. Переводчик сообщил мне такой вздор, в котором не было никакого смысла. А между тем сержант Мишле видел, с какой жадностью они набросились в штабе на французские газеты в тот час, когда они больше всего были уверены, что ни один человеческий глаз их не видит. У меня такое впечатление, что Туссен является начальником огромной секретной организации острова и что он самый опасный человек из всех врагов Франции. Я исполнил приказание господина министра и пишу подробно не только факты, но и свои соображения. Корабль «Мезон» готов. Первую отправку мы предлагаем сделать в шестьсот человек.

Начальник секретной полиции, адъютант генерал-капитан Ромуальд Брюнэ».

Ночью при факелах проходили мимо широких каменных труб, несших из-под земли сладкий пар глубоких подземных сахароварен. В заброшенной лачуге съехались Дессалин, Кристоф, Клерво, Морпа и Туссен Лувертюр. Обменялись пакетами почти молча, назначили сроком сентябрь, так как, по-видимому, Франция, предполагая, — говорил Дессалин, — в сентябре уже применить подробно разработанную инструкцию репрессий и рабства, до того выработала негласную тактику.

Туссен должен был оставаться в стороне; его принадлежность к штабу Леклерка помешала бы выступлению на стороне людей своего племени, его открытые выступления против Леклерка или призывы против французов компрометировали бы тех негрских генералов, которые были в силу соглашения привлечены Леклерком для помощи по управлению колониями. Итак, выхода не было, нужно было демонстративно объявить о разрыве перед французами и прекратить свидания до августа месяца. На этом расстались. ПИСЬМО ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНА ЛЕКЛЕРКА ВОЕННОМУ МИНИСТРУ ДЕКРЕ

«18 флореаля 10 года (8 мая 1802).

Гражданин министр, болезнь производит разрушительные действия в армии, находящейся под моим командованием. Вы убедитесь в этом из рапорта, прилагаемого мною к письму о состоянии французского оружия в колониях. Вы увидите, что армия, в которой еще недавно мы числили под ружьем двадцать шесть тысяч солдат, завтра едва может насчитать двенадцать тысяч штыков. Сверх того, из них полегло в госпитали и больницы три тысячи шестьсот человек. Я ежедневно теряю от тридцати до пятидесяти человек в колониях, и не

проходит дня, чтобы в госпиталь не поступило от двухсот до двухсот пятидесяти человек больными. Спасутся из них не больше пятидесяти. Госпитали переполнены. Я отдаю на лечение солдат все мои заботы, но обратите внимание на то, что я явился сюда и наше появление вызвало пожары. Главные здания сожжены в городах, сожжены госпитальные корабли, все мое госпитальное оборудование относится к прошлому, гарнизоны, стоящие в городах, сильно страдают от отсутствия казарм, солдатам не хватает гамаков, так как они все перешли к флоту. Гибель человеческого состава армии поистине ужасна, и врачи уверяют меня, что это еще только начало. Что может быть страшнее этой болезни — желтой лихорадки? А между тем, чтобы

стать подлинным хозяином Сан-Доминго, мне необходимо самое меньшее двадцать тысяч человек солдат, обязательно вывезенных из Европ

ы .

Больше нельзя терять ни секунды, посылайте подкрепление немедленно, чтобы не ухудшилось мое теперешнее и без того плохое положение. Я приготовил корабль «Мезон», он пойдет на Корсику, для того чтобы отвезти сто двадцать вожаков, самых опасных негров, которые будут арестованы на днях. Это очень опасные люди, распорядитесь заключить их в самых уединенных замках Корсики».

Но дни проходили за днями, — европейская помощь не приходила. Леклерк чувствовал надвигающуюся грозу, капитан корабля «Мезон» сообщил, что Исаак Лувертюр «нечаянно упал с борта и утонул». Ничто так не действовало на Леклерка: эта нечаянность навела его на худшее подозрение. Встревоженный, в тягчайшем состоянии духа, он хотел уведомить Туссена, но раздумал. Как раз в эту минуту пришел перекрашенный мулатом Рош Маркандье. Он принес перехваченное письмо Туссена Лувертюра, в котором золотыми чернилами был подчеркнут один абзац:

«Я решил, что месяц жерминаль обошелся Франции в двести человек, умерших от желтой лихорадки, месяц флореаль стоил им тысячи восьмисот человек, прериаль уже в самом начале дал двести заболеваний. Французы бросаются на ниоппу, ниоппа помогает желтой лихорадке. Знаешь ли ты, что ниоппу ввезли из Луизианы сами же французы, для того чтобы травить наши же войска? Среди наших негров нет никого, кто применял бы ниоппу; наши братья держатся стойко в несчастье. Пиши мне, как всегда, Анита меня найдет».

Леклерк положил руку на письмо, спросил:

— Кому адресовано?

Рош-Маркандье пожал плечами:

— Оболочка и начало письма уничтожены. Человек, несший письмо, покончил с собой.

Леклерк вздрогнул и отпустил Рош-Маркандье. Он хлопнул в ладоши:

— Вызвать полковника Брюнэ!

Вестовой отправился за полковником. К ночи Брюнэ был на месте. Совещались вдвоем долго и спорили горячо. Леклерк настаивал на аресте Туссена. Брюнэ — на аресте Дессалина и Кристофа. Брюнэ говорил:

— Я не верю, чтобы эти два мошенника серьезно разошлись с Туссеном. Эта ссора для виду.

— А я уверен, — спорил Леклерк, — что, если я прикажу Дессалину произвести арест Туссена, он сделает это не сморгнув. Я прекращаю спор, — сказал Леклерк, — и приказываю вам дать распоряжение, чтобы капитан «Героя» стоял на якоре за мысом Деннери, чтобы два

шлюпа дежурили у берегов. Вы займете Деннери с небольшим отрядом, сообщив почтительно семье Туссена, что у вас есть сведения о готовящемся покушении на Черного генерала. Сошлитесь на то, что у него есть завистники среди бывших черных друзей. Остальное вы знаете. Необходимо, чтобы через полчаса после ареста он был на корабле.

Мальчик привстал на стременах лошади, наклонился вперед, стиснув коленями бейнфутера, и почта отпустил поводья. Лошадь с тихим свистом перенеслась через ущелье. Вот задние копыта примкнули к передним, вот в одну точку ударились все четыре конские ноги на узкий, короткий выступ противоположной скалы. Лошадь весело заржала, мальчик сел плотно в седло и случайно оглянулся. Сержант французской гвардии летел ему вдогонку, не видя прыжка, и кричал, размахивая кивером, грозил выстрелом из пистолета. Заведя лошадь за выступ скалы, мальчик соскочил. «Такого случая упускать нельзя», — мелькнуло у него в голове. Он прилег за камнем и ожидал приближения скачущего офицера. Но все произошло иначе: смерть последовала без выстрела. Французский конь, не зная пропасти, оборвался с разбегу, и через мгновение легкий плеск на дне ущелья показал, что все кончено.

Майка первым долгом передал Туссену:

— Генерал, — сказал он просто, — здесь появилась гвардейская конница французов. Один офицер разбился, другой может перескочить. Нехорошо, что они здесь, — где один, там и другие.

Лицо Туссена стало серым, глаза потухли мгновенно.

Прежде чем Майка успел по поручению Черного генерала выехать в Деннери на разведку, на далекой вершине появилось два костра, и Туссен остановил Майку.

Два дня ходило письмо Туссена к Леклерку. Ответ Леклерка был короток. Генерал писал:

«Мне ничего неизвестно о занятии Деннери французскими войсками. Маленький отряд конницы с генералом Брюнэ объезжает морской берег. Вероятно, Брюнэ сейчас в Деннери. Есть сведения о том, что ваши бывшие друзья готовят на вас покушение. Вы редко посещаете наш штаб, я нуждаюсь в вашем совете. Если имеете какие-нибудь претензии, то повидайтесь с генералом Брюнэ и передайте ему мое приказание исполнить все ваши желания.

Генерал-капитан Леклерк».

«ПЕРВОМУ КОНСУЛУ 22 прериала 10 года (11 июня 1802)

Гражданин консул, я осуществил решение, которое должно принести колонии большое благо. Я, как я вам уже писал об этом, приказал арестовать генерала Туссена. Я посылаю вам его во Францию вместе со всей его семьей.

Эта операция была не из легких, но она удалась как нельзя более счастливо. В течение нескольких дней он объединил вокруг себя от шестисот до семисот землевладельцев и большое количество дезертиров. Он отказался явиться на два свидания, назначенные ему генералом Брюнэ. За несколько дней до того он написал мне, жалуясь, что я поставил отряды солдат в Деннери, которое он избрал своей резиденцией. Я ответил ему, что, во избежание всякого повода для жалоб с его стороны, я уполномочиваю его договориться с генералом Брюнэ на месте расположения отрядов в этом кантоне. Он отправился к генералу Брюнэ и там был арестован и посажен на судно. Человек двадцать его сторонников были арестованы

в окрестностях. Я отправлю их в Кайенну. Мною составлена прокламация, возвещающая о его поведении; тем не менее состоялись сходки и сборища, но я держу линию против Черного генерала и надеюсь восстановить порядок. Черные остались без компаса (руководства); все они разбились между собой. Сегодня арестовали одну из любовниц Туссена, явившуюся сюда с целью меня убить.

Туссен увезен — это значительное достижение, но черные снова вооружены, и мне нужны силы, чтобы их разоружить. Болезнь делает здесь страшные успехи, и невозможно рассчитать, на чем она остановится... Возможно, что к октябрю в Сан-Доминго не останется и четырех тысяч человек французских войск. Судите же, каково будет мое положение... Мое здоровье все еще плохо, и если бы мое положение было настолько прочно, чтобы мне можно было не беспокоиться, могу вас уверить, что я попросил бы у вас заместителя, но я буду делать все возможное и беречься, чтобы продержаться здесь еще шесть месяцев. К тому времени я все окончу, если конечно, морской министр не будет забывать обо мне, как он это делал до сих пор...

Не следует оставлять Туссена на свободе. Заключите его где-нибудь внутри республики, с тем чтобы он никогда более не увидел Сан-Доминго».

Генерал-капитан Леклерк спал, он выпил большую золотую чашку капского рома, густого, золотистого, ароматичного. Полина Леклерк поздравила его с успехом большого и сложного дня.

Четырехмачтовый фрегат, напрягая паруса и клонясь на левый бок, уже четырнадцать часов везет негрского апостола по волнам океана. Усиленные патрули утром и вечером, легкая перестрелка в Деннери. Шестьдесят восемь негрских трупов, повисших на кофейных деревьях, и полная тишина.

Веранда закутана муслином, погашена лампа с четырнадцатью кокосовыми фитилями, шандалы со спермацетовыми свечами, бронзовые, со стеблями голубого севрского фарфора, догорели один за другим. Походная кровать и человек в белом, слегка всхрапывающий и откинувший руку далеко назад. Вот зрелище походного кабинета генерала.

Госпожа Полина Леклерк-Бонапарт спит в больших покоях, слуги и две камеристки чутко спят в соседних комнатах.

И вдруг, среди полного покоя ночи, падение шандала разбудило Леклерка. Он встал, быстро нащупал огниво, но был повален. Холодная рукоятка зацепила его висок, он схватил тонкую хрупкую руку человека, стремившегося его убить, схватил его руку так грубо, что хрупнули кости и нож выпал из рук покушавшегося. Но другая рука схватила его за горло, началась борьба. Леклерк почувствовал, что перед ним женщина; быстро сдернул ремень с походной кровати, он перевязал ей руки за спину и тем же ремнем скрутил ей ноги ниже щиколоток. Все это молча, без единого крика. Потом спросил:

— Вы одна?

— Одна, — сказала она.

Леклерк зажег свечу. Перед ним на полу с разбитой нижней губой, из которой струилась тонкая полоска крови, лежала женщина. Леклерк сразу узнал француженку.

— Ну, что же все это значит? — спросил Леклерк.

— Это значит, что вы опозорили Францию. Это значит, вы на много лет запятнали

Республику, вы совершили бесчестный поступок, весь остров заговорит про предательство, все поднимутся как один человек. То, что вы делали, долго не умрет. То, что делали лучшие люди Республики, вы уничтожили одним бесчестным жестом подлой политики.

— Ах, вот как! — сказал Леклерк. — Кто вы такая?

— Я не обязана отвечать на этот вопрос.

— Чего вы хотели?

— Зарезать предателя Франции, предателя Туссена.

— Он ваш любовник? — спросил Леклерк с солдатской наглостью.

— Стыдитесь генерал! — ответила женщина. — Вы не знаете, кто этот человек, вы не знаете, что у него не было своей жизни, вы не знаете, как к нему относятся люди. До появления вашей эскадры, до сожжения Капа никто не сделал столько на земле добра, сколько сделал этот старый негр. Его чтили французские дети, матери выносили на дорогу ребят, чтобы показать путь, по которому проходил их вождь.

— Вы француженка? — прервал ее Леклерк.

— Да.

— Член Якобинского клуба?

— Да.

— Как ваше имя?

Женщина молчала. Леклерк подошел, развязал ремень и сказал:

— Вы знаете, что вас ждет? Садитесь за стол и ешьте.

Девушка встала, расправила руки. Леклерк быстро убрал ее нож и положил перед собой большой корабельный пистолет, взведя курок.

— Если вы патриотка, — сказал он ей, — вы обязаны сказать, кто подослал вас. Раскаяние ваше произведет хорошее впечатление на суд, и даже больше того, я обещаю отпустить вас.

— Меня никто не посылал, я послушалась первого порыва возмущенного сердца, я совсем не нуждаюсь в вашей пощаде. Что будет представлять дальше жизнь здесь и во Франции? Здесь вы испортили все, что за четыре года сделано этим человеком. Ему и его друзьям удалось показать неслыханный в мире опыт. Как только исчезло рабство, как только труд стал свободным, как только исчезло порабощение человека человеком, то презираемая вами раса показала, что она лучше и умнее своих поработителей. Помните, старик, что с вами говорит человек, которому уже ничего не страшно.

Леклерк вздрогнул. Уже с утра его томил озноб, в самую жаркую пору он пил большими стаканами крепчайший ром. Теперь вдруг этот озноб усилился, и он почувствовал, что еще секунда, и застучат зубы. Не помня себя, он говорил:

— Ваши черные с каждым днем становятся все более дерзкими, я должен работать над их разрушением. У меня едва остается девять тысяч французских солдат, все остальные ненадежны. Вот почему я не мог тронуть всех и взял только одного Туссена. Голос французской крови должен подсказать вам...

Тут озноб прошел.

«Что это я говорю? Кому это я говорю?» — подумал Леклерк.

Взяв пистолет в правую руку и наведя его на женщину, Леклерк, пятясь, подошел к двери и тронул за плечи храпящего ординарца. Тот, спросонья вздрагивая веками, встал перед генералом.

Леклерк сказал:

— Пишегрю, сейчас же позови полковника Брюнэ или начальника штаба. Никого не буди.

— Полковник Брюнэ еще не прибыл, — ответил Пишегрю.

— Тогда военного прокурора Гальбо.

Пишегрю вышел.

Гальбо явился почти мгновенно, он не ложился еще спать. Позванивая шпорами, он вошел на веранду и по-военному приветствовал Леклерка. Леклерк коротко и отрывисто сказал:

— Эта женщина — любовница Туссена, она подслана им и сама призналась, что намеревалась меня убить по предписанию Черного генерала. Вот вещественное доказательство — нож, отнятый мною у нее, и вот шандал с поломанными свечами и разбитым фарфором — она его уронила в темноте. Достаточно ли этих улик, гражданин прокурор?

Девушка казалась безучастной. Морщины залегли у нее между бровями, она молчала и не смотрела на говоривших.

Гальбо оглядел ее с ног до головы, поправил свой головной убор, молодцевато подтянулся и сказал:

— Генеральный капитан, достаточно вашего слова, и никаких улик не требуется, кроме вашего показания. Военный суд сейчас соберется.

Второй ординарец с пистолетом в руке, послушный кивку головы военного прокурора, подошел к женщине. Она пошла, как тень, и долго еще виднелась белым пятном в темноте сада. Белое пятно исчезло за оградой вместе с затихающим звоном шпор военного прокурора.

Под утро на островке тело казненной девушки было зарыто. История сохранила только один документ: шестеро драгун были приговорены полковником Брюнэ 13 июня 1802 года к получасовому стоянию под ружьем с зачетом трудностей предшествующего похода, то есть фактически оставлены без наказания. В графе «вина» проставлено было только: «Сношение с проституткой, казненной за покушение на генерал-губернатора».

Леклерк старался заснуть в эту ночь, но это удавалось ему урывками. Перед утром тени деревьев сползали медленно, бросая фантастические узоры на покровы и ткани. Леклерк вскочил. Подняв голову с подушки, он внимательно смотрел на черную, меняющуюся, расплывчатую тень; она менялась слишком быстро — он сразу понял, что на дереве есть человек. Было еще настолько темно, что по движению нельзя было определить, куда устремляется тень. Но вот она вдруг круто спустилась с дерева, словно ушла вниз головой. Леклерк, задрожав всем телом, вскочил с кровати и хотел кричать. От стены совершенно ясно отделилась черная фигура. Закинув голову назад и комкая матрац, генерал сделал страшное напряжение, чтобы крикнуть дико, нечеловечески, но сдавленное горло не выпустило даже сипения. Черный генерал подходил к нему тихими шагами. Это был Туссен Лувертюр.

Доктор держал генерала за руку.



— Пульс нормальный, — говорил он Полине Леклерк. — Легкое удушье от выпитого вина. Надо очистить желудок и сделать кровопускание.

При слове «кровопускание» Леклерк проснулся. Он чувствовал себя легко, и ночное происшествие казалось тяжелым сном. Но пришедший в полдень Брюнэ предложил на конфирмацию приговор к смертной казни через повешение женщины, отказавшейся себя назвать.

— Простите, генерал, мои офицеры поторопились, — сказал Брюнэ, — дело уже сделано.

Леклерк мрачно подписал приговор и сказал Брюнэ о том, что его беспокоит штаб-квартира. По совету адъютанта Леклерк переехал в другое помещение. Низ был превращен в крепость, верх — в канцелярию и спальню Леклерка.

Полина Бонапарт-Леклерк давно жила не с мужем. Антуан Метраль, участник экспедиции, писал в 1825 году, что, увлеченная красавцем драгуном Умбертом, она отдельно поселилась на склоне приморского холма. Носимая в паланкине, она часами проводила время на отмели, окруженная музыкантами, певцами и красивыми парами влюбленных мужчин и женщин, юных креолок — богинь любви и спутниц тех французских офицеров, которые «за красоту» получили бессрочный отпуск в свиту жены Леклерка. «Взрыв желтой лихорадки резко изменил нравы армии», — пишет Метраль. Горсточка героических женщин бросилась в госпитали и лазареты. Лихорадка уносила тысячи людей. Гибли солдаты, врачи, офицеры, но негры и мулаты вовсе не болели. Леклерк видел, как таяла армия. Тем временем жена правителя разыгрывала то «Венеру», плывущую в корабле-раковине по розовым волнам вечернего моря, то Клеопатру, приглашавшую всех разделить буйные радости этого нового «пира во время чумы». Красивые черные эфебы тринадцати-четырнадцати лет прислуживали этой «царице пира» за ужином и позже. Полина сама говорила, что «если смерть так близка, то необходимо встретить ее картинами французского „Декамерона“». Чрезмерно занятый Леклерк долго не видел этого. Наконец увидел. Под видом спасения жены от опасности желтой лихорадки он потребовал отъезда ее в Париж.

Полина Бонапарт отбыла в Париж.

Три корабля один за другим отплывали от Кала. Первый вез донесение Леклерка о том, что он приступил к исполнению инструкции Первого консула — вырвать с корнем мозг и сердце негрского племени, переловить вождей и выслать их во Францию.

Второй — четырехмачтовый фрегат «Герой» — вез в кандалах прикованного цепью в тесной носовой каюте, обитой железом и пробковым деревом, Туссена Лувертюра. В кормовой каюте в деревянных клетках плакали старая негритянка и ее дети. Один раз в сутки им давали пищу. Дочь Туссена качала на руках умирающего ребенка; не хватало воды, у нее иссякло молоко.

На третьем корабле старый адмирал в большой кают-компании, окруженный офицерами, за обеденным столом занимал изящной, веселой беседой красивую сестру Первого консула, жену правителя Леклерка, Марию Полину Бонапарт-Леклерк. Молодая женщина щебетала, как птица, она мечтала о Париже и вздыхала о брате, как о чужом человеке. Тончайшие ломти мягкого золотистого ананаса, тридцать семь сортов антильского варенья, кипящее и пенистое вино украшали стол. Военный шестидесятипушечный бриг мчался по волнам без качки и кренов, его громадные паруса глотали ветер, и под бушпритом волны кипели и пенились, как вино в бокалах веселящихся офицеров, провожающих жену правителя Сан-Доминго во Францию, где она станет снова сестрой Первого консула.

Адмирал Вилларэ де Жуайез, старый аристократ, уцелевший при всех режимах, вез секретный пакет с надписью «строгая тайна». В пакете было письмо, — оно до сих пор хранится в Морском архиве Третьей французской республики. Вот что в нем написано:

«22 прериала 10 года (11 июня 1802) Строгая тайна.

Гражданин министр, вот я послал во Францию этого человека, представляющего собой столь страшную опасность для острова.

Следует, гражданин министр, чтобы правительство поместило его в глухую, изолированную крепость, где-нибудь в глубине Франции, чтобы у него никогда не появилась возможность вернуться в Сан-Доминго, где он пользуется неограниченной властью и влиянием апостола какой-то секты. Если этот человек появится в Сан-Доминго через три года, то, уверяю вас, он сможет в три дня разрушить здесь все, что успеет сделать Франция...

Я отнял у черных людей их точку опоры, но, увы, я чувствую себя до крайности слабым, я поддерживаю свои физические силы лишь необычайным напряжением нравственной воли.

Прошу вас настоятельно, пришлите мне помощь, без этого я не смогу предпринять разоружения, предписанного мне инструкцией. Я без снаряжения, я не являюсь хозяином в колонии. Пришлите мне деньги, армия в крайней нужде.

Гражданин министр, сделайте же для нас хоть что-нибудь. Не оставляйте нас в забвении, как вы делали это до сих пор. Сознаюсь вам, что это забвение — единственный повод к тому отвращению, которое возникло во мне при выполнении порученного мне Францией очень трудного предприятия.»

В океане, приблизительно на меридиане Саргассова моря, ночью встретились два корабля. Мигали бортовые огни, цветные фонарные сигналы понеслись через лунную ночь над волнами. На адмиральском корабле матросы говорили:

— Этот господин, жену которого мы везем, господин Шарль Виктор Эммануэль д'Остэн. Я о нем узнал всю подноготную. Ему тридцать два года, а он седой, состарился в итальянском походе. Сейчас торжествует — отправил негритянского вождя во Францию.

На палубе курили офицеры, сидели камеристки Марии Полины Бонапарт. Офицеры говорили шепотом:

— В день восемнадцатого брюмера старик оказал важную услугу Первому консулу, вот почему Леклерк д'Остэн получил руку Марии Полины. Она ведь действительно хороша, — произнес молодой лейтенант.

— Избави меня боже от такой хорошести, — произнес другой офицер. — Хуже всего, что Первый консул не помнит о родственных связях.

— Тем лучше, — сказал один офицер.

— Тем хуже для мужа его сестры, — ответил другой.

На вахте прозвонила рында, хотя никакого тумана не было. Издалека виднелись топовые огни встречного корабля, потом сквозь летнюю ночь пронесся звездообразный сигнал. Франция передавала привет Франции, встречный корабль «Гермес» салютовал адмиральскому бригу.

Адмирал давно уже покоился в капитанской каюте. Капитан ночевал в каюте первого штурмана, штурман — в каюте помощника капитана. Все чины были перепутаны и снижены на два ранга ради того, чтобы супруга правителя Мария Полина Леклерк со своей свитой

могла спокойно занимать шесть светлых кают с клавесином, туалетным столиком, библиотекой, ванной комнатой и уборной адмиральских покоев.

Встречный корабль с борта салютовал шестью выстрелами адмиральскому кораблю. Получил свободный пропуск и двинулся дальше.

На нем плыли две тысячи вооруженных каторжан, законтракованных в Тулоне, в Марселе и Бресте для войны на Антильских островах. Каждый получал кусок земли, факторию свободного негра, по представлению ротного командира, который должен был удостоверить, что этот солдат действительно убил двадцать человек, что он не отказывался ни от каких операций и что он беспрекословно выполнял все приказания. А в капитанской каюте «Гермеса» лежал пакет, адресованный в Сан-Доминго. Он был датирован:

«ПАРИЖ 25 прериала 10 года (14 июня 1802) МИНИСТЕРСТВО МОРСКОЕ И КОЛОНИЙ  
Министр Декре ГЕНЕРАЛ-КАПИТАНУ ЛЕКЛЕРКУ, САН-ДОМИНГО

Гражданин Генерал-Капитан, текст закона от 30 флореаля, несколько оттисков которого я вам посылаю, согласно полученному приказанию, не может и не должен, конечно, упоминать о колонии Сан-Доминго. Номинально он применим, в части, касающейся восстановления рабства, лишь к тем учреждениям, в которые мы вольемся после всеобщего мира, и к восточным колониям, но вы обязаны принять его как безусловное восстановление торговли неграми, — в этом нуждаются все наши колониальные владения. Именно относительно этого оба пункта, теснейшим образом связанные друг с другом, столь же щекотливы, сколь и значительны. Я имею передать вам намерения и распоряжения правительства. В том, что касается возврата к прежнему режиму черных, естественно вы проявите некоторую дипломатическую сметливость и политическую осторожность, в силу кровавой борьбы, из которой вы только что вышли славным победителем. Правительство говорит вам: не спешите с немедленным свержением ложного кумира свободы, во имя которого, увы, в самой Франции пролито столько напрасной крови. Это значило бы поспешностью вызвать войну. Вам предписывается в течение еще некоторого, очень краткого промежутка военная бдительность и дисциплина в ваших войсках. Эти условия полевого и военного положения должны постепенно и неуклонно переходить в позитивное рабство цветных и черных людей ваших колоний. Главное необходимо, чтобы сменяя военную власть, законные рабовладельцы хорошо обращались с неграми и привязывали бы их к своему господству. Они должны почувствовать сравнительную разницу между тираническим ярмом военного закона и правами своих законных владельцев. Тогда наступит момент вернуть черных и цветных людей в их естественные условия, от которых они были освобождены только в силу роковой случайности. Что касается торговли неграми, то она более чем когда-либо необходима в целях рекрутирования рабочей силы для мастерских и предприятий после того огромного опустошения, которое было произведено в них десятилетними волнениями, в силу чего свободные места остались незамещенными.

Итак, ваша цель в Сан-Доминго — поощрять негроторговлю, бесспорно поощряя покупателя уверенением в том, что его права покупщика негрской силы ограждены законами Французской республики.

Но вообще говоря, гражданин генерал, вы должны быть подчинены мудрости ваших намерений, и даже в деле обнародования этого закона, о котором хлопочет правительство, вы приостановите публикацию его, если сочтете это удобным. Обстоятельства подскажут вам, какие решения нужно будет принять немедленно, и, конечно, никто лучше вас не сможет оценить эти обстоятельства.

Будучи не уверен в том решении, которое вы сочтете нужным принять немедленно, я воздерживаюсь от письма к гражданину начальнику колониальной полиции, но я не сомневаюсь в том, что ваше доверие к нему побудит вас посоветоваться с ним по вопросу о

документе столь высокой значимости».

К этому документу было приложено письмо на имя генерала Ришпанса в Гваделупе, в котором в категорической форме предлагалось немедленное установление рабства. Письмо на имя Ришпанса кончалось особым упоминанием двух параграфов нового закона.

«1. Установление в мастерских полицейского надзора и законов порядка работ, настолько активных, что они будут превосходить дисциплину прежнего рабства. 2. Благоприятное отношение к торговле неграми, причем покупателям следует давать полную юридическую гарантию относительно рабства черных, которых они будут приобретать от французских и иностранных судовладельцев...»

Генерал Леклерк со штабом переселился в Сан-Доминго. Молодые люди Туссена, полковые адъютанты, секретари, преданная его делу молодежь были расстреляны. Дессалин и Кристоф не выразили никакого удивления. Морпа, Клерво, Лаплюм составляли отныне штаб Леклерка.

«Монитор» от 23 прериала содержал краткое извещение о сдаче Туссена Лувертюра и о полном замирении Сан-Доминго.

Леклерк получил краткую записку Первого консула:

«Я рассчитываю, что к концу декабря вы пришлете нам сюда всех черных генералов, без этого мы ничего не сделаем».

Высылка началась. Дессалин превосходил в жестокостях Леклерка, негры стонали от его зверских выходок. Кристоф, не желая подражать Дессалину, иным способом доказал генерал-капитану свою полную преданность декретам консульской Франции. Он заявил о своем желании отправить единственного сына в Париж учиться и сам обратился к генерал-капитану с просьбой препроводить его, Кристофа, во Францию. Тысяча офицеров, по приказу Леклерка, получили назначение во французские батальоны метрополии. Их сажали на корабли и отвозили в гавани Тулона, Марселя, Ларошеля, Рошфора, Бреста, Гавра, Сен-Мало, Калэ, Дюнкерка.

Леклерк был напуган преданностью черных генералов гораздо больше, чем их враждой.

ПИСЬМА ЛЕКЛЕРКА ЛЕКЛЕРК-ДЕКРЕ

«17 мессидора 10 года (6 июля 1802).

Гражданин министр, после того как Туссен был посажен на корабль, несколько человек захотели продолжить смуту. Я дал распоряжение их расстрелять или выслать. С этого времени несколько колониальных отрядов как будто намеревались устроить мятеж; я дал приказание расстрелять вождей, и в настоящее время отряды скрывают свое недовольство, но расформирование частей производится. Черные генералы теперь хорошо видят, что я окончательно разрушу их влияние в стране, но они уже не смеют поднимать знамени восстания:

1) потому, что они больше, нежели нас, ненавидят друг друга и очень хорошо знают, что я уничтожу одних при помощи других; 2) потому, что черные не отличаются храбростью и что эта война их напугала; 3) потому, что они боятся мериться силами с тем, кто уничтожил их вождя.

При этих обстоятельствах я предлагаю идти большими шагами к своей цели. Юг и запад почти что разоружены; север начнет разоружаться через неделю. Установив жандармерию, я нанесу последний удар. Если это мне удастся, что вполне вероятно, — Сан-Доминго будет действительно возвращен республике...

Смертность продолжает косить население колоний и в настоящее время. Месяц прериаль обошелся мне в 3000 человек; месяц мессидор обойдется мне еще дороже; уже сейчас каждый день обходится мне в 160 человек. Я приказал, чтобы в настоящее время была произведена проверка армии по корпусам. Сейчас у меня под ружьем всего 8500 человек, не считая только что присланных 2000. Мои отряды, однако, питаются настолько хорошо, насколько это возможно, и не утомляются.

С 21 жерминаля я не получил от вас ни одного письма. Я пишу вам очень аккуратно, а вы не отвечаете ни на одно из моих писем. Забвение, в котором вы меня оставляете, — жестоко. Я просил у вас денег, одежды, госпитальных принадлежностей, артиллерийского оборудования, рабочих. Вы мне ничего не прислали; вы меня ни о чем не извещаете». ЛЕКЛЕРК — ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

«17 мессидора 10 года (6 июля 1802).

...Среди черных вождей, правда, имеется намерение поднять восстание, но я помешаю им достигнуть цели. Юг и запад разоружены, север вскоре будет разоружен. Несмотря на суровость климата, я не замедлил своих операций и продолжаю идти большими шагами к намеченной цели. Через два месяца я объявляю Сан-Доминго возвращенным Франции. Я рассчитываю это сделать к первому вандемьеру. Тогда я отпраздную торжество всеобщего мира. К тому времени никто больше в Сан-Доминго не будет мешать мне, и вы будете удовлетворены». ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«23 мессидора 10 года (12 июля 1802).

Я еще не смог распорядиться насчет разоружения севера. Эта операция весьма деликатна, а мне невозможно подумать о том, чтобы заставить европейские отряды идти в настоящее время. Один батальон из легиона Капа потерял триста человек из шестисот после трехдневного похода. Мои черные отряды очень слабы, и отставные офицеры их волнуют.

Мой гарнизон в Кале очень слаб, и я не могу увеличить его, не рискуя потерять половину отряда, который я волью в него. Я вынужден, в целях успеха, действовать с большой осторожностью. В течение последней недели состоялись ночные сходки в долине и даже в городе. Я еще не знаю вождей, но веду наблюдение. Целью заговоров является избиение европейцев. Надо начинать с генералов. Я не дам им возможности привести в исполнение их намерение. Я тороплюсь с организацией жандармерии и разоружением. Я буду спокоен лишь тогда, когда эти обе операции будут закончены...»

«29 мессидора 10 года (18 июля 1802) ...Положение колонии хорошо. Разоружение севера производится без шума. Несколько разбойников укрылись в горах, но они отрезаны и не смеют приближаться к учреждениям».

«4 термидора 10 года (28 июля 1802) Я только что узнал о неприятном происшествии: разоружение Тортю было плохо организовано, черные восстали и сожгли несколько домов. Я пошлю туда отряды. В Порт-о-Пэ имело место подобное же восстание, но я не знаю подробностей. Мне невозможно отправлять куда бы то ни было европейские отряды, — они подыхают в дороге. У меня весьма мало колониальных отрядов; я распустил многие из них, так как мне было неудобно держать их в большом количестве. Я сообщу вам о последствиях этих восстаний через несколько дней; возможно, что восстание в Порт-о-Пэ окажется серьезным, но я надеюсь с ним справиться». ЛЕКЛЕРК — ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

«21 термидора 10 года (9 августа 1802).

Гражданин консул, мое положение улучшилось со времени моей последней депеши благодаря прибытию двух тысяч человек, прибывших из Генуи и из Тулона. Я немедленно отправил эти отряды на место, и их присутствие приостановило мятежи. Это уже много при настоящих обстоятельствах. Завтра я отправлю одновременно в различные пункты все, что я только мог набрать из числа европейских и колониальных отрядов. Я буду иметь честь известить вас немедленно, после того как операция будет закончена. Но от сего числа до первого вандемьера я ожидаю, что нас будут тревожить горстка разбойников. И в это время я буду-уничтожать всех, кто не будет покоряться.

Я доволен Дессалином, Кристофом и Морпа; эти трое единственно пользуются влиянием, остальные ничтожны. Кристоф и Морпа в особенности много помогли мне при последних обстоятельствах. Кристоф и Дессалин просили меня не оставлять их здесь после моего отъезда; это дает вам возможность судить о том доверии, которое они питают ко мне. Я надеюсь в первые дни брюмера отправить во Францию или куда-нибудь еще тех, кто мне здесь мешает...

Я надеюсь уехать в вантозе. К этому времени вы мне, вероятно, пришлете заместителя. Могу вас уверить, что я очень заслужил отдых, так как здесь, будучи почти совершенно один, я себя чувствую поистине раздавленным. К тому времени, как я уеду, колония будет расположена принять режим, который вы захотите ей дать, но последние шаги придется сделать уже моему преемнику тогда, когда вы это сочтете своевременным. Я не сделаю ничего противного тому, что я здесь напечатал.

Генерал Ришпанс ведет себя совершенно неполитичным и неловким образом по отношению к Сан-Доминго. Если бы я действовал здесь лишь при посредстве сабли, меня давно бы выгнали с острова и я не выполнил бы ваших приказаний». ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«21 термидора 10 года (9 августа 1802).

Я соединил все, чем мог располагать в отношении колониальных и европейских отрядов. Завтра я устраиваю нападение на мятежников во всех пунктах. Черные генералы поведут колонны, но они будут хорошо окружены. Я отдал им приказание не останавливаться перед суровыми мерами, и я всегда пользуюсь ими, когда должен делать много зла. Это побоище продлится по крайней мере десять дней; я дам вам знать о результатах. Мне кажется, я могу предсказать вам, что они будут хороши. Но еще до месяца вандемьера будет существовать очаг недовольства; к тому времени вся армия будет приведена в движение, и я овладею всеми мятежниками...

Постановление генерала Ришпанса здесь циркулирует и приносит много зла. Восстановление рабства тремя месяцами раньше срока обойдется армии и колонии Сан-Доминго во много людей.

Я получил известие о кровавом сражении, которое генерал Буайе имел в Гро-Морн. Мятежники были усмирены, 500 пленных — повешены. Эти люди умирают с невероятным фанатизмом; они смеются над смертью. То же можно сказать и в отношении женщин.

Мятежники Мустика напали и похитили Жана Рабеля; в настоящее время его, вероятно, уже взяли обратно. Эта ярость является результатом прокламационной работы генерала Ришпанса и необдуманных высказываний колонистов». ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«7 фруктидора 10 года (25 августа 1802).

Мне кажется что вы не составили себе точного представления о моем положении, — это подсказывают присланные вами мне приказания. Вы приказываете мне выслать в Европу черных генералов. Весьма просто арестовать их всех в один и тот же день, но эти генералы служат в целях арестов мятежников, которые продолжают устраивать бунты, принимающие

удручающий характер в некоторых кантонах.

Морпа — человек надежный. Он служит у меня в настоящее время, но через некоторое время он будет арестован. Шарль Белэр присоединился к мятежникам, я послал против него людей. Дессалин и Кристоф хороши, и я многим им обязан. Я только что раскрыл большой заговор, пытавшийся организовать мятежи в целой колонии к концу термидора, но который был приведен в исполнение лишь частично благодаря единственному вождю. Убрать Туссена — значит еще не все; здесь следует убрать 2000 вождей. (Уже не 200).

Каждый управляющий располагает достаточным влиянием, чтобы поднять свою мастерскую. Однако, по мере того как я отнимаю оружие, вкус к мятежу уменьшается. Я уже отобрал около 20.000 ружей, в руках землевладельцев осталось еще приблизительно столько же... Я должен их взять...

Я жажду момента, когда я смогу убрать всех, кто мне здесь мешает, и число этих людей достигает до 2000; но я не могу этого сделать, не имея достаточных отрядов, чтобы выступить в поход против мятежников». ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«26 фруктидора 10 года (13 сентября 1802).

Вот мое положение: из 12.800 человек, отбытие которых из различных мест мне объявили, я получил... 6732. Помимо этого я не получал ничего. По мере прибытия этих отрядов я был вынужден отправлять их в поход для усмирения мятежников, о которых я вам дал отчет в моих последних депешах. В первые дни отряды принялись действовать и добились успеха, но болезнь настигла и их, и, за исключением только легиона, все прибывшее подкрепление недействительно...

Я не могу вам дать точного представления о моем положении. Оно ухудшается с каждым днем... Если к 15 вандемьеру у меня будет 4000 европейцев, которые будут в состоянии двигаться, я буду очень счастлив; в это число я включаю все, что вы мне прислали и что я привез с собой...

Чтобы составить себе представление о моих потерях, узнайте, что 7-й линейный прибыл сюда, имея 1395 человек; в настоящий момент в нем всего 83 тщедушных человека и 107 в госпиталях. Остальные погибли. 11-й легкий прибыл с 1900 людьми, теперь у него 163 человека в корпусе и 201 в госпиталях. 71-й полк, получивший около тысячи человек при знаменах, имеет 133 в госпиталях. Дело обстоит так же и в остальной армии. Таким образом составьте себе представление о моем положении в стране, где гражданская война продолжалась в течение десяти лет и где мятежники убеждены, что их хотят обратить в рабство. В течение четырех месяцев я поддерживаю себя лишь при помощи ловкости, не имея реальных сил. Судите о том, могу ли я выполнить инструкции правительства». ЛЕКЛЕРК — ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

«24 фруктидора 10 года (16 сентября 1802).

...Как только известие о восстановлении рабства пришло в Гваделупу, мятеж, который до сих пор был лишь частичным, стал общим, и, не имея возможности противостоять всем сторонам, я был вынужден покинуть некоторые пострадавшие пункты.

К счастью, в самый трудный момент я получил подкрепление. Я употребил его с успехом, но после двенадцатидневного похода люди оказались изможденными, и мятеж усилился из-за недостатка сдерживающих средств.

Вчера я произвел нападение на Гран-Ривьеру, Сан-Сюзанн, Дон-дон и Мармелад; у нас были успехи в некоторых пунктах, но главные позиции не могли быть отняты. Я объединил все средства для этой атаки, что делает мое положение весьма неблагоприятным. Итак, я снова

вынужден держаться оборонительной позиции в долине Кала, в ожидании новых подкреплений.

Мои отряды лишаются мужества под влиянием климата...

Вот состояние моих черных генералов:

Морпа — опасный негодяй. Через немного дней я прикажу его арестовать и вышлю его вам. В настоящее время я недостаточно силен, чтобы арестовать его, потому что этот арест вызовет мятежи в его квартале, а пока с меня мятежей достаточно.

Кристоф, желая исправить глупость, по которой он присоединился к черным, начал с ними так плохо обращаться, что они его возненавидели, и я вам его отошлю без боязни, что его отъезд вызовет хоть какой-нибудь мятеж. Я не был доволен им вчера.

Дессалин в настоящее время является мясником черных; при его посредстве я привел в исполнение все ужасные мероприятия. Я буду держать его здесь до тех пор, пока он мне будет нужен. Я поставил около него двух адъютантов, наблюдающих за ним, которые постоянно говорят ему о счастье иметь состояние во Франции. Он уже просил меня не оставлять его в Сан-Доминго после моего отъезда.

Лаплум, Клерво и Поль Лувертюр представляют собой трех дураков, от которых я охотно отделаюсь по возможности скорее. Вернэ — подлый негодяй; я непременно отделаюсь и от него. Шарль Белэр будет судим и расстрелян...

Последнее письмо, которое я получил от морского министра, относится к началу прериала. Я тщетно возвещал ему о потерях моей армии и о моих денежных нуждах, он не отвечает ни на что...

Да, гражданин консул! Таково было мое положение, в этом нет преувеличений. Ежедневно я бывал озабочен тем, как я поправлю беды, которые были сделаны накануне. И ни одна утешительная мысль не могла затушевать или уменьшить жестокие впечатления настоящего и будущего; со времени увоза Туссена сохранность Сан-Доминго является вещью гораздо более удивительной, нежели мой дебют на этом острове и увоз этого генерала». ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«30 фруктидора 10 года (17 сентября 1802).

...Неудача моей атаки 28-го числа делает мое положение плохим на севере.

Я буду держаться оборонительного положения в долине Кала...

Я могу защищать долину, предполагая, что болезнь остановится в первые десять дней вандемьера. С целью усмирения гор я буду вынужден уничтожить все продовольствие и большую часть землевладельцев, которые, привыкнув за десять лет к разбою, никогда не привыкнут к работе.

Мне придется вести истребительную войну, и она обойдется мне во много людей. Большая часть моих колониальных отрядов дезертировала и перешла к врагу...

В течение этой ужасной болезни я находил поддержку лишь в нравственной силе и в распространении слухов о прибытии отрядов; но известие о восстановлении рабства, появившееся в Гваделупе, отняло у меня значительную часть моего влияния на черных, а прибывшие отряды уничтожены так же, как и остальные». ЛЕКЛЕРК — ПЕРВОМУ КОНСУЛУ

«2 вандемьера 11 года (26 сентября 1802).



Мое положение день ото дня становится хуже... С каждым днем увеличивается партия мятежников, а моя — уменьшается благодаря потере белых и дезертирству черных. Судите о том, насколько низки мои акции. Дессалин, который до сих пор не думал примыкать к мятежу, думает об этом в настоящее время, но его тайна у меня в руках, и он от меня не укроется.

Вот каким образом я раскрыл его мысли. Не будучи достаточно силен, чтобы прогнать Дессалина, Морпа, Кристофа и других, я держу их в их же собственных руках. Все трое способны стать вождями партии, но ни один из них не объявит себя вождем, пока он будет бояться двух других. Вследствие этого Дессалин начал делать мне отчеты против Кристофа и Морпа, внушая мне, что их присутствие вредно для колонии. Под его начальством находится остаток 4-го колониального батальона, всецело ему преданный; он стал просить у меня разрешения увеличить его до тысячи человек. В экспедициях, руководимых им, ему было поручено уничтожить оружие. Теперь он его больше не уничтожает и перестал плохо обращаться с черными, как это делал до сих пор. Это негодяй. Я его знаю. Я не могу арестовать его теперь; я приведу в ужас всех черных, находящихся со мной.

Кристоф внушает мне несколько большее доверие. Я посылаю во Францию его старшего сына, которого он хочет выслать отсюда. Впрочем, я мог бы выслать в первую очередь Морпа, но вышлю в тот же день и Кристофа и Дессалина.

Никогда генерал армии не попадал в столь неблагоприятное положение. Отряды, прибывшие месяц тому назад, уже не существуют. Каждый день мятежники нападают на долину; они открывают стрельбу, которая слышна из Капа. Мне невозможно обороняться: мои отряды раздавлены, и у меня нет средств для обороны и для того, чтобы воспользоваться преимуществами, которые она мне представляет. Я вам сказал свое мнение относительно мероприятий, принятых генералом Ришпансом в Гваделупе. К несчастью, события его оправдали: последние полученные известия говорят о том, что эта колония в огне». ЛЕКЛЕРК — ДЕКРЕ

«4 вандемьера II года (26 сентября 1802).

...Вся моя армия уничтожена, даже присланные вами мне подкрепления... черные бегут от меня ежедневно. Несчастное постановление генерала Ришпанса, восстанавливающего рабство на Гваделупе, — причина всех наших зол».

Четырнадцатое письмо Леклерка было ответом на требование Первого консула сфабриковать и спешным способом прислать в Париж документы, обеспечивающие возможность привлечения Туссена Лувертюра к суду. Бонапарту хотелось создать видимость преступления против Франции, чтобы наперед устранить от себя возможные упреки в подлости и предательстве.

Даже Леклерка поразило это чрезвычайное легкомыслие всегда расчетливого человека. Генерал, уже в достаточной степени оценивший всю глубину пропасти, в которую толкнула его авантюра Бонапарта, сделал отметку на полях: «Расчеты на восстановление доходов от колоний сделаны правильно, учтены будущие приходные статьи от сахара и кофе, но забыты при расчетах живые люди, которых мы же научили поклоняться идолам свободы, равенства и братства».

Леклерку стал очевиден провал всей экспедиции. Он чувствовал себя брошенным, он знал, что ни один корабль не может быть послан из Франции, и сколько бы их ни посылали — восстановить рабство в Гаити невозможно. Первая часть экспедиции удалась: путем предательства и вероломства уничтожены лучшие люди негрского племени, но гибнет последняя бригада Леклерка.

В раздражении Леклерк писал Бонапарту:

«Единственным материалом для учинения гласного процесса был бы пересмотр уже известной до моего прибытия деятельности Туссена, то есть амнистированной Первым консулом. Но со дня моего прибытия на остров и клятвенных заверений у меня нет никаких материалов для процесса. При настоящем положении дела судебный процесс и оглашение приговора способны только ухудшить и без того плохое положение колоний. Черные озлоблены» note 16.

Во Франции поздняя осень, буря рвет корабли с якорей и канаты дебаркадеров. Тяжелый, мокрый снег падает на свинцовое море Сен-Мало. Это первый снег за пятнадцать лет. Грязный снег и лужи превращают подъезды к длинным баракам в непроходимые болота. В бараках ободранные и голодные, кашляющие люди — чернокожие офицеры. Шеи закручены тряпками, головы обмотаны чем-то похожим на шарфы, рваные мундиры носят на себе следы длинных переездов и путешествий без сна; мятые, разорванные, висящие клочьями, они все еще сохраняют шитье и узоры Конвента, хотя во Франции консульства никто не носит этих предосудительных робеспьеровских и сен-жюстовских форм.

По всем гаваням Франции висят приказы министерства, запрещающие ночлег черным людям на дебаркадерах и на палубах. Эти люди сидят без денег, у каждого из них назначение в несуществующие французские полки метрополии, каждый из них командовал своей частью на зеленом острове под блистающим солнцем мексиканского моря. Кашель и брызги крови являются ответом этих людей на каждое дуновение осенней французской бури.

Нищета, голод и быстрая смерть были концом этих людей, лучших вождей своего племени, батальонных командиров, капитанов, полковников, лейтенантов, которые «значатся по корабельным спискам как господа офицеры, переведенные в войска метрополии приказом генерал-капитана с тем же чином».

Леклерк выехал на место происшествия. Шесть миллионов ливров погибло при перевозке уже на суше. Золотые мешки исчезли, и, несмотря на розыски, не могли найти даже следа эскортированной повозки.

Волнение генерала достигло высшего предела. К вечеру следующего дня он вместе с двумя эскадронами орлеанских драгун прибыл на границу саванн. Посматривая в бинокль на лесистые склоны, идущие к зеленым и страшным болотам, он увидел усыпанную цветами долину и в ней на привале пехотный полк. Ружья сложены в козлы, штык в штык, барабан перед каждой ротой, огромный, не меньше тамбур-мажора, и на одном из них, прислонившись к низкорослому дереву, сидит офицер. Был дан сигнал, из палаток никто не выходил: был дан второй сигнал, после которого генерал-капитан приказал сделать два залпа, — ответа не последовало. На рысях спустились в цветущую долину. Люди спали, но издали поразил Леклерка страшный запах падали. Крайние палатки лагеря были пусты, а в середине они оказались полны мертвыми людьми. Солдаты изжелта-синие, с надорванными воротами лежали на грудах оружия. Леклерк наклонился над одним из них и вдруг солдат, казавшийся мертвым, протянул желтую высохшую руку и схватил Леклерка за горло.

Внезапно открывшиеся глаза были совершенно безумны, изо рта выходил тусклый, вялый хрип, кровавая пена падала на губы. Этот еще живой солдат издавал ужасающий запах гангренозной сырости, и капли крупного пота падали на грудь и рукава генерала Леклерка. Генерал отшатнулся в ужасе, он быстро дал распоряжение покинуть ужасное место. Не кончив поисков, под утро вернулся в Сан-Доминго. Он ехал молча, не будучи в силах отделаться от этого страшного запаха, который оставили на его мундире прикосновения больного солдата. Леклерк вспомнил недавнюю смерть Дефурно, Гальбо, Ганото, тридцати

офицеров своего штаба; у него было жуткое чувство одиночества и ощущения пустоты. В Сан-Доминго принял ванну.

Прошла неделя, эпизод был забыт.

Поздно ночью распечатал пакет, это была октябрьская почта из Парижа. Нет ни слова от Полины. Довольно резкие упреки Декре за «медленность действия». С досады генералпил много, поздравил полковника Брюнэ с производством в генералы, простился, ушел в губернаторские покои. Начал раздеваться, но почему-то, не сняв одного сапога, задул свечу и лег. Тени от уличного фонаря, освещавшего с недавних пор до рассвета губернаторский дворец, бегали по стенам.

«Опять начинается осенний ветер с моря. Днем страшная жара, и ночью ветер», — думал Леклерк, и совершенно так же, как в день ареста Туссена, он увидел, как с потолка спускается быстрая тень от чего-то, находящегося за окнами.

Пытался встать, зажег шандал. Тень исчезла, но дверь тихо растворилась, и вошел Бессьер, товарищ по военной школе.

— Мне не спится, — сказал ему Леклерк.

— Я думаю, — ответил Бессьер. — Ты когда-то ведь был честным молодым офицером, теперь ты делаешь предательство во имя Франции.

— Как ты смеешь, Бессьер! — закричал Леклерк и сам удивился своему собственному голосу.

Но кто-то говорит, говорит, говорит в комнате без конца, словно жужжит стружка металлического токарного станка артиллерийского склада. Этот сверлящий звук врывается в уши, рвет голову на части. Потом кусок раскаленного железа прошел от безымянного пальца левой руки по плечу; страшный ожог в левую руку, боль в сердце и удушье. Правая рука холодная, по всей длине спинного хребта страшный холод, как будто иголки льда втыкаются в спину. В одном сапоге, полураздетый, еще не снявши рейтузы, Леклерк бежит по коридору и кричит:

— Врача, немедленно врача!

Офицеры еще не расходились, все толпятся возле кабинета генерала. Приходит доктор и хмуро трогает лоб и щупает пульс.

— Позовите Бессьера, — говорит Леклерк хрипло и злобно.

— Бессьера? — спрашивают офицеры и переглядываются. На лицах у всех смущенье, которое озадачивает больного.

— У вас бред, — говорит доктор, — ложитесь.

Утром первого ноября стало лучше. Два фельдшера дежурили попеременно, но вот опять вспышка страшного раздражения. Леклерк выгоняет их вон и начинает жечь бумаги на свече. Пламя скликает всех, пепел лежит на полу, скатерть горит, загораются бумаги письменного стола. Генерала держат, но он кричит:

— Здесь были негры, они украли инструкции.

Стучащими зубами хватает край стакана, поднесенного доктором, и засыпает мгновенно. И вот мокрая простыня, мокрая рубашка, мокрая подушка от этой ужасающей испарины, которая пахнет гангренозной падалью.

Утром 2 ноября 1803 года штаб генерал-капитана готовил похороны Шарля Виктора Эммануэля Леклерка д'Остэна.

Тридцатого ноября 1803 года отплыл корабль, после полной капитуляции французских войск, с ничтожной горсточкой французских офицеров.

Генерал Дессалин занял губернаторский дворец. Остров снова стал называться Гаити. Дессалин объявил черный террор.

В первые месяцы 1804 года все белые, без различия пола и возраста, были перерезаны в Сицилийской вечерне, устроенной Дессалином внезапно на всем пространстве колоний.

## ЭПИЛОГ

Ты видишь: я в плену у чужого народа!

Я раб, я голоден, я немощен и худ!

Где родина моя? Где прежняя свобода?

Где жемчуга вершин и моря изумруд?

Как живо в памяти все то, что так далеко!

Цветы на склонах гор и ароматный дол...

Горячий свет небес, жужжанье ос и пчел,

Немолчный плеск валов, гонимых от востока. Хозе Мария Эредиа.

На границе Франции около Юрских Альп, там, где в ущельях между снежными горами река Дубс огибает тысячеметровый холм, смотрит в сторону Монблана унылый французский пограничный форт Жу. В его каземате совсем еще недавно был заключен, по требованию отца, посредством королевского леттр-каше, граф Мирабо, первый оратор и первый предатель французской революции. По вечерам, минуя зубчатые парапеты и артиллерийские ложи, этот неугомонный, бурный человек спускался в долину из орлиного гнезда, обуреваемого студеными ветрами и зиму и лето. С разрешения коменданта граф Мирабо ездил в город Понтарлье на тайные свидания с любовницей Софией Монье, без которой, под конец снисходительного заключения, не мог обходиться и полчаса.

На этот форт теперь привезли в артиллерийской зарядной повозке простуженного и харкающего кровью Черного консула. Но он не пользовался вольностями, графа Мирабо. Он пробыл в камере ровно год, тщетно силясь узнать судьбу своей семьи, которую мельком видел на дебаркадере в Бресте, но ему не сообщали никаких сведений ни о том, какая судьба постигла Страну гор и Матерь земель, ни о том, что в районе северных Пиренеев, около Байонны, его жена, его дети, его внучата ночью сброшены со скал на острые камни бегущего в ущельях потока.

Пятого брюмера 11 года (27 октября 1802 года) морской министр Декре писал коменданту форта Жу:

«Гражданин Байль, Первый консул поручил мне передать вам, что вы головой отвечаете за

строгость наблюдения над Туссеном Лувертюром—Мне нечего прибавлять к столь определенному и точному приказанию. Туссен Лувертюр не имеет права ни на какие заботы, кроме тех, которые диктуются обычным режимом. Лицемерие ему свойственно в той же мере, в какой вам воинская честь, гражданин комендант. Единственное средство, при помощи которого Туссен мог бы улучшить свое положение, это полное отсутствие скрытности, а так как это неисправимая черта его характера, то всякий приближающийся к нему, естественно, не должен интересоваться его судьбой».

Комендант Байль ответил следующими письмами:

«8 брюмера 11 года (30 октября 1802) Со времени последнего письма, которое я имел честь послать вам, генерал, я не имею сообщить вам ничего другого о Туссене Лувертюре, если только не считать новым его постоянное нездоровье, происходящее от внутренних недомоганий, от головной боли и несчастных припадков лихорадки. Он постоянно жалуется на холод, хотя поддерживает у себя постоянно большой огонь. До сих пор с ним виделся офицер стражи, не имевший полномочий говорить с ним о чем бы то ни было, что не касалось его насущных потребностей, и то только в то время, когда ему носили еду, дрова и прочее. Но в настоящее время с ним не может видаться никто, кроме меня; и если необходимость вынуждает входить в его комнату, я перевожу его в смежное помещение, занимавшееся до сих пор его слугой; он может бриться лишь в моем присутствии, и я даю ему его бритву и беру обратно, когда его борода обрита. Ввиду того, что здоровье негров ни в чем не похоже на здоровье европейца, я не даю ему ни врача, ни хирурга, которые были бы ему бесполезны».

КОМЕНДАНТ АМИО — ДЕКРЕ

«Замок Жу 15 брюмера 11 года (6 ноября 1802) ...Я имею честь вам заметить, что Туссен по своей природе горяч и вспыльчив и что, когда я ему делаю замечания по поводу его жалоб о несправедливом к нему отношении, он топает ногами и обоими кулаками ударяет себя по голове.

Находясь в таком состоянии, которое напоминает бредовое, он говорит самые резкие вещи о генерале Леклерке, и так как его сердце полно желчи и он в своем уединении располагает временем, чтобы расцветить свои лживые и дерзкие измышления при известной доле ума, но без всякой логики (это мое мнение), он украшает свои рассказы коварными доводами, имеющими высшие признаки истины. Три дня тому назад, генерал, он был настолько бесстыден, что сказал мне: «Во Франции имеются лишь злые, несправедливые, клеветнические люди (это его выражения), от которых нельзя добиться справедливости».

КОМЕНДАНТ БАЙЛЬ — ДЕКРЕ

«Замок Жу-Понтарлье. Департамент Дубс 28 вантоза 11 года (19 марта 1803) Гражданин министр, со времени моего письма от 13-го числа текущего месяца Туссен находится все в том же помещении; он постоянно жалуется на желудочные боли и неприятный кашель, он держит свою левую руку в повязке в течение уже нескольких дней из-за боли, причиняемой ею ему. Последние три дня я замечаю, что его голос сильно изменился. Но он ни разу не попросил меня прислать ему врача».

Наступили весенние дни. Таял горный снег, бежали ручьи по бастионам, и к голосу снежных вихрей, крутившихся в ущельях, примешивался все чаще и чаще горячий и золотой звон пастушьего рожка. А нижний ветер, летевший с долин, все чаще и чаще вместе с холодом снега нес запах фиалок. Горы окрашивались лиловыми, голубыми и красными тенями.

В такой день на плоскую крышу бастиона вывели Туссена, поставили лицом к солнцу и выстроили перед Черным консулом взвод альпийских стрелков. Защелкали курки ружей с отвинченными штыками, комендант подошел и сломал шпагу над головой Туссена. Туссен вздохнул свободно, он давно ждал часа смерти. Но он вежливо отклонил руку офицера,

пытавшегося завязать ему глаза. Он взял у него жесткую крепостную салфетку, служившую повязкой. Он скомкал ее в руке, поднял руку и внятно сказал стрелкам:

— Я, генерал, приказываю слушать команду! Целиться в сердце, стрелять, когда скомандую «три»!

Он сделал это быстро. Но после команды солдаты поставили ружья к ноге. Выстрелов не последовало. Туссен стоял молча. Перед ним в небе плавало черное солнце. Затуманенным глазам Туссена свинцовыми казались солдатские лица, и когда комендант сказал: «Пока это только предупреждение, но мы послали сказать Дессалину, убитшему Леклерка, провозгласившему независимость колоний, что вы будете казнены, если он не отменит своего безумного решения», — тогда страшным огнем загорелись глаза Туссена. Он упал лицом вперед и надолго потерял сознание.

Он проснулся в камере. На столе был его обычный ужин. У кровати сидел человек в лиловой рясе и убеждал его покаяться, так как здоровье Черного генерала стало плохо и нужно «очищенным предстать пред судом всевышнего».

— Удалитесь, — сказал ему Туссен.

Когда священник вышел, Туссен выпил глоток красного вина и взял горсть сухого винограда. Но вдруг ему сдавило пищевод, и руки окрасились кровавой рвотой. Он вскочил, задыхаясь, свалился на пол и пополз в камеру, страшно вскрикнув. Старые солдаты вбежали в камеру. Они не узнавали Туссена: он был залит кровью, лицо стало серым, глаза потухли. Комендант послал за врачом, но до города Понтарлье от форта Жу было три километра, а от стынущих конечностей до леденеющего сердца Туссена смерти осталось идти несколько минут. Лицо Черного консула стало спокойно. Последними его словами были:

— Я не знал, что смерть так легка.

Семнадцатого жерминаля 11 года комендант Амио рапортует морскому министру:

«Гражданин министр, нынче ночью я нашел Туссена мертвым. В одиннадцать с половиной часов утра, когда принесли ему продовольствие, он сидел на стуле, согнувшись возле огня».

Остров Гаити, «Черная Франция». Дессалин пошел по пути преследования «Белой Франции». Но привычка преследовать научает следовать. Дессалин с ненавистью относился к Бонапарту и с трепетным волнением вслушивался в голос молвы.

Он читал французские газеты, он подражал Наполеону — императору французов. И все более и более забывая республиканскую доблесть своих старых негритянских генералов, он вводил титулы и перенимал утонченные и элегантные забавы маркизов Людовика XVI. Одновременно он воздвигал гигантские стены крепостей, нагромождая огромные камни фортов, строя приморские башни, широкие и огромные, сквозь амбразуры и бойницы которых виднелись оба берега океана. Исполинские краны, кабестаны и лебедки десятком тысяч черных рук поднимали каменные глыбы на неизмеримые высоты. И когда их достраивали, Дессалин горделивым взглядом озирает территорию нового города, выделяясь черным силуэтом на ярко-синем небе в амбразуре своего семнадцатого этажа.

Так возник город «Черной Франции», названный

Дессалинвилем. У входа в старинное «Ущелье хаоса» на равнинах Артобонита был основан этот таинственный и через столетия исчезнувший город. Он был окружен шестью фантастическими фортами с причудливыми и таинственными именами, которые были понятны только орденом братьям из ложи аббата Рейналя. Их мог бы понять Туссен Лувертюр, их понимал Кристоф, указывавший на старинный символ — змею, кусающую себя

за хвост. Но их не поняла Франция эпохи великих материалистов, их также не могли расшифровать последующие европейские историки Гаити.

Первый форт назывался «Источником синего света», второй носил имя «Рухнувший», третий — «Решимость», четвертый — «Невинный», пятый носил название «Раздавленный», и, наконец, шестой, самый сильный форт носил зловещее имя: «Конец света».

Гаити — Страна гор и Мать земель — в устах французов на десятки лет стала символом всего ужасного: «Река резни», «Кровавый поток», «Холм семнадцати виселиц», «Гнилой колодец», «Колодец трупов», «Костяное поле» и тысячи других названий повторяются в разных видах, на тысячи ладов на тогдашних картах Антилии. Гаити стал называться «Страною страшных имен». Семь лет ни один французский корабль не смел приблизиться к острову, а потом остров ушел из рук французов вовсе. Новая Франция научилась торговать не только черными, но и белыми рабами.

Прошло восемнадцать лет. На маленьком острове Великого океана бесславно умер тот, кого Туссен в письме называл Первым консулом белых людей.

Note1

Вот она, чистая свобода, вот что нам приносят в дар пилеи. Кто же свободен, как не тот, кому можно жить, как он хочет? Я могу жить, как хочу: разве я не свободнее Брута? «Твое заключение неверно, — говорит при этом стоик, у которого уши промыты едким уксусом, — отбрось это „все могут и как угодно“, остальное я принимаю. С тех пор как я, в силу обряда отпущения на свободу, возвратился от претора человеком свободным, отчего бы мне не позволить себе всего, что повелевает моя воля, за исключением лишь запрещенного в рубриках Мазурия?»

Note2

взятие Бастилии

Note3

голод в Париже и привоз семьи Людовика XVI в Париж из Версаля

Note4

беглый (англ.)

Note5

печатать позволяется

Note6

за стенами

Note7

Творческий дух требует уединенной тишины и свободного времени для писателей, а я жертва моря, ветров и суровой зимы. Поэзии чужд всякий страх, но я, «потерянный», каждое мгновение жду меча, пронзающего мне горло. Окружи Гомера безумием всех этих случайностей, и среди бед угаснет его воображение.

Note8

здесь допущено намеренное хронологическое смещение: Шиллер получил звание «гражданина Французской республики» от Конвента и, напуганный казнью Людовика XVI, отказался от этого гражданства (прим.авт.)

Note9

игра слов, буквальный перевод: «Стена, ограждающая Париж, вызывает ропот Парижа»

Note10

четки

Note11

отсюда гнев (лат.)



## Note12

я снова проходил, но его уже не было (лат.)

## Note13

Париж. Морской архив — секретные инструкции 5 фримера 2 года (26.XI.1802). (прим.авт.)

## Note14

шоферами назывались во Франции времен Директории бандитские шайки из дезертиров, которые ловили по дорогам богатых проезжих и вынуждали их тем или иным способом доставлять в руки начальника выкупную сумму; обычный способ побуждения жертвы к щедрому выкупу — это был способ шоферования — поджаривания на тлеющих угольях пяток и ступней захваченного человека (прим.авт.)

## Note15

во Франции существуют фальсифицированные записки Исаака Лувертюра; их написал не подлинный, а поддельный Исаак (прим.авт.)

## Note16

"Переписка Наполеона I», том VII